

На обложках лубки из издания: Д. А. Ровинский. Русские народные картинки. Кн. 1—5. Спб., 1881.

ISSN 0321—0561. В мире книг. 1989. № 12. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321-0561.

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 12 89





КНИГА В КАРТИНКАХ

Писатель Анатолий РОГОВ знаком многим читателям по книгам «Черная роза» (1978), «Кладовая радости» (1982), «Народные мастера» (серия «ЖЗЛ», 1982), «Лики России» (1988), герои которых — основоположник палехской миниатюры Иван Голиков, знаменитая пинежская сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова, чудо-резчик Василий Ворносков, городецкий художник Игнатий Мазин и многие другие подлинные народные мастера России, самородки. Сейчас Анатолий Рогов закончил работу над книгой для серии «ЖЗЛ» о крепостных артистах, художниках, музыкантах графов Шереметьевых. Публикуемый же очерк посвящен одному из ярчайших явлений народной культуры — лубкам, бывшим на протяжении столетий народными книгами, народными газетами и народными учебниками.



Фото СЕРГЕЯ СЕВОСТЬЯНОВА

КУЛЬТУРА

Традиции. Духовность. Возрождение.

С ним случай был: картиночек
Он сыну накупил,
Развешал их по стеночкам
И сам не меньше мальчика
Любил на них глядеть.

Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».

АНАТОЛИЙ РОГОВ

русский лубок

КНИГА В КАРТИНКАХ

Сначала эти картинкн называли «фряжскими», затем «потешными листами» и очень долго «простовиками» и «простонародными картинками». А в девятнадцатом веке стали называть «лубками», «лубочными».

Полюбились они в России необычайно. Их можно было встретить как в царскнх палатах и в монастырях, так и в холопьей избе, иа дворе постоялом. Есть свидетельства, что у патриарха Никона их было двести семьдесят штук. А у царевича Петра их насчитывалось около ста, и «дядька Никита Моисеев сыи Зотов» /по-нынешиему — воспитатель/ учил по ним будущего императора грамоте и иачалам разных наук.

Лубки были своего рода обширнейшей энциклопедией, в которой содержались разнообразные сведения о дальних странах и важных событиях, о причудах природы и обычном крестьянском житье.

Были лубки-азбуки, лубки-календари, лубки-козьмографии /так называлась тогда астрономия/, лубки-лечебники, травники, арифметики, сказки, песенникн. Даже целые былины и занимательные повести пересказывались и изображались в них в небольших последовательно расположенных кадриках—картинках. Картинки эти заменяли простому люду и слишком дорогие для него кннги, и газеты, и учебиики.

Лубки служили великолепным украшением для любого тогдашнего жилища, особенно для бедного, крестьянского. Потому что были они необычайно яркими, нарядными, веселыми по цвету.

Авторами лубочных картииок были такие же народные художники-мастера, как и те, что точили и расписывали деревянную посуду, что делали игрушки, украшали резьбой дома и домашнюю утварь.

Учили же сему искусству так же, как учили всякому народному художеству: мастерство это передавалось по наследству или ему обучались в самих печатных заведениях.

Жили лубочные художники только в Москве, то есть это был сугубо московский художественный промысел. И «заводчикн» /люди, владевшие печатными заведениями/ имелись поначалу только в Москве. Их было более двадцати. И лишь к середине прошлого века лубки стали печатать в знаменитом селе Мстера на Владимирщине и в иескольких больших монастырях — точно не установлено, во скольких.

Подавляющее большинство заводчиков отправляли оттиски на раскраску в подмосковные села Никольское и Измайлово. Лубки раскрашивалн только женщины и девочки.

Работалн художницы очень широкими кистями — для быстроты. И контуров особо ие соблюдали. Мазнут, к примеру, малиновой по одежде человека и часть его лица заденут. А по другой части лица, по дереву и даже по небу над иим мазнут зеленой. Это иазывалось: «раскраска по носам». Небрежность, конечно, но зато быстро, и картинки это портило редко, иаоборот — многие делало еще смешней. На большом листе, например, изображался вальяжный кот с ярко-краснымн глазами. Не бывает же у котов такнх глаз. Но эти смотрят иа тебя, и ты веришь, что они настоящие, и чувствуешь, что сей котище очень хитрый, очень сильный и свирепый, и что он весь напружинился — вот-вот прыгиет и вцепится в тебя.

А сбоку от иего шла иадпись, очень похожая на полный титул русских царей: «Кот казанский, а ум астраханский, разум сибирский, славно жил, сладко ел...»

И усы у него похожн на усы царя Петра.

Что же это — иамек на царя? Да.

Лубочная картинка, рождавшаяся в самой что ни на есть гуще народной, конечно, ие могла пройти мимо темы царской власти. Но не впрямую же изображать царя, не называть же его. Вот кто-то и придумал два ассоциативных образа — хитрого свирепого кота и страшного крокодила.

Попробуй придерись — на картинах ведь кот или крокодил...

А как только Петр I умер, тут же появилась новая большущая картинка, в которой мыши хоронили этого кота и сильно радовались-веселились, потому что очеиь уж он «лют бывал, по десять мышей за раз глотал». У него

даже у мертвого и то в зубах мышонок. А чтобы никто не сомневался, что это за кот, тут есть мыши-чухонки — намек на жену Петра Екатерину, ее считали чухонкой. Есть мышь-пирожница, которая «пищит, пироги тащит». Пирогами в юности торговал любимец царя Александр Меншиков. Есть мышка с трубкой: «Мышка-пономаришка, тянет табачишка». Петр ввел в России курение. Есть мыши пьяницы — намек на пристрастие царя к спиртному.

Петр первый, разумеется, видел рисованные на себя сатиры и знал, какое широкое хождение они имеют в народе, и потому не раз пытался пресечь их производство и распространение.

«За составление сатиры сочинитель ея будет подвергнут злейшим истязаниям» — грозил один из его указов. А через несколько лет появился второй /20 марта 1721 года/, по которому городским властям Москвы надлежало «описать и взять в приказ церковных дел продававшиеся на Спасском мосту и в других местах листы разных изображений».

И после Петра был указ о лубке 1744 года. И в 1745-м лубок запрещали. И в 1783-м. В 1790-м. В 1800-м.

Но народ превратил лубочную картинку в свое оружие, с помощью которого боролся с власть имущими, отстаивая свои традиции, свои мечты и вкусы.

И тогда, в одну из осенних ночей тысяча восемьсот пятидесятого года, в разные концы Москвы вдруг нагрянули десятки полицейских. Туда, где были лубочные печатни Логинова, Лаврентьева, Щурова, Ахметьева, Чижкова, Кузнецова... Не давали хозяевам опомниться, иных даже и не знали, а прямо аламывались в их заведения и, обшаривая каждый закоулок, сваливали в кучи все «балагурные», как значилось в предписании, деревянные и медные доски и тут же тесаками нещадно рубили их. Когда же перепуганные хозяева или живущие поблизости мастера прибегали, дело чаще всего было уже кончено, и во дворах печатен среди увядших лопухов и лебеды жарко пылали высокие костры, в которые блюстители порядка подкидывали все новые и новые кипы готовых картинок, показавшихся им сомнительными или опасными. Оторопевших владельцев подводили к этим кострам и заставляли подписывать обязательства, что всю рубленую медь они завтра же свезут под расписку в колокольный ряд на переплавку и что бесцензурных листов в их заведениях больше никогда не появится, иначе хозяевам грозит тюрьма и каторга.

Прежние гонения на русский лубок не идут ни в какое сравнение с этим, придуманным лично тогдашним генерал-губернатором Москвы графом Закревским.

На все новые картинки была введена жесточайшая цензура, а большинство неугодных старых уничтожили в эту ночь. Ликвидировали в первую очередь именно доски; нет доски — стало быть, не будет и новых крамольных оттисков, а те, что уже висят по домам — долго ли продержатся, бумага ведь и сырости боится, и пожаров, а сколько их было тогда на Руси.

В цензорах же состояли, конечно, только господа, и они отныне не просто не пускали никакой сатиры, но и требовали, чтобы нарисованы и раскрашены лубки были тоже «прилично, реалистично», то есть по их, господскому, вкусу.

Народная картинка стала меняться: из нее ушла прежняя простота, веселость, гротеск. Появилась и литография — рисование на специальных камнях специальными карандашами, после чего камни протравливались кислотой, и печатали с них сразу в цвете. Последующая ручная раскраска уже не требовалась. Рисовать на камне можно было объемно, с растушевкой, и красок употреблять сколько угодно, накладывать их одна на другую, смешивать.

Старинные листы люди берегли теперь как большие драгоценности. К тому времени в России уже были первые серьезные собиратели лубков.

У знаменитого автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля была большая коллекция лубков, у историка Михаила Петровича Погодина, создавшего первое русское «Древлехранилище», у фольклориста и археолога Ивана Михайловича Снегирева, у прокурора Московской губернии Дмитрия Александровича Ровинского. В его коллекции имелись все до единого русские лубки, вышедшие к тому времени, — около восьми тысяч штук. Основные из них он воспроизвел в четырех огромных красивейших альбомах, часть лубков в которых раскрашена по-старинному — от руки. И еще написал к этим альбомам пять книг подробных объяснений, с экскурсами в прошлое, с интереснейшими фактами и разысканиями. То есть по существу создал фундаментальную историю русского лубка. Свою бесподобную восьмитысячную коллекцию Ровинский целиком завещал Румянцевской библиотеке.

Лубок всегда пользовался спросом, потому что это не только особая картинка, но всегда еще и совершенно особый текст: забористый, саркастичный, веселый. Плача, нытья, тоски, печали в русском лубке не было никогда. Только сила, только озорство и бичевание того, что следует бичевать. То есть всегда сугубо народное жизнелюбие и жизнеутверждение.

Вот, к примеру, «опись приданого за невестой: два лукошка земли в Ломове да гнилое болото в Уколове; деревня меж Кашина и Ростова, позади Кузьмы Толстого; в той же деревне запасы скотины и дичины: у старосты Елизара ржавых куликов пара да Парамоша-казначей содержит полдюжины грачей; заяц косой да еж борзой, корова бура, да и та дура...»

И если когда-то лубок родился как сплав целого ряда народных искусств, то на рубеже нашего века он уже и сам стал неиссякаемым источником, питавшим и даже формировавшим новые течения как в народном, так и в профессиональном русском изобразительном искусстве.

На его художественные принципы опирались крестьяне из деревень Курцево и Косково, что неподалеку от Городца на Волге, создавшие в прошлом веке так называемую городецкую роспись по дереву, на прялках и мебели, которую теперь с полным основанием считают нашей самобытнейшей народной живописью. Из лубка выросла и лаковая миниатюра Мстёры.

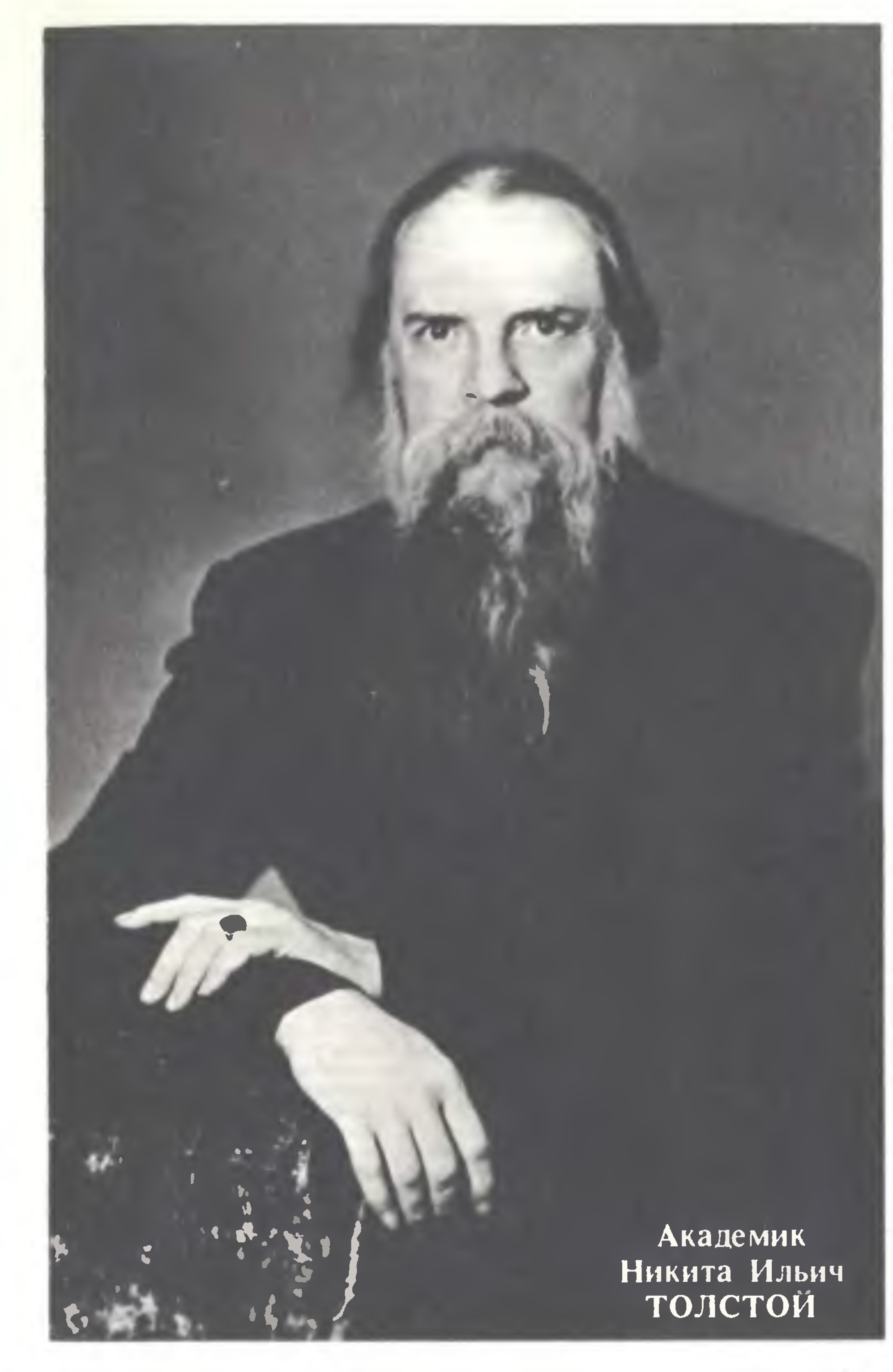
Очень много заимствовали у лубка мастера северных росписей, керамисты, ткачи-набойщики, резчики пряничных досок, скульпторы-игрушечники села Богородского, что за городом Загорском, бывшим Сергиевым Посадом. Чуть ли не треть их персонажей и сюжетов рождены лубком.

И, наконец, в начале нашего века блестящий молодой портретист Борис Михайлович Кустодиев первым в нашей истории попробовал соединить принципы народной картинки с профессиональной живописью.

Позднее в советском искусстве традиционные художественные формы лубка были использованы как особый вид популярного политического плаката. В этом жанре работали Д. С. Моор, В. Н. Дени, М. М. Черемных, В. В. Маяковский. Эти талантливые мастера бережно развивали и «профессионализировали» народные традиции лубка.

И только одно странно и непонятно: произведения Кустодиева, Моора, Маяковского и Черемных вы найдете в наших музеях. И городецкие росписи найдете, и образцы, и богородскую резьбу, и мстерские миниатюры. Но попробуйте найти хоть где-нибудь настоящую серьезную экспозицию русского лубка. Да, отдельные его выставки устраивались, правда, за последние сорок—пятьдесят лет всего, кажется, раза три-четыре. И на одной из них, развернутой в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина, наши простонародные картинки висели в непосредственной близости с величайшими шедеврами мирового искусства и нисколько не уступали им по своим художественным достоинствам.

Так за что же, спрашивается, к ним подобное отношение? Не хватит ли? Не пора ли дать возможность каждому и в любой день видеть лучшие произведения искусства, игравшего столь огромную роль в жизни наших дедов, прадедов, всего нашего народа за последние триста лет!



Академик
Никита Ильич
ТОЛСТОЙ

Никита Ильич ТОЛСТОЙ — академик, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель сектора этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР, член Македонской и Австрийской академий наук. Праправнук Льва Николаевича Толстого.

Начало научного пути Никиты Ильича относится к первой половине 50-х годов и связано с двумя классическими для славистики областями исследований — палеославистикой и славянской диалектологией. Верность им Н. И. Толстой сохраняет и по сей день. Они привели исследователя к проблематике истории славянских литературных языков и разработке методологических принципов пограничной науки — этнолингвистики. Комплексный подход сразу же обнаружил огромные преимущества, позволив провести реконструкцию элементов духовной культуры древних славян. Н. И. Толстому принадлежит идея того, что первый литературно-письменный язык славянства был в принципе единым литературным языком греко-славянского мира в течение IX—XIII веков. Ученый дал периодизацию истории древнеславянского языка.

В славянском языкознании давно стали признанными достижения Н. И. Толстого в изучении диалектной лексики, ему удалось сдвинуть с мертвой точки сложное звено лингвистики — диалектную семасиологию.

В 1983 году, отмечая вклад исследователя в науку, Тартуский университет выпустил «Сборник по славяноведению в честь 60-летия доктора филологических наук Никиты Ильича Толстого». Перечислить работы Никиты Ильича просто невозможно — их более 130. В последнее время ученый и руководимая им группа работают над громадным научным трудом — составлением «Словаря славянских древностей».

«ГЛАГОЛЬ ДОБРО!»

в Славянском фонде

В марте в нашей стране был создан Фонд славянской письменности и славянских культур (журнал сообщал об этом в № 6). Его учредителями и попечителями (еще одно слово, пришедшее в наш обиход вместе со словами «благотворительность», «милосердие», «духовность»!) стали более восьмидесяти организаций, предприятий, учреждений, среди них, в частности, Госкомпечать СССР, издательство «Книга». Можно только порадоваться такому широкому интересу к проблемам славянских культур и надеяться на то, что славистика займет достойное место на филологических факультетах вузов страны, хотя бы, например, такое, как в ФРГ, где действуют и изучают вопросы славянских культур десятки кафедр славистики...

На учредительной конференции Фонда академик Толстой избран председателем совета этой организации. Сопредседателями стали писатели В. Распутин, Б. Олейник, Н. Гилевич.

С Никитой Ильичом мы договорились встретиться в Институте славяноведения и балканистики в Трубниковском переулке Москвы. Он долго и подробно объяснял мне, как пройти туда с Поварской. Услышав неуверенность в моем голосе, поправился: «С улицы Воровского»... С этого и началась наша беседа.

— Надо мной часто иронизируют, — говорит Никита Ильич, — упорно называю улицы и переулки их старыми именами. Нет, это не поза, скорее привычка старого москвича. Выступая перед большой аудиторией, контролирую себя, стараюсь помнить о названиях современных. Но в быту, в семье сохранились прежние имена. Хожу по сегодняшним улицам, а вижу Москву прежнюю. Вот сюда, к нам в институт, вы шли по Никитской, по улице Наташи Кочуевской. А для меня эта улица — Скарятинский переулок. В едином ряду — Поварская, Скатертный... Стоял там и дом Гончаровых, откуда Пушкин с Натальей Николаевной отправились венчаться в церковь Большого Вознесения, к Никитским воротам. Дом снесли — кому он мешал? И, главное, зря это сделали — на освободившемся месте нет ничего, пусто! Жаль всех этих потерь, которые входили в живой, духовный состав многих, многих людей, жаль домов, имен, названий... Вот недавно был в США, почувствовал там, как завидует нам американская интеллигенция, как интересуется корнями нашей культуры, прошлым своей молодой нации. А мы до недавнего времени стесиялись своего прошлого. Иногда «стеснение» это принимало уродливые, страшные формы. Это отразилось и на славяноведении...

— На науке?

— Да, именно так. Повергло ее в забвение, в застой. В первое десятилетие после революции славяноведение объявили устарелым, а в 34-м (заметьте, не в 37-м, раньше) славистов всех, почти поголовно, вплоть до аспирантов, репрессировали, отправили в лагеря, в тюрьмы, в ссылки. Когда во время Отечественной войны понадобились специалисты, оказалось, что их просто нет, собирали все, что можно было собрать!.. И, как всегда это случается, имена современных «геростратов» до нас не дошли, они любят действовать анонимно... Известно, например, что в 50—60-е годы в Москве переименованием старых улиц рьяно занималась «группа товарищей» при секторе озеленения в Моссовете. Кто они, где они, что думают по поводу того, что ими содеяно, не знает и не узнает никто, а сколько разрушили они живого! Стыдно. Конечно, множество бед в нашей стране, но хотя бы от этих бед надо избавиться поскорее!..

— Да так ли уж малы эти беды?

— Действительно, в культуре трудно судить, где большая беда, а где малая...

— Сегодня разрушили храм, переименовали улицу, завтра удивляемся, что молодежь устраивает танцы на бывшем погосте...

— Всякий, как выражаются французы, faux pas — некультурный поступок разрушает культуру. В ней все значимо, ее нельзя редактировать, как это делалось недавно. Вычеркивать имена из истории литературы, философии, культуры — все равно, что вырывать страницы из хорошо знакомой книги и при этом уверять, что она, мол, и так хороша и будет понята. Культура должна быть цельной.

— Фонд славянской письменности и славянских культур — организация, так сказать, «дочерняя» по отношению к Советскому фонду культуры?

— Да, она создана на тех же принципах. Мы тоже сформировали ее не по горизонтали, образно говоря, не по одному «семантическому ряду» — виду деятельности или виду искусства, как творческие союзы, а по вертикали, объединяя, на первый взгляд, несоединимые круги общества. Единственное наше ограничение — предмет изучения, внимания — славянская письменность и культура. Мы не возводим никаких заградительных барьеров для изучения нашей культуры, русской: ее истоки — в славянской, крепла и развивалась она в условиях конкуренции с Византией и Священной Римской империей, став третьим крупным культурным очагом в Европе. Язык Кирилла и Мефодия выполнял роль наднэтнического, общеславянского языка общения; единой была культура, литература. Именно через литературу достижения одних славянских народов становились достоянием других. Наши славянские культуры — белорусская, украинская, русская — с одной стороны, национально своеобразны, а с другой — едины. Вот такое своеобразие в единстве и делает культуру богатой, жизненной. В этом вижу и жизненность нового Фонда.

Межнациональная идея заложена в основу работы нашего Фонда. Если возникнет Фонд грузинской письменности и культуры, например, мы охотно будем с ним сотрудничать, как, скажем, уже налаживаем связи с зародившимся Фондом таджикской культуры и письменности. Культура жаждет таких соприкосновений, и они должны быть естественными.

Подчеркиваю: все, кто будет проявлять интерес к славянской культуре и письменности, найдут у нас полное понимание. Это относится и к зарубежным славянам... Надо сказать, что это в традициях русской интеллигенции — литераторов, ученых, деятелей культуры — пристальное, серьезное внимание к славянской культуре, литературе. И в первой трети века XIX, и в 60—70-е годы прошлого столетия были как бы всплески такого общественного интереса к вопросам славянства, создавались комитеты, а в 1867 году провели даже Славянский съезд. Действовали славянские комитеты — и очень активно — и во время первой мировой войны. Потом традиция была утрачена. Сейчас самое время возродить ее.

— А кому пришла мысль создать Фонд?

— Наши коллеги, ученые, преподаватели и студенты Мурманского пединститута три года назад, 24 мая, провели праздник Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Они возродили традицию, существовавшую в России еще в прошлом веке. Об этом была очень скромная информация в печати, но, как видите, из искры возгорелось пламя. Последовали торжества в Вологде, в Новгороде. На них были затрачены большие средства. Тогда и возник вопрос: а почему бы это важное, серьезное дело не вывести из парадной колеи, не направить в нужное русло планомерной, целенаправленной работы, результаты которой будут гораздо долговечнее тех прекрасных праздничных впечатлений. Конечно, и от праздников в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия мы отказываться не будем. Просто они будут органичной частью нашей работы, а не заменой ей.

В этом году праздник славянской письменности и культуры в Киеве впервые проводился при активном участии Фонда, одним из учредителей и попечителей которого, как вы знаете, является Русская Православная церковь. Несмотря на недолгий срок существования, у Фонда уже появились некоторые экономические возможности, открыт текущий счет. Расширяется круг людей, организаций и стран, которые входят во взаимодействие на почве изучения, исследования и пропаганды славянских культур.

Память о событии принято запечатлевать каким-то знаком, символом. В дни торжеств на территории Ближних пещер Киево-Печерской лавры состоялось открытие памятного знака с изображением равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это уже традиция. В прошлом году в Новгороде, во время проведения Дней славянской письменности и культуры, был заложен памятник Берестяной грамоте. Перед этим в Вологде открыт памятник большому русскому поэту вологжанину Константину Батюшкову. Теперь Фонд готовит памятник святым Кириллу и Мефодию, предназначенный для Мурманска — первого русского города, где всенародно отмечался день памяти святых братьев. В 1990 году эстафету примет Белоруссия. Дни славянской письменности и культуры начнутся в Минске, продолжатся в Витебске, но центром их станет Полоцк — город, где 500 лет назад родился еще один преемник святых Кирилла и Мефодия белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина.

— Замечательный план монументальной пропаганды! А главное — Фонд действительно удостаивает памятников людей необыкновенных, великих...

— Намечено создание скульптурных групп в Уфе — в связи с предстоящим аксаковским юбилеем, в 1991 году. А для 1992 года памятник уже готов, и требуется лишь разрешение Министерства культуры, чтобы в селе Григорово (Горьковская область) установить созданный Вячеславом Клыковым монумент местному уроженцу «неистовому» протопопу Аввакуму.

— В ходе движения за возрождение нравственных, духовных и общественных принципов национальной культуры в Академии наук был создан Научный совет по проблемам русской культуры. Знаю, что и в Пушкинском доме, где всегда активно занимались изучением древнерусской литературы, русской классической литературы и фольклора, расширился фронт исследований в области этих дисциплин...

— То же самое происходит и в ИМЛИ. Но, думаю, надо активнее популяризировать достижения нашей филологической науки. Пусть они будут достоянием всего читающего мира, а не узкого круга профессионалов. На мой взгляд, палеография, текстология, филиграноведение прекрасны, интересны, хотя и кажется непосвященному, что предназначены они только специалистам, избранным. Наша задача, задача Фонда — дать простор таким научным знаниям, сделать доступными всем, кто пожелает ими воспользоваться. И здесь мы учитываем всеобщий интерес к науке. Помните, раньше научные книги свободно лежали на прилавках. Теперь их не достать. Стотысячными тиражами выходят книги серии «Литературные памятники», с подробными научными комментариями, монографическими работами. Конечно, предназначены они специалистам — и невозможно «поймать» в магазине!

— Кстати, о книгах... Расскажите, пожалуйста, подробнее об издательской программе Фонда.

— Не только разработана, но уже начала осуществляться. В правлении нашей организации — директор издательства «Книга» Виктор Адамов. Он активно развернул нашу издательскую деятельность. Сейчас в «Книге» готовится к выходу интереснейшая, на мой взгляд, серия, предназначенная любителям отечественной старины. Я возглавляю общественный научный совет этого издания, так что ваш книжный журнал получает информацию «из первых рук», что планируется там выпустить. Это, прежде всего, книга Федотова «Святые Древней Руси», Зеленина «Очерки русской мифологии», «Язычество и Древняя Русь» Аничкова, трехтомник Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Книги эти считаются в библиофильской среде редкостью. Но, думается, настало время эти редкости сделать достоянием более широкого читателя... Мечтаю о том, что у нашего Фонда будет когда-нибудь свое издательство. Но пока это все «прожекты», зато проблем множество.

— Каких?

— Наше дело не так быстро подвигается, слаб еще актив, много формализма в работе. Мы знаем о своих недостатках, проблемах, стремимся их преодолевать. В ближайших планах Фонда — учредить свою стипендию для изучения славистики, заняться описанием славянских рукописей в советских книгохранилищах, ведь мы обладаем самой богатой коллекцией в мире! Древних южнославянских манускриптов у нас не меньше, чем в Югославии и Болгарии. То же можно сказать и о древних славянских печатных книгах, инкунабулах. Библиотека имени Ленина начала издавать их каталог, но издание это приостановилось, а мы могли бы его продолжить...

Дел много. Следует помнить, что Фонд — это добровольная деятельность каждого, кто вошел в него, его благородный порыв, а не некая «общественная нагрузка». С нами сейчас сотрудничают деятели театра, кино, художники, скульпторы, охотно идут на контакт археологи, археографы, реставраторы, но мы никого насильно к нам не затягиваем и не держим.

— Никита Ильич, а не кажется ли вам, что Фонд, так же, как Советский Фонд культуры, ВООПИиК, не то чтобы подменит собой Минкульт, но исправляет то, что сделано в годы застоя, и Минкультом в том числе?

— Вы правы, определенная инерция существует. Фонд культуры оказывает наверняка на министерство некоторое давление, влияние, и это хорошо. Наконец-то мы признали необходимость разных подходов к одному и тому же явлению, отказались от ярлыков, принимаем разные формы культурного и делового общения. И мы не хотим стоять с протянутой рукой у «парадного подъезда» министерства и других ведомств, быть нахлебниками. Надеюсь, мы ими и не будем.

— Я знаю, что в руководство Фонда вошли и представители Русской Православной церкви...

— Да. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим. Кстати, владыко принес мне весть поистине благую: монастырь в Волоколамске передается Русской Православной церкви, вместе с монастырем — и светские здания, построенные на его территории местным заводом. Быть может (а церковь не исключает такой возможности), они будут переданы Фонду для книгохранилищ. Церковь, как видим, заботится не только о себе. Она служит духовному объединению людей — и в этом ее высокая гуманная миссия. В отличие от других церквей, религий, православная — всегда терпима к инакомыслящим, инославным. Эта терпимость характерна и для ее сегодняшней позиции, которая связана с давней традицией русской интеллигенции, с носителями русской философской мысли — Трубецким, Соловьевым. Отрадно, что их труды, так же, как труды религиозных философов, публицистов Бердяева, Булгакова, Федотова, отца Павла Флоренского, Федорова становятся доступны, — думаю, войдут и в «жизненный состав» людей.

— В связи с этим, Никита Ильич, у меня возникает еще один вопрос: вы не находите, что процесс национального возрождения приобретает у нас иногда уродливые формы?

— Удивляться этому не приходится, но противостоять надо. У нас долго не было активной политической жизни. Представьте что надо вспахать землю, которую давно никто не трогал. Конечно, вперед полезет сорняк. Но опытный земледелец сумеет выпестовать ниву.

Предмет занятий Фонда — славянская письменность и культура. А это не дает нам никаких оснований для проявления, скажем, узкого толкования вопроса, для национальной спеси. Мы следуем заветам Кирилла и Мефодия, которые в споре с триязычниками, отстаивающими практику богослужения только на греческом, латинском и еврейском языках, говорили: «Не идет ли дождь от Бога равно на вся или слънце такоже не сияет ли на вся, ни ли дыхаемъ на аеръ равно вси? То вы ся не стыдите, трия языки током мняще, а прочим всем языком и племеномъ... веляще быти и глухимъ?» Равноапостольные, отстаивая равноправие письменностей и культур, призывали: «Глаголь доброе!» Прекрасный завет, верно?

Беседу вела М. КАМИНАРСКАЯ.

От редакции. После публикации в нашем журнале (№ 6, 1989 г.) информации о Фонде славянской письменности и славянских культур читатели обращаются к нам с просьбой рассказать подробнее о деятельности этой общественной организации. Надеемся, интервью академика Н. И. Толстого во многом удовлетворило читательский интерес.
Сообщаем также адрес Фонда: 119807 г. Москва, Комсомольский проспект, дом 13; его телефоны: 247-17-76 и 246-58-52, а также номер расчетного счета: 1700835 (код 21051) в МОУ Агропромбанка.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ДЕТИ РОССИИ



Фото М. ПАЗИИ

Станислав КУНЯЕВ начинал свой творческий путь на рубеже 50—60-х годов. Уже его первый поэтический сборник «Землепроходцы» (1960) привлек внимание читателей.
И последующие книги Куняева — «Звено» (1962) и «Ночное пространство» (1970), «Вечная спутница» (1973) и «Свиток» (1976), «Рукопись» (1977), «Отблеск» (1981), «Озеро Безымянное» (1983) и многие другие — ясный и весомый аргумент в споре о настоящем и будущем нашей родины, литературы, поэзии. Опираясь на традиции «ораторской», трибунной лирики, творчество Ст. Куняева в последние годы, тем не менее, поистине исповедально, многозвучно. Это же отличает и публицистику поэта.
Летом этого года Станислав Юрьевич Куняев стал главным редактором журнала «Наш современник». За книгу критико-публицистических статей «Огонь, мерцающий в сосуде» поэт удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1987).

Я читал стихи русским людям в их австралийском доме. Потом несколько часов подряд мы говорили о войне, о деревне, о сегодняшней России, о моей родной Калуге, о церквах, о Сталине, о перестройке. То безмолвно внимая мне, то прерывая мою речь вопросами, восклицаниями, возражениями, то вытирая невольно набежавшие слезы, переживая сердцем каждое слово, меня слушали мои соотечественники — русские люди нескольких поколений — участники гражданской войны, эмигранты, прибывшие в Австралию после сорокалетней жизни в Китае, бывшие военнопленные и угнанные на работы в Германию, их внуки...

Перед тем, как распрощаться, хозяйка дома Вера Николаевна Буровникова пригласила меня в свою библиотеку.

— Смотрите, дорогой поэт, если вам что-нибудь понравится из этих книг — прошу, возьмите на память о нашем вечере. Я ведь харбинская эмигрантка, лет мне уже много. Едва ли смогу уже побывать на родине. Боюсь, что не успею. Пусть хоть вы будете вспоминать меня на родине...

С жадностью скупого рыцаря я перебираю книжные полки. Поэт и публицист Борис Ширяев — «Неугасимая лампада», воспоминания о жизни русских интеллигентов, священнослужителей, остатков дворянства в знаменитых Соловецких лагерях — 1921—1929 годы; неопубликованные у нас дневники Ивана Бунина и Муромцевой; изумительные по красоте слога и силе религиозного чувства очерки Бориса Зайцева о Сергии Радонежском, о греческом Старо-Афонском монастыре, о Валаамской обители; несколько книг замечательного революционера-народника Р. Иванова-Разумника, о котором в свое время Сергей Есенин писал: «...Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот из него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаю сам себя». Жизнеописание знаменитого на весь мир хирурга Луки Войно-Ясенецкого, священника, узника сталинских лагерей, отца всей нашей военно-госпитальной хирургии, за что он в конце концов получил Сталинскую премию, окончившего свой путь в бозе и в звании архиепископа Крымского четверть века тому назад на Симферопольском кладбище; «Укрощение искусств» — воспоминания бывшего актера вахтанговского театра Юрия Елагина — о странной и двусмысленной судьбе нашего театра в двадцатые — тридцатые годы; свод документов «Трагедия русской церкви в 1919—1945 годах»...

С алчностью и печалью листал я эти кровоточащие, наполненные документами, социальными страстями, гневом, раскаянием, любовью и ненавистью страницы нашей многострадальной истории и думал:

— Взять или не взять. Ведь отберут на таможне... Инструкции. Железный занавес. Обветшалые стереотипы. И наши. И ихние тоже. Взаимное недоверие. Взаимное неприятие. Но все равно ведь — одна история, одни страсти — и все вокруг одной родины, одной России? Так почему же в новое время нам ограничиться лишь Набоковым, лишь Ходасевичем или Одоевцевой? Картина культуры, выплеснувшейся за пределы революционной России, куда шире... А зарубежные воспоминания Шаляпина? Прах его вернули. Но не менее важно вернуть его чувства, его взгляды, его воспоминания. Вот тогда можно будет всерьез говорить о возвращении гения на родную землю. Разве для полного выяснения объективной истины русская эмиграция не имеет права на свое полное неурезанное слово? Разве это слово не поможет нам стряхнуть ржавчину истлевшей ненависти и предрассудков? Неужели у нас не хватит воли, мудрости, исторического опыта, чтобы издать многие из этих книг с необходимыми историческими и даже пускай идеологическими комментариями, чтобы вырвались они наконец-то из заключения спецхранов и режимных архивов в жаждущее объективной истины читательское море?

Ну хорошо, иные авторы этих книг не признавали советской власти, хотя их отношение к ней менялось, и когда началась Отечественная война — патриотическое чувство многих из них — от Ивана Бунина до Антона Деникина отбросило шоры социальных страстей и сословных пристрастий. Так почему же у нас до сих пор не изданы «Окаянные дни» Бунина? Ведь в сущности весь пафос этой книги пятьдесят лет спустя прозвучал в удивительной повести «Уже написан Вертер» его талантливого, но беспринципного ученика Валентина Катаева. Неужели то, что дозволено Катаеву, не дозволено Ивану Алексеевичу Бунину?

Я перебирал книги в мягких обложках, раскрывал их наугад, начинал читать, подолгу не мог оторваться, с сожалением ставил на полку, брал новый том, и чувство обиды переполняло мою душу. «Избранное» Василия Розанова, «Борьба с Западом» Николая Данилевского, тома великого «византийца» Константина Леонтьева, наследие которого включил для будущих поколений Александр Блок в своем пророческом «Списке русских авторов»... Почему все это богатство издается за рубежом? Почему родина-мать отдала судьбу этих имен в руки бледных своих сыновей? Почему даже сейчас, в эпоху демократизации и гласности, мы, обуреваемые групповыми варварскими урезанокультурными страстями, талдычим лишь о нескольких именах: Набоков, Ходасевич, Пастернак. Хорошо, что они будут изданы. Но в том, что их книги вышли раньше книг Леонтьева и Розанова, Данилевского и Соловьева, Зайцева и Иванова-Разумника, я с горечью вновь усматриваю историческую несправедливость, замешанную на старых дрожжах социальной борьбы.

Я перебирал тома небольшой, но богатой по содержанию библиотеки и чувствовал себя нищим наследником великих богатств, которые еще неизвестно когда перейдут ко мне в законное наследство...

А почему бы нам, русским, рассеянным по всему свету, не взять пример с евреев, которые, где бы они ни жили, укрепляют, поддерживают свою историческую прародину Израиль, и без экстремизма, высокомерия и претензий на исключительность духовно не объединиться вокруг Отечества?

Почему бы — позволю себе пофантазировать — не провести через несколько лет, допустим, съезд соотечественников в Москве — и не только русских — но и украинцев, латышей, узбеков, литовцев, армян — сколько их, разбросанных по белому свету, живут, томимые духовной жаждой постоянного общения с Отечеством. Какой бы новый рубеж в человеческом сознании мы преодолели, на какие рубежи взаимопонимания, милосердия, прощения взаимных «болей, бед и обид» вышло бы человечество! Каким бы новым плодотворным содержанием наполнились сами понятия «эмигрант», «эмиграция», «изгнанничество», «диаспора», связанные в нашем сознании до сих пор с чем-то недостойным, постыдным и ущербным...

И, как бы угадав мои мысли, Вера Николаевна вывела меня из отрешенных раздумий.

— Выбирайте, что хотите, не стесняйтесь. Вы законные наследники. Потом разберетесь — что тут мертво, а что живо... Мы устали за свою жизнь от ярлыков «белогвардейцы», «белогвардейщина»... Новое поколение выросло — вон у меня дочери уже несколько раз побывали в России, внуки подрастают, внучки... Какие мы белогвардейцы — мы русские. Нам дорога каждая хорошая весточка с родины, если бы вы знали, как мы болеем за Горбачева, за вашу перестройку...

Газеты ваши — нарасхват, книги и журналы — зачитываем. Австралийцам — коренным — где только можно пытаемся объяснить, что такое Россия вчера и что такое она сегодня...

Наступила пора попрощаться.

— До свиданья! — До свиданья!

— Храни Вас Господь!

Вера Николаевна осенила меня крестным знамением и трижды поцеловала... Мы вышли из дома. Весенний воздух Австралии, насыщенный сладким цветеньем диковинных цветов, соленое дыхание Океана, непривычные глазу яркие созвездия Южного полушария...

— Мама, пора отпускать гостя! — Вера и Руся, звонко цокая туфельками по бетонной дорожке, выбежали из дома... Хлопнули дверцы «Мерседеса». Машина бесшумно отошла от особняка, и, пока мы ехали до поворота, я, не отрывая глаз, смотрел, как у калитки своего австралийского дома стоит старая русская женщина и машет рукой вслед удаляющейся машине.

* * *

После концерта нас повезли в какой-то частный дом на окраину Мельбурна, где в просторном гараже — поскольку гостей набралось столько, что больше нигде они не разместились бы — был накрыт немудреный, но обильный стол. Во дворе на мангалах шипели шашлыки, в гараже хозяйничали женщины — активистки Русского Дома, каждого из нас быстро окружили соотечественники, и начались разговоры, расспросы, тосты...

Рядом со мной сидели мать с дочерью. Мария Шиклуна родилась и выросла в Китае, а дочь ее — была австралийкой, но обе прекрасно говорили по-русски и, что мне уже показалось совершенным чудом, оставались «русскими душою».

— Как изгнали нас с Китая, — рассказывала Мария, — куда деваться? — Ну, дедушка говорит: Бог не выдаст, свинья не съест, — поехали в Австралию. Первое время мучились, бедовали. Я и уборщицей была, и пирожками торговала, потом жизнь наладилась...

— А мама и стихи, и песни сама пишет и поет их сама. — вмешалась в наш разговор дочка.

— Спойте что-нибудь, Мария!

Обстановка в гараже была шумная, непринужденная, и упрашивать Шиклуну долго не пришлось...

Видимо, очень волнуясь — все-таки с нами были солисты и Большого театра, и Киевского оперного! — Мария поднялась и, закрыв глаза, начала песню.

Я в тебе, Россия, не родилась,
Я в тебе, Россия, не росла.
Лишь от деда с бабушкой слыхала,
что Россия матерь им была.

Там, где детство ихне проходило
в полной вере, радости, любви,
но взыграли вихри боевые,
унесли от матери-земли...

Бледное скуластое лицо Марии похорошело, голос (грудное природное контральто) лился естественно и с таким чувством, что мы все замерли, у мужчин посуровели лица, а кое-кто из женщин вытащили из сумочек платки...

А Мария вся жила своей песней — по-русски самозабвенно, и голос ее, сильный и чистый, был в таком ладу с простыми словами, что я сам почувствовал себя частицей этой великой сверхчеловеческой драмы, которая называется разлука с родиной.

Россия, Россия далекая,
в каком-то чудесном краю
тебя я не знаю, не ведаю,
словами дедов люблю.

Разная бывает эмиграция. По ненависти, по убеждению, по гордыне, но чувство, жившее в этой женщине и в этой песне, было другим. Оно выражало частицу народного горя, бесхитростного и недоумевающего, горя, которое передали ей ее, может быть, неграмотные предки, которых «вихри боевые унесли от матери-земли». Ничего интеллигентски рефлектирующего, никакой экзальтации, никаких упреков не было ни в мелодии, ни в словах — только боль и любовь:

Брал меня мой дедушка на руки,
говорил такие мне слова:
— Помни, помни, внучка дорогая —
Русь святая матерь мне была.

Сбереги в душе любовь и правду,
сбереги навеки русску честь,
сбереги ты русские обряды,
что Россия не смогла сберечь...

Когда Мария закончила последнюю ноту и открыла глаза, как бы приходя в себя, все бросились к ней с поздравлениями и объятиями, а она — счастливая, похорошевшая, сама пораженная тем, что произошло, всплакнула от переживаний.

Ее дочь Татьяна, пока мать приходила в себя, рассказала о том, как родилась песня.

— Мы с мамой в прошлом году путешествовали на советском теплоходе «Лермонтов», и так нам все понравилось: и теплоход, и люди — матросы, такие все веселые, дружелюбные, надежные. И вдруг в этом году известие: «Лермонтов» затонул!» Ну мы сразу разузнали, что виноват был новозеландский лоцман, а русские моряки вели себя героически, ни один пассажир не пропал, не пострадал, и так мы разволновались, что я говорю маме: сочини песню про Россию. Мама и сочинила...

А в это время Мария Шиклуна отбивалась от нападок одного из идеологически подкованных членов нашей делегации, который назидательным тоном разглагольствовал:

— Ну зачем ты поешь, что Россия чего-то не смогла сберечь? Ты же в России никогда не была, ничего не знаешь...

Мне стало тошно от его слов. Ну хорошо, Мария могла что-то не знать. Но мы-то с ним знаем все. И не только то, что касается обрядов. Перед самой поездкой в Австралию я побывал на своей калужской земле. Постоял на высоком берегу Серены, посмотрел в зеленую чащу, окаймленную гигантским полукруглым обрывом, обошел Шамординский монастырь, трапезную — сердце заболело от печали... Сказка из темно-красного кирпича, маленькая копия Исторического музея, созданная прихотливой фантазией того же архитектора Тона. Узорные витые наличники, кирпичные балясины, пилястры, изящные карнизы, полукруглые арки, переходы — разбитые окна, вывороченные рамы, ободранная крыша, куда льются потоки осенних дождей... Выбитые глыбы кирпича, разбитые балконы — кирпич шел на элементарные хозяйственные нужды, на засыпку рытвин; обитые комбайнами и самосвалами углы... Здесь было училище сельхозмеханизации, да и то недавно ушло, и остался Шамординский монастырь даже без такого равнодушного к истории и красоте хозяина... Но ведь это же чудо архитектуры прошлого века! Любая страна гордилась бы им! Да хотя бы потому, что на ободранном и оскверненном фасаде висит маленькая доска с врезанными в мрамор словами о том, что здесь Лев Николаевич Толстой писал Хаджи Мурата. Здесь жила в монастыре его сестра, к которой он приехал попрощаться перед уходом из Ясной Поляны. Мария Николаевна Толстая...

— Да вот ее могилка тут! — местная жительница Ксения Андреевна разгребала руками бурьян. — Где-то тут штырок от памятника стоял. Вот он вроде. А памятник на другое кладбище увезли, в Плюски. Он там и стоит на чужой могиле. А имя Марии Николаевны закрасили. Народ-то идет. Каждую неделю приезжают — смотрят, где могила. Вот, возле моего забора. Раньше-то, как мы хибарку свою поставили, могила-то была прям на дворе. Потом мне стало как-то не по себе. Свинья ходит по плите, куры... Тут ить край монастырского кладбища. Ну я забор-то и отнесла... Да как бы не я — и забыли бы, где тут лежит сестра Толстого. Тем боле, что могильную плиту украли...

Взываю к Фонду культуры, к Союзу архитекторов, к Союзу писателей, к Обществу охраны памятников — возьмите кто-нибудь изуродованную, но, к счастью, еще крепкую жемчужину русской культуры в свои руки! Не позвольте погибнуть Шамординскому монастырю, святому для России очагу! Чтобы знала Мария Шиклуна, далекая русская душа, закинутая судьбой на Зеленый континент, что Россия хоть что-то смогла сберечь...

Литературный вечер в Аделаиде...

Мы с актерами выглядываем время от времени из артистической в зал, который быстро наполняется,— слышим отрывки самых разных языков — английского, украинского, русского, литовского, эстонского... Велика и разноречива наша эмиграция! Во время выступления я внимательно следил за тем, как зал реагирует на мои стихи... Стихи о родине, об Оке, о России. Все хорошо — бурные аплодисменты, внезапный, незапланированный стихийный сердечный отклик...

Попробую, как стихи о войне. Начал читать и почувствовал, как напряглись лица у нескольких стариков, плотной маленькой кучкой сидевших недалеко от сцены.

Опять разгулялись витии,
Шумит мировая орда:
Россия! Россию! России!..
Но где же вы были, когда
от Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля...

Стихотворный ответ всяческим борзописцам, время от времени поливающим нашу Родину грязью... Но при словах «а где же вы были, когда» — я просто физически почувствовал, как напряглись лица у этих семидесятилетних мужчин, потому что, кто знает, о чем они подумали и вспомнили в это мгновение? О плене? О лагерях? О сломанной жизни? А может кто-то и о том, что у него руки замараны кровью?

Все может быть. Во всяком случае, когда я закончил стихи:

Недаром вошли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого,
и Жукова маршальский жезл —

то у нескольких стариков, до того аплодировавших, высохшие старческие руки не поднялись для аплодисментов, и я еще раз подумал: как все непросто в нашей истории! Но подавляющее большинство зала — женщины, люди моего возраста и молодежь хлопали чистосердечно и самозабвенно, и аплодисменты их обтекали маленький угрюмый островок из нескольких доживающих свою жизнь на чужбине людей...

А после концерта, когда мы вышли на улицу, окруженные толпой, просившей автографы, задававшей вопросы, приглашавшей в гости, ко мне вдруг протиснулся старый человек и просто сказал: спасибо за стихи о калужской земле, я ваш земляк, из-под Перемышля... Мы отошли в сторону, и началась короткая, но страстная исповедь о жизни: служба в армии перед войной, война, плен, лагеря, послевоенная Германия, Австралия... Два двоюродных брата — до сих пор живут на калужской земле — один в самой Калуге, другой в Перемышле... Что-то давно не пишут. Если будет возможность — разыщите, скажите, что жив-здоров...

Почему до сих пор не навестил Родину? Да вот по разным причинам...

А впрочем, в течение двух последующих дней, пока мы перелетали по Австралии из города в город, я написал под впечатлением от этой встречи стихотворение, в котором все, пожалуй, сказано точнее и полнее:

Я говорю ему: «Решись
и навести свою Отчизну.
На ней шумит живая жизнь,
О прошлом хватит править тризну».

Он отвечает: «Ваша власть
изгнаннику не будет рада».
Я говорю: «Слова не трать,
земля ни в чем не виновата!»

В ответ: «Мой брат бывал в плену,
бежал и вновь прошел войну,
вернулся — и ему награда:
в вагоны — и на Колыму.
Мне больно за родного брата».
Я снова говорю ему:
«Сибирь ни в чем не виновата!»

Я говорю: «Ты мой земляк,
ты помнишь синь Оки и Жиздры».
Он говорит: «В родных полях
живет лишь эхо прошлой жизни!
Но эта жизнь давно прошла.
Я видел слишком много зла...»

Я говорю: «Тернистый путь
лежит за вашими плечами.
Я мог бы в чем-то упрекнуть
и Вас, но умножать печали
нам незачем: и гнев и гной —
все превратилось в перегной!
Пора пахать другое поле.
Довольно ржавый меч точить.
Душа Руси кровоточить
устала — мы достойны доли
иной!..»

В ответ: «Ну коли так,
коль понял жизнь мою, земляк,
Стряхнем обиды и печали.
Ты передай поклон Оке,
Земле, которую во сне
я вижу южными ночами!»

Когда я прочитал эти стихи через три дня в Сиднее в переполненном зале на пятьсот человек — то впервые почувствовал, что такое настоящий успех. Люди встали и аплодировали несколько минут, потом, как сказали мне, от переживаний одной женщине стало плохо, вызвали врача... А в перерыве я был окружен такой толпой поклонников и поклонниц, какой никогда у меня не было и не будет на Родине. Одна женщина со слезами на глазах сказала:

— Если бы такие стихи можно было у вас опубликовать лет десять — пятнадцать тому назад — я без колебаний вернулась бы на родину. А сейчас уже поздно. Слишком стара стала...

• • •

Весенняя австралийская ночь... Гостиница... Прохлада, набегающая с океана. Редкие минуты, когда можно подвести итоги рабочего дня, привести в порядок поспешные записи в блокноте. Вдруг телефонный звонок: — Мне нужно обязательно увидеться с вами, уделите мне хотя бы полчаса!

Исповедь худого крупного человека, который в свои шестьдесят лет не утратил мускулистой ширококостной стати, знающей, что такое тяжкий физический труд, затянулась на полночи.

Жили в Дальнем. Отец — советский гражданин, работал от Союза. Когда разгромили японцев и пришли наши, и отца и сына посадили, сына отправили в норильские лагеря. Десять лет. Выпустили в пятьдесят шестом году. От обиды советского гражданства брать не стал. Жил в Казахстане. Женился на вдове с тремя детьми. Детей воспитал в строгости... Умерла жена. Дети выросли и разъехались. Остался один. А обида все не проходила. Два раза попросил путевки на курорт — поправить здоровье, подорванное в Норильске, — отказали. Махнул на все рукой — и уехал к сестре в Австралию. А сестра оказалась такой антисоветчицей, что плюнул — и подался на черные работы в австралийскую пустыню: рудники, дороги... Мучился от климата и одиночества. Заработал какие-то деньги. Вернулся в город. Отношения с эмиграцией не сложились: — И антисоветчики есть, и русофобы — особенно из среды последней, еврейской эмиграции. А я за Россию — какая бы там власть ни была. Западная жизнь — красивое яблочко, а изнутри гнилое. Вернусь, все равно вернусь, чего бы это мне ни стоило! Лишь бы разрешили, лишь бы приняли... Не хочу в этом раю жизнь свою доживать, хочу напоследок русским воздухом надышаться...

И, конечно, надо пойти навстречу этому человеку, несмотря на то, что некогда от горькой обиды уехал он с родной земли без советского гражданства...

Еще один телефонный звонок.

— Мне надо обязательно встретиться с вами, поговорить. В любое время!

С трудом выкраиваю час-другой из переуплотненной программы, назначаю свидание. Знакомимся.

— Хорли Владимир Владимирович... Вообще-то настоящая моя фамилия Хороще, но никто ее здесь не выговорит... Я из Харькова. Генеральский сын. Отец командовал резервами танкового тыла. В тридцать седьмом году арестовали. Нас с матерью из генеральского дома выселили. Первые дни жили в подъезде, потом скитались по городу. Из института меня тоже исключили... Я к прокурору. Ну тут другое поветрие пошло, что, мол, сын за отца не отвечает, восстановили... Закончил я электротехнический институт — и война... Попал в окружение под Киевом — пошел по лагерям... Что в лагерях самое страшное — унижают так, чтобы человек ни о чем, кроме куска хлеба, не думал. Бросят кусок хлеба, куча мала — а немцы да полицаи смеются... Кашу, помню, на этапе раздавали. А куда положишь — котелка нет. Я в кепку. Отвлекся на миг — ни кепки, ни каши. Братцы! — а в ответ матюги: — Смотреть надо!

Худой, подвижный старик, в свитере, нервничает, хрустит пальцами, речь сбивчива, перепрыгивает с одной мысли на другую, хочет зачем-то рассказать мне за один час всю свою жизнь...

— А Хорольский лагерь? — Братская могила. Там сорок тысяч лежит. Весной собрали священников, поставили кресты, приказали отпевать — с кадилом! Оркестр из заключенных прислали...

А когда мы слышали самолеты советские, — одни кричали: «Наши!» — а другие: «Какие наши? Это коммунисты!» Много было раскулаченных... Помню, жили мы в кошаре — сахарную свеклу копали. Седьмого ноября приходит в кошару немецкий офицер и говорит: «Радуйтесь, Москва и Ленинград взяты». Кое-кто закричал «ура!» А когда немец ушел, мы их избили...

В Холме как-то в баню нас повели. Какая там баня — не успеешь вымыться — тебя палками гонят: скорее! В предбаннике груда одежды. Одевайтесь! Елдашам специально немецкую форму привезли, те отказались ее надевать, вызвали солдат. И в приклады елдашей... По-всякому было.
Привезли нас на каменоломни возле Кельна. Камни на гипс перемалывать. Но это уже после Сталинграда. Маленько лучше кормить стали. Дробили камень — и на вагонетку... Норма в день — семь вагонеток. Я с немцем работал, с антифашистом, ему было семьдесят четыре года. Он меня так учил: спешить нельзя. Надо потихоньку. Перекуривай чуть только можно, отдыхай. Медленно работай... Все равно Германия войну не выиграет...

А когда мы уже канонаду слышали, он говорит: «Надо хоть прутьями железными вооружиться, эсэсовцы придут — сопротивляться будем...» Загнали нас в штольню — но не успели. Утром слышим — танки идут, выскочили мы — немцы бегут по полю от американских танков...

Пошел я к американцам на кухню, поваром работал до 47-го года недалеко от Лимберга. А сам все думаю: возвращаться или нет? Отец репрессирован, сам — в плену прожил. А слухи все хуже и хуже: к немцам пленным советские относятся лучше, чем к остарбайтерам. Как с врагами обращаются. А у меня мотоцикл уже был. Сели мы с товарищем — и в Лимберг. Там украинцы были и русские, убежавшие из Берлина. Посмотрим, как за ними приедут, как их брать будут. Чего нам поперед батьки в пекло соваться... Приехали в наш лагерь американские грузовики — в лагерь был в шестиэтажном доме — ликвидировать! Американцы, они — так же, как и советские, крушить все любят. Все полетело из окон — столы, вещи, все, что я нажил за два года — все пропало! И стал я снова нищим перемещенным лицом. Торговал на черном рынке сигаретами, консервами. Накопил 500 тысяч марок, оккупационные деньги поменял, доказать надо было, что марки твои, тобой заработанные. Продуктов накопил года на два. А все чувствовал себя неполноценным человеком. Когда вас столько лет унижают — надолго остается. Чувствую — не могу в Германии жить. Немцев ненавижу и в Россию боюсь возвращаться. Куда ехать — в Америку? В Аргентину? Пошел по консульствам.

В австралийском мне и говорят: шахтеры нужны... Ну и получил визу в Австралию. Повезло мне. Как приехал — устроился помощником повара в отель. Поваром был югослав. Я ему говорю: возьмешь — половина зарплаты тебе. А тоже непросто: халат, ножи — все свое надо иметь. Потом опять повезло — стал преподавать русский язык. Сижу среди преподавателей и себе не верю, что я, бывший доходяга... (Владимир Владимирович закашлялся, достал носовой платок, вытер глаза) — и сиял от счастья, что из мертвых воскрес, человеком себя почувствовал!..

— Ну, я вижу, что вы уже торопитесь. Простите меня. Поговорить захотелось. И жена с утра твердила — поди, поговори. Мне ведь ничего не надо. Душу отвести, и хватит. За то, что приехали — спасибо. За стихи спасибо. Жена хотела со мной прийти, да приболела. Одни мы здесь. Никого нет у нас. Поддерживаем друг друга...

Наш автобус отъезжает от гостиницы, и я смотрю, как Владимир Хороще, бывший харьковский студент, сын советского генерала — худенький старичок в очках, в толстом свитере, болтающемся на иссохшем старческом теле, глядит вслед автобусу, вытирая платком слезящиеся глаза...

• • •

Чубатый скуластый мужик, чем-то похожий то ли на Гришку Мелехова, то ли на Степана Астахова из кинофильма «Тихий Дон», Александр Лизогубов, продававший билеты на наш концерт в Аделаиде, привез нас на ужин к себе домой.

По дороге рассказал кое-что из своей жизни:

— В шестьдесят втором году Мао Цзе-дун всех русских из Китая стал выгонять. Куда нам ехать? Австралия не принимает. Кое-кто, правда, в Союз вернулся. В Казахстане живут. Без копейки денег, без вещей — все китайцы отобрали — дома, скот, магазины, если кто имел, посадили нас на самолеты и — на Зеленый континент. Трудно, конечно, пришлось в первое время. В Китае-то мы хорошо обжились... А здесь — кто куда. Больше на черные работы. В глубь континента — дороги строить, рудники. Женщины — кто в уборщицы, кто пирожки печь. Несколько лет себя не жалели.

Он крутит баранку своего «Форда» медвежьими ладонями — каждая чуть ли не в два раза больше моей, и я верю, что они себя не жалели.

— А потом денег заработали, кто землю купил — фермерами стали, а мы в город вернулись. Артель сколотили — дома строим — братовья, племянники, ну, а я вроде бы как бригадир. Мое дело — выгодные подряды найти, материалами артель обеспечить — но при нужде и каменщиком, и плотником, и сантехником, и столяром могу... Вот, кстати, мой домик, сам я его проектировал, сам и строил...

Дом у Саши двухэтажный. Шесть комнат вверху, шесть внизу. Бар. Бильярд. Гараж. Отопление газовое, вмонтированное в стены. Три машины: одна — полуфургон для перевозки стройматериалов, другая — семейная, дешевая, для хозяйственных повседневных нужд, третья — праздничный выезд, «Форд», на котором мы едем...

Витая лестница из какого-то красивого желтого дерева ведет на второй этаж. В гостевом зале, возле накрытого человек на двадцать стола, нас встречает хозяйка...

Немало я поездил по белому свету, но честно скажу — ни в одной стране я не видел, чтобы простой рабочий человек жил так, как Александр Лизогубов и его братья — у каждого, в сущности, такие же особняки, как у Саши. Но ведь он не просто благополучный рабочий или заурядный потребитель. У него большая библиотека, он выписывает газеты и журналы, в том числе советские, он болеет за то, чтобы его трое детей, которые, кстати, учатся в русских школах, выросли в любви к России, чтобы они читали русские книги... Его интересуют политика, экономика, религия...

— Я был в секте старообрядцев, с молоком матери этот дух впитал. А потом надоело. Вышел. Стал изучать все религии — ведь религии нужны великим государствам. Знаю христианство, буддизм, иудаизм... Иначе не поймешь, что в мире творится. Я не социалист. Но я понимаю, что такое международные банки и что такое национальные долги, и кто на них живет. Даже мы — Австралия, богатейшая страна — и то в долгах, девяносто миллиардов задолжали. Я знаю, почему плачу́ с каждого заработанного доллара налог — сорок девять центов, и кто живет на эти деньги, я знаю, почему плачу за рубашку двадцать долларов, а красная цена ей семь...

Я слушал этого сорокапятилетнего, крепкого мужика, уверенного в себе, и, ей-Богу, в груди было радостно за русского человека, за то, что, укоренившись, остался русским.

Словно бы прочитав мои мысли, Саша помрачнел:

— Не у всех сил хватило, чтобы выжить. Много кто спился. Кто жизнь самоубийством кончил. Недавно один в гараж зашел, заперся, сел в машину и мотор включил. А перед этим незадолго в Россию съездил. И у меня были минуты отчаяния. Однажды так плохо стало, что напился. Просыпаюсь — не понимаю — где я, что со мной. Жена сейчас у меня в таком состоянии...

Ссорят нас с вами некоторые силы. Если бы не они — мы давно бы поняли друг друга. А то обзывают монархистами, белогвардейцами...

За столом у Саши рядом со мной присел элегантный старик в синем костюме, в белой рубашке с отложным воротничком.

— Позвольте представиться — поэт Михаил Волин. Вы мои стихи знать должны, ибо поет некоторые из них Александр Вертинский...

Мы заговорили о Блоке, о Есенине, об Ахматовой. Михаил Волин показал несколько иную грань русского характера, обработанного жизнью за границей. Он говорил на чистом русском языке, тонко комментировал многие строки моих стихов, демонстрируя безукоризненный вкус и своеобразное эстетство в духе Михаила Кузмина. Он не волновался, разговаривая о России, а наоборот, подчеркивал свою культурную независимость и, видимо, гордился своим спокойствием.

— Я как-то отошел от квасного патриотизма. Стал вроде бы гражданином мира...

И все-таки в этих нарочито спокойных словах, произнесенных с тонкой улыбкой, мне показалось, что я расслышал глубоко запрятанную горечь, которую должен скрывать интеллигентный и владеющий собой человек...

* * *

В Австралии шестьдесят тысяч русских и тридцать тысяч украинцев. Они вкладывают свой труд в благосостояние процветающей страны, строят, торгуют, изобретают, покупают, продают... Но все, что называется духовной жизнью, все, чем питается душа человека, все-таки зиждется у них на связях с отчими мирами...

* * *

Газеты принесли весть о пожаре в Троице-Сергиевой лавре. Русский промышленник из Канберры посылает на восстановление солидный чек в Москву. С гордостью показывает нам благодарственное письмо митрополита Питирима.

* * *

Поэт-любитель читает нам стихи, в которых пытается объяснить малым детям, родившимся в Австралии, что значит слово «Родина»:

В нем Невский, Минин и Пожарский,
Бородино, Полтавский бой,
В нем трехвеко́вый бич татарский,
В нем звон курантов под Москвой.

В нем гром семнадцатого года,
Кошмар ежовщины и кровь,
Когда из сердца у народа
украли веру и любовь.

Но стихи заканчиваются вещими тютчевскими словами: «В Россию можно только верить».

* * *

В Русском Доме в Мельбурне ставят «Русалку», поют «Любите Россию» и «Офицерский вальс», «Темную ночь», «Дубинушку» и, конечно же, «Очи черные»...

* * *

Возле украинской церкви высится черный базальтовый крест и стела, на которой высечены слова: «Вечная память миллионам украинцев, умерших в 1932—1933 годах от голода...»

Эмигрантам легче, когда они слышат, что мы сами сегодня говорим обо всех этих кошмарах прошлого. Ибо они об этих кошмарах помнили всегда...

* * *

Вошла мне в плоть и кровь
Австралии горячая
последняя любовь,
бездомная, бродячая.
И край родной слабей
Мерещится сквозь слезы,
А сердцу все милей
Медовый цвет мимозы.

Это из стихов Игоря Смолянинова, также прошедшего все круги плена, унижений, разрыва с родиной.

* * *

После какого-то выступления мы все вместе в застолье под баян затеваем «Подмосковные вечера», а потом все-таки «На сопках Маньчжурии».

* * *

Выходец из Новгорода, разбогатевший фермер, строит в Аделаиде православный храм, копирующий в миниатюре одну из знаменитых новгородских церквей.

* * *

Уроженка Киева Людмила Афанасьевна негодует: «В последние годы приехало сюда из Союза восемнадцать тысяч эмигрантов с израильскими визами. Ругаемся мы с ними. Поливают нашу Родину, как хотят. Я им говорю: «Как же можно! Вас там от фашистов спасли, вырастили, образовали». А они мне: «Ты сама предательница, работала на Гитлера». Так меня же пятнадцатилетнюю насильно угнали, а вы по своей воле от родины отказались!

До восьмидесятого года за тридцать с лишним лет в нашей русской общине здесь всего два уголовных дела произошло. Один жену избил, а другой — что-то украл. А за семь лет, как хлынула эта четвертая волна — уже 180 уголовных дел. И австралийцы возмущаются — вот, мол, какие русские едут... Они же не понимают...»

* * *

До отеля меня подвозят муж с женой. Поженились после войны в Германии. Она — угнанная из Донецка на работу в Германию, он — итальянец-антифашист...

Прожили в Австралии с 1947 по 1967 год. Потом вернулись на Украину, в Донецк... — А потом? — Потом снова возвратились в Австралию. — Почему? — Они долго не хотели рассказывать, стеснялись, отговаривались, но постепенно разговорились.

Приехали в Союз. Он всю жизнь в Австралии проработал капитаном дальнего плавания: «Попытался устроиться на ту же работу в Союзе. И не берут, и не отказывают. Ну хотя бы в речное пароходство — то же самое. Жить временно устроились у родных. Год живем, второй...» «Сколько можно? На нас уже косятся, — вступает в разговор жена, — а деньги у нас есть — но кооператив купить не можем. Поставили нас в очередь — лет через пять, говорят, поселитесь. А мужу совсем плохо без работы. И без жилья. Однажды приехала машина — хотели его как тунеядца забрать в компанию с местными тунеядцами. Тогда старшая дочь мне и говорит: — Мама, поехали обратно! — И я сама себе сказала: чтобы мои дети не разочаровались в России — надо уезжать... Да что о нас — почитайте еще стихи!..»

И когда я закончил стихотворенье словами: — «А сын молчит о том, что, замерзая, теряют память реки и поля и шепчет в ночь: дай веру, мать родная, и ты не выдай, мать сыра-земля» — моя собеседница всплакнула: «А мать сыра-земля все тянет к себе! С тех пор каждые два года на родину ездила, навещала родителей, пока живы были!»

Еще одно воспоминание...

— Мы, русские, жили в Харбине. Я там родилась. Слышали, КВЖД? Вы же ничего почти об этом не знаете. Мы, русские, эту дорогу построили, отвоевали, обжили. Что для меня значит русский человек? Я вспоминаю эти белые, выгоревшие гимнастерки, пустыню, степь, безводье, кругом чужой народ... А как воевали! Даже японцы, восхищенные русским солдатом, поставили ему памятник! Побывала я недавно в Новосибирске, в Иркутске, по деревням ездила... Где у вас сельские церкви? Да если бы не препятствовать — народ давно бы их отстроил...

Церковь, вера, православие — эти слова и темы возникают в любых разговорах. Сиднейские русские женщины повезли меня поглядеть женский монастырь и богадельню, где доживают старики аж первого поколения эмиграции. Основательница богадельни — маленькая, но властная старуха Надежда Сергеевна Романова встретила меня недоверчиво: — Русский поэт? А что, Россия разве еще существует? Не может быть России без святых мест!

— Но позвольте, Надежда Сергеевна, — ведь святые места могут быть разными в разное время. Если раньше святыми местами были Оптина Пустынь и Киево-Печерская лавра — то теперь это Пушкинские Горы и Михайловское, есенинское Константиново, лермонтовские Тарханы... Ведь в такие места народ сейчас приходит, словно богомольцы на поклонение!

— Нет, это культурные центры. А святые места — совсем другое!

— Ну тогда я вам скажу не только про лавру, но и про Данилов монастырь — он реставрируется, и там к тысячелетию крещения Руси откроется патриаршье Подворье, Оптина Пустынь возрождается — через два-три года будет отстроена и станет монастырем и одновременно историческим музеем Толстого, Достоевского, Гоголя, братьев Киреевских...

— Оптина отстраивается? И монастырь будет? — Надежда Сергеевна цепким взглядом окинула своих прихожанок. — Надо бы кому-то съездить в Россию, посмотреть — правду ли поэт говорит про Оптину...

Мы уходили из монастыря — я оглянулся на маленькую церковь, на уютные одноэтажные особнячки из красного кирпича с двумя крылечками — двухквартирные — возле своего крылечка стояла, опираясь на палку, Надежда Сергеевна и глядела нам вслед из-под ладони...

Из богадельни — своеобразного чистенького общежития, к вечерней службе в церковь медленно ковыляли старики и старухи, бережно поддерживая друг друга...

Мы возвращались по шоссе, струящемуся вдоль океана, и мои спутницы рассказывали мне, какими видятся им сегодняшние русские люди.

— В Сибири, в первую нашу туристическую поездку в Союз, на вокзале гуляем, разговариваем. Ну так случилось, что люди, кто рядом стоял, поняли, откуда мы... Обступили нас, расспрашивать стали... А один мужик постоял возле нас, заскрипел зубами и выругался: «Сволочи!» А мы и не обиделись. Наверное, подумал: где же вы были, когда мы воевали! Какие, мол, вы русские!

А еще как-то раз тоже на вокзале со старушкой разговорились. Мол, приехали посмотреть на родину отцов и дедов. Так бабушка слушала и говорит: может, тебе, милочка, ночевать негде? Ну пошли ко мне!

А раз — это лет десять тому как было. Едем по Сибири. Пришли в ресторан. Сидит мужчина. Зовет моего мужа: «Подойди!» — Тот подошел. «Это твоя баба? — Моя. — Ну давай с ней за мой стол, садись! Выпьем...» Выпили. Договорились, что к нам в вагон придет вечером. Пришел, открыли бутылку виски. Проводница вломилась: «Ты что, пьянь, к иностранцам лезешь!» — Он так испугался, выскочил. Потом через час заглядывает в купе и — шепотом: «А где эта баба, шпиёнка? Нету? Ну, наливай скорее! Ишь разоралась: иностранцы! Какие вы иностранцы — вы русские!»

Посвящается

В. М. Буровниковой

Русская женщина в дальнем Сиднее
перекрестила меня на прощанье...
Возле куста австралийской сирени
мы постояли в глубоком молчаньи.
Мы помолчали. О чем? Не о том ли,
что повстречались случайно на свете,
что не бывало горестней доли
той, что изведали русские дети...

1987—1988

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

О ДЕТЯХ И ВЗРОСЛЫХ

Книга В. Леви называется «Нестандартный ребенок» потому, что «стандартных» детей не бывает. Их такими делают неумные взрослые на беду себе и обществу. В. Леви — врач, психолог, писатель — автор книг «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Я и мы» — говорит о больном вопросе нашего времени — воспитании нового поколения. Практиковавшееся десятилетиями воспитание, воспитание «стандартного» ребенка, привело общество на край пропасти, дальше ему грозит вырождение, деградация человеческой личности. И единственная возможность оздоровления общества — воспитание нового поколения, здорового и физически, и нравственно. Воспитание человека — это воспитание личности прежде всего, и воспитать ее и есть самое трудное. Каждый ребенок — сам по себе личность, и сделать ее гармоничной — задача взрослых. Ребенок не может быть «без греха», он может подраться, солгать, украсть, нагрубить, сделать что-то наоборот, «назло» взрослым, но он никогда не станет «испорченным» человеком, если вырастет в окружении любви, искренности, доверия и признания его личности.

Книга «Нестандартный ребенок» не только о детях, она, прежде всего, о взрослых, на которых смотрят дети, познавая мир. Автор напоминает читателю, что его ребенок — зеркальце собственной его души, и прежде чем воспитывать дитя, надо тысячу раз заглянуть в себя: всегда ли ты поступаешь так, как учишь ребенка, не лжешь ли сам, требуя честности от него, и не требуешь ли от ребенка большего, чем дал ему сам?

Автор говорит об ответственности перед будущим поколением. И чтобы требовать от него бо́льшего, нужно трудиться терпеливо над ростками. Каждый родитель обязан быть педагогом, ибо никто не посеет в детской душе ростков любви, доброты, порядочности — только любящие отец и мать.

С большой теплотой, добрым юмором написана книга, рассчитанная на самого широкого читателя. Воспитание детей касается всех: родителей, учителей, медиков. Много полезных практических советов дает автор в трудных вопросах воспитания, приводит типичные примеры, ибо дети-то все разные, но проблемы у них схожи.

И. ФИЛИППОВА

Леви В. Л. НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕБЕНОК. — М.: Знание, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Иконников С. Н. МОЛОДЕЖЬ И КУЛЬТУРА. — М.: Знание, 1989. — 64 с. — (Сов. молодежь 80-х гг.). — 15 к. 25 000 экз.

Миненко Н. А. ЖИВАЯ СТАРИНА: Будни и праздники сиб. деревни в XVIII — первой пол. XIX в. — Новосибирск: Наука, 1989. — 160 с. — (Страницы истории нашей Родины). — 80 к. 26 000 экз.

ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ В ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ / Асеева Т. А.: Дашиев Д. Б., Кудрин А. Н. и др. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. — 192 с., ил. — 1 р. 90 к. 120 000 экз.

Крылов Г. В., Козакова Н. Ф., Лагерь А. А. РАСТЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. — 304 с. — 3 р. 200 000 экз.

Степаненко В. ХЛЕБ. — М.: Агропромиздат, 1989. — 399 с., ил. — 4 р. 40 к. 35 000 экз.

Барсукова Е. Ф. РУССКАЯ КУХНЯ. — Л.: Лениздат, 1989. — 174 с., ил. — 1 р. 20 к. 300 000 экз.

Русакова Л. М. ТРАДИЦИОННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО РУССКИХ КРЕСТЬЯН СИБИРИ. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. — 176 с.+Прил. 96 с. — 3 р. 30 к. — 4 200 экз.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА НА МОЙКЕ: Альбом / Сост., текст Н. И. Поповой. — М.: Сов. Россия, 1989. — 127 с., ил. — 5 р. 30 000 экз. — На рус., англ. яз.

Горемыкина В. И. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ О РАННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ. — Минск: Беларусь, 1989. — 95 с. — 25 к. 11 000 экз.

Вернадский В. И. НАЧАЛО И ВЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ. — М.: Сов. Россия, 1989. — 703 с. — (Публицистика классиков отеч. науки). — 1 р. 30 к. 30 000 экз.

Мечников И. И. ПЕССИМИЗМ И ОПТИМИЗМ. — М.: Сов. Россия, 1989. — 640 с. — (Публицистка классиков отеч. науки). — 1 р. 20 к. 50 000 экз.

ВРЕМЯ

Идеи.
Диалоги.
Поиски.

ЮОЗАС НЕКРОШЮС

КОГДА инициатива НЕНАКАЗУЕМА

Прошло три месяца после завершения работы Московской международной книжной ярмарки, но каждый раз, обращаясь к насущным проблемам литовского книгоиздания, я снова мысленно вижу себя в павильонах на ВДНХ СССР, среди множества книг всех континентов, пытаясь оценить наш труд на фоне мировых достижений и стандартов печатного дела.

Что же порадовало и что огорчило на ММКЯ-89? В деятельности советских, в том числе и литовских, издательств ощущалось больше независимости, раскованности, а полученная ими самостоятельность потребовала тщательно взвешенного подхода к каждой сделке. С утратой московским книжным форумом статуса выставки на нем стало меньше экспонатов, однако это можно считать плюсом, ибо позволило работать более предметно и целенаправленно — каждая выставленная книга могла претендовать на куплю-продажу. Не чувствовалось на ярмарке и былой показухи — кто больше, лишь бы отчитаться...

Если взять литовское книгоиздание, мы окончательно отказались от командной системы: это вам разрешается, а это не разрешается! Действуй, как считаешь нужным! И куда более рачительно, чем прежде, считаем деньги. Раньше как велось — представили в Совет Министров республики смету расходов по ярмарке, и получайте требуемую сумму. Теперь деньги приходится извлекать из собственного издательского кармана — и они экономно складывались на паритетных началах; в результате расходов без ущерба качеству работы понесли в три раза меньше.

Что и говорить, самостоятельность это прежде всего ответственность, но и, конечно же, инициатива. Взять литовское издательство «Мокслас» («Наука»). Оно без подсказки посчитало, что ему выгоднее ориентироваться на югославских партнеров, а конкретно — на Словению, где расположен целый ряд первоклассных типографий. Там могут напечатать несколько подготовленных нашим издательством альбомов — «Атлас птиц», «Раковины», «Насекомые». Расплачиваться будем не деньгами, а макулатурой и частью тиража — югославы будут сами искать рынок сбыта.

Или другие примеры. В США живет известный на Западе художник и скульптор, друг Пикассо Арбит Блат, уроженец Каунаса, и мы решили выпустить альбом, посвященный творчеству этого мастера. Он взялся подготовить слайды, мы печатаем книгу и рассчитываемся с автором частью тиража, к которому проявляют интерес в ряде стран. А издательство «Витурис» («Жаворонок») начало продавать детские книги в арабские государства...

О чем говорят эти факты? О расширении наших прав в выборе партнеров и форм сотрудничества. Появился хороший стимул искать нестандартные пути, выходить на прямые связи без посредников, как это мы сделали на ММКЯ-89 в отношении издательств ГДР и Польши.

К сожалению, ярмарка не во всем оправдала наши ожидания. Я не буду касаться причин снижения числа ее участников — об этом достаточно говорилось на страницах печати. Но все ли при этом было хорошо взвешено? Скажем, литовские издатели не увидели среди своих прежних партнеров ряд фирм ФРГ и Финляндии.

Наблюдалась и вялая покупка готовых тиражей наших изданий. Слов нет, объединение «Международная книга» меняет стиль работы к лучшему, но все еще не так быстро и эффективно, как хотелось бы. Иначе чем объяснить, что республиканские издательства очутились на ММКЯ-89 в тени — готовых тиражей купили и продали меньше, чем надеялись. Наши работники книжной торговли оказались в растерянности — валюты не имеют, опыта таких сделок маловато. Думается, и Госкомпечать СССР, и те его ведомства, которые занимаются экспортом-импортом книжной продукции, должны подумать об организации соответствующей учебы и консультаций еще в процессе подготовки к ярмарке и аналогичным мероприятиям за рубежом.

Конечно, выбор книг для импорта дело не простое, но оно тем более затруднительно, если видишь перед собой тысячи обложек. Мне кажется, что, несмотря на строгий отбор, на последней ярмарке в Москве все равно оказалось чересчур много изданий. А сколько их должно быть? Может быть, столько (и я не шучу), чтобы каждый издатель мог уместить свою продукцию в небольшом чемодане. Как известно, заведомо заданная грандиозность далеко не всегда ведет к успеху. В данном случае панорама ярмарки впечатляла, а вот конкретная работа на ней была, как и прежде, весьма затруднительной.



НЕКРОШЮС Юозас Повилович родился в 1935 году. Закончил Вильнюсский государственный университет. Работал в партийных органах, являлся заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии Литвы. С 1973 года председатель Госкомиздата Литовской ССР. Председатель совета Общества книги и правления Детского фонда республики. Член Союза писателей СССР, автор более десяти поэтических сборников. Лауреат Государственной премии Литовской ССР.

книга и перестройка. мнение издателя

Не могу вновь не вернуться к старой претензии в адрес информационной обеспеченности участников ММКЯ. Экспресс-информация на ней по-прежнему запаздывала, была весьма ограниченной и носила преимущественно пропагандистский характер. Накопление опыта проведения таких мероприятий идет у нас медленно, чувствуется острый недостаток в технической оснащенности. И здесь могло бы, на мой взгляд, помочь расширение числа внутрисоюзных книжных ярмарок — республиканских и региональных. Почему бы не проводить одну из них вместе с Всесоюзным конкурсом искусства книги? Такое мероприятие подняло бы престиж отечественного книгоиздания, усилило бы дух соревновательности между издательствами.

Но не только эти размышления, эпизоды и примеры остались в памяти после ММКЯ-89. Она снова заставила критически взглянуть на любимое дело, попытаться искать непривычные пути к его улучшению.

Как это ни горько, но приходится признать, что книга пока не заняла подобающего ей места в нашем обществе. Мы вообще недостаточно обращаем внимания на культуру — взаимоотношений, труда, быта, творчества. И, думаю, потому, что не сориентированы на основную цель жизни — счастье каждого человека, его устроенность в мире. От этого многие беды — буквально катастрофы в экологии, расточительное использование природных ресурсов, неудачи в экономике.

Готовясь к выступлению на сессии Верховного Совета республики, я пересмотрел немало материалов, в частности перспективный план развития мировой культуры, разработанный ЮНЕСКО. В нем сказано, что любая попытка добиться экономической независимости без учета национальной культуры неизбежно ведет к серьезному нарушению хозяйственной структуры и культурной целостности страны, к резкому ослаблению всего творческого потенциала государства. Думаю, что полезно постоянно иметь эти слова перед глазами.

Уровень культуры — первейший показатель духовности общества. И в этой связи меня постоянно волнует мысль — почему же мы так бедны в книгоиздании, почему экономика отрасли находится чуть ли не на обочине? Нас настойчиво призывают: давайте больше рентабельности, надо зарабатывать, гнать рубли. Под шум этих призывов как-то становится менее слышным разговор о повышении духовности книги, культуры издания. И хотя процент рентабельности отрасли ныне довольно высок, не упускаем ли другое, более важное...

У литовских издателей давнишний спор с вышестоящими инстанциями в одном принципиальном вопросе. Нам твердят: меньше названий. Мы возражаем: их и так мало. В ответ слышим: нет, давайте поменьше названий, но большими тиражами — удовлетворите читательский спрос. Но мы задыхаемся под гнетом таких рекомендаций. Республика издает в год около 1100 названий. Нормальная цифра? Нет. Она показатель такой бедности, что с ней стыдно показаться в мире. Эта мизерность числа названий — тормоз для развития культуры, науки, литературы, экономики, по существу ограничение творческой мысли, снижение духовного потенциала народа.

По нашим подсчетам, в Литве следует издавать книг в 2—2,5 раза больше, чем сейчас. Когда это произойдет, тогда и можно будет сказать, что тематика выходящей у нас литературы соответствует интеллектуальным возможностям республики. Мне, например, было стыдно, что существующий 410 лет Вильнюсский университет, старейший в стране, до недавнего времени не был наделен издательскими правами.

Другая причина нашей озабоченности — разумное соотношение выпуска книг на литовском и других языках. У нас имеются глобальные планы по развитию национального книгоиздания, но не все могут быть претворены в жизнь собственными силами. Показательно, что за последние шестнадцать лет нас ни разу не спросили на коллегии Госкомиздата СССР: почему вы печатаете мало литературы на литовском языке? Редко задается этот вопрос и книгоиздателям других республик. Между тем, проблема весьма щепетильная, мы видим, насколько тревожна обстановка в некоторых районах страны из-за обострения чувства национального самосознания.

И все же, когда в ряде республик создалась опасность приближения кризиса книгоиздания, возникли признаки книжного голода, мы сумели собственными силами обеспечить читателей Литвы необходимой литературой. Около 75 процентов книг, поступающих в магазины и библиотеки Вильнюса, Каунаса, других городов и сел, — продукция наших издательств. Около восьми процентов населения Литвы составляют поляки, и мы выпускаем для них книги на польском языке, в том числе все школьные учебники. Литература на русском языке составляет 10—15 процентов от общего тиража. Конечно, показатель этот не догма, он может меняться в одну или другую сторону, однако неизменен принцип — через книги на русском языке мы в основном стремимся пропагандировать литовскую литературу и культуру. Для этого, в частности, и созданы серии литовской прозы, поэзии и публицистики.

По какому же пути идти? Заняться составлением какой-то идеальной схемы развития, просчитав ее с помощью ЭВМ? Ведь недовольство читателей не утихает — не хватает то одних книг, то других. Можно ли эту бедность как-то сбалансировать, даже если все взвесить как в аптеке? Вряд ли. А может быть, отдать инициативу творческим союзам, вузам, другим организациям — пусть сами издают, что считают нужным. Но как бы мы ни ломали голову,

наиболее продуктивен один путь — самое энергичное использование собственных возможностей, проявление максимальной инициативы. Не надо стоять с протянутой рукой и клянчить: дайте бумагу, переплетные материалы, полиграфию. Как было заведено? Раз даем лимиты, издавайте, что скажем, что разрешим. Возникала инерция подчиненности...

Нет, необходим новый, совершенно другой подход — лишь свободная от диктата инициатива способна делать чуть ли не чудеса. Пример тому литовское издательство «Периодика». Еще недавно оно выпускало только газеты и журналы, а ныне имеет также книгоиздательские права — появилась здесь книжная редакция, хотя практически издательские права получили каждый журнал, каждая газета, которые могут теперь полнее реализовать свой творческий потенциал.

Существенная деталь — наделив «Периодику» издательскими правами, мы не выделили им ни дополнительной бумаги, ни полиграфических мощностей. Тем не менее книги пошли. Все же где отыскали бумагу? Пустили в ход сэкономленную газетную. Экономили ее и раньше, только нужна она была тогда больше для отчетов...

Другой пример. Мы разрешили республиканскому Фонду культуры выпустить сборник стихов знаменитого литовского поэта Бернардаса Бразджёниса, который живет на Западе. Недавно он гостил на родине, и тогда же читатели получили его книгу в 700 страниц, отпечатанную стотысячным тиражом. Фонд культуры нашел фабрику, которая по договорной цене продала ему бумагу, а типография изготовила сборник в ночное время, за что рабочие получили соответственную плату. Вся операция заняла сорок дней. Любовь к поэту, патриотизм, инициатива сделали то, чего никаким приказом не добьешься.

До недавнего времени всех нас преследовала аллергия приказа. Очевидно, это не только мое ощущение как руководителя — стоит тебе приказать, тем более в резкой, категорической форме, как реакция подчиненных на не терпящий возражения приказ чаще всего бывает отрицательной, что неминуемо сказывается на успехе дела. В нестабильной обстановке перестройки, когда все бурлит, меняется, когда ломаются старые организационные структуры и изживший себя стиль работы, приходится постоянно думать, как же теперь руководить издательским делом. И вот уже более года не принимаем приказов и постановлений по отраслевым проблемам. Успешно опробовали другой путь — на совещаниях руководителей издательств определяем перспективы дальнейшей работы, в открытой дискуссии находим решение и подписываем так называемый протокол намерений. Он выражает мнение большинства и в дальнейшем служит рекомендацией для каждого издательского коллектива. Интересное наблюдение — этот документ работает гораздо действеннее былых приказов.

Каковы же перспективы литовского книгоиздания? Несомненный приоритет за исторической литературой — надо до конца ликвидировать белые пятна прошлого. За ней идут издания, помогающие решать проблему утверждения как государственного и распространения литовского языка. Но должен сказать, что этот процесс видится нам шире — изучать населению республики надо и другие языки. Не секрет, что в этом мы повсеместно отстаем от многих, особенно западных стран. В некоторых из них даже существует правило — нельзя претендовать на руководящую должность без знания двух-трех языков. Скажем, в Югославии это английский, немецкий или русский. И, несомненно, нам придется наращивать выпуск самоучителей, словарей, методических пособий.

Третье направление — издание материалов о годах сталинизма в Литве, их роли в жизни нашего народа.

Ныне не требуется подчеркивать, что названные направления плод коллегиального, а не волевого решения. И мы совершенствуем такой механизм руководства, чтобы работала именно совместная мысль издателей, чтобы издательства действовали на принципах самоуправления. В этой связи приобретает чрезвычайное значение уровень эрудиции издательского дела, повышение которой мы во многом связываем с основанной в этом году ассоциацией литовских издателей. Разработан устав ассоциации, и она уже намечает, по каким направлениям пойдет дальнейшее развитие литовской книги. Но не только. Здесь рассматриваются социальные вопросы (к примеру, издательства планируют возвести жилой дом в Вильнюсе — сначала силами строителей «коробку», а затем своими силами оборудовать квартиры). И, конечно же, ассоциация обеспокоена дефицитом бумаги. Как установить надежные экономические связи с бумажными фабриками? Как отыскать другие ресурсы? И налицо первые успехи. Один из них связан с выпуском двухтомника Винцаса Кудирки издательством «Вага». Плановые ресурсы бумаги могли обеспечить лишь 50-тысячный тираж, а уверенность была, что разойдутся и 250 тысяч экземпляров. Издатели сумели заинтересовать снабженцев ожидаемой прибылью. Те, видя, что дело стоящее, подписали с «Вагой» договор и приобрели бумагу сверх плана по договорным ценам. Выиграли обе стороны. Так что не всегда продуктивно ссылаться на лимит...

А почему бы нам не обратить внимание на так называемую говорящую книгу? Она несомненно имеет еще как следует неосознанные перспективы. Литовское общество слепых каждый год записывает 50—60 таких «изданий» мизерным тиражом — 30—40 экземпляров. Думаем, что могли бы выпускать книги-кассеты для массового пользования. Сколько времени мы проводим, маясь от скуки, в машине, поезде, самолете! Полумрак, тряска, строчки расплываются. Но представьте — вы слушаете стихи Юстинаса Марцинкявичюса, прочитанные им самим, инсценировку одного из романов Юозаса Балтушиса. Или свои стихи для вас читает Андрей Вознесенский.

И все же это лишь первые ростки самостоятельности. Думаю, что года через два-три приведенные выше примеры, возможно, станут нормой, ведь, надо надеяться, издательское дело будет тогда тверже стоять на экономической основе. Конечно, еще какое-то время должен оставаться твердый госзаказ, без него, видимо, пока не обойтись. Но смею предположить его постепенное свертывание — все же должны работать экономические законы, а не разнарядки и приказы...

Закономерен вопрос: а чем же тогда занимается наш республиканский Госкомиздат? У него совсем небольшой аппарат (так, в издательском отделе всего три человека), и потому, в основном, его сфера деятельности — организационная работа, материально-техническое снабжение, нормативные акты.

Сейчас мы ломаем голову над улучшением материальной базы, возлагая надежды на прямые связи с бумажной промышленностью республики. И ее руководители все больше начинают осознавать, что чистая бумага — это лишь ресурсы, материал, еще не окончательный продукт, к тому же сравнительно дешевый. Время, когда Госкомиздат грозил бумажникам пальцем, думал, через какие еще инстанции на них поднажать, уходит в прошлое. Мы твердо убеждены, что в будущем вся издательская система должна войти в единый концерн с бумажной промышленностью, ибо ясно видна неразрывная цепь: бумага — издательства — типографии — книга, газета, журнал — магазин, библиотека — читатель.

Размышляем мы и над использованием макулатуры. В Литве создана достаточно густая сеть книжных магазинов, маленьких типографий, отработан рациональный завоз периодики. Но кто не знает — использованная, она почти не возвращается на переработку. А вот в ряде стран это вторсырье оборачивается до шести раз. Мы могли бы закольцевать в одну систему распространение периодики и возвращение ее в макулатуру, которую охотно покупали бы ряд стран, платя по 70 долларов за тонну. Мы прикинули, сколько сгорает бумаги в кострах, получается — на полтора-два миллиона долларов. А по стране? По существу горят костры из твердой валюты.

Или взять обеспечение типографскими красками и переплетными материалами. Но не при помощи лимитов, спущенных из Москвы, а через связи с близлежащими поставщиками. Есть надежда, что совместно с коллегами из Латвии, Эстонии, Белоруссии мы найдем выход. Скажем, в литовском городе Плунге расположен завод искусственной кожи. Если он немного прибавит в работе, сможет изготавливать переплетные материалы на мировом уровне.

Есть и более смелые планы — намереваемся создать в Литве банк печати. Кое-что уже обдумано, к нашей идее проявили интерес не только книгоиздатели, но и бумажники, республиканская «Союзпечать», типографии. Потому что отраслевой банк — это уже действительная экономическая самостоятельность, когда можно употребить имеющиеся деньги на масштабные дела — производство и приобретение бумаги, красок, переплетных материалов, на компьютеризацию.

Но есть акции, о которых можно говорить как о свершившемся факте. Я имею в виду нашу акционерную издательскую группу, куда входят бумажная фабрика, типография, четыре издательства, Стройбанк, Фонд культуры, Министерство связи. Сложили капиталы, получилось около миллиона рублей. Думаем объединиться с другим акционерным обществом издателей — выходцев из Литвы, проживающих в США, чтобы наладить связи с существующими в Америке шестью литовскими издательствами, двусторонний книгообмен.

Конечно, во всех этих организационных акциях множество сложностей и экономического, и юридического характера. Во многих практических ситуациях просто трудно ориентироваться, ясно определить, что ты можешь сделать, а что нет. Поэтому-то и назрела необходимость выработки республиканского закона об издательской деятельности — должны быть правила игры. Сейчас, когда в Литве возникают неформальные объединения, они стремятся иметь свои издания, но ведь бумагу из государственных ресурсов им не дают. Где же они ее достают? Мы все подсчитываем, сколько бумаги уходит на бюрократическую переписку, а оказалось, что ее значительная часть, выделяемая ведомствам, попадает к неформалам. Никакой контроль не смог их ущемить. Следовательно, надо искать решения, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон...

Конечно, как я уже говорил, Госкомпечать в нашем понимании должен в первую очередь поддерживать и развивать материально-техническую базу книгоиздания, его экономику. Однако наш долг видеть перспективу в развитии творческих сил своей республики, потому что именно они определяют завтрашний уровень книги. Могу констатировать (и в этом не одинок) постепенный упадок ее искусства. Мы бедны добротными, красивыми материалами, чтобы производить добротные, радующие глаз издания. Низкосортная бумага не позволяет точно передать при печати всю цветовую гамму оригинала. Добавляет отрицательных моментов и вечная спешка, хотя известно, что художнику для создания классных иллюстраций требуется значительное время. И все же мы считаем престижным для литовского книгоиздания ежегодно готовить несколько особо красивых книг. Оценкой этих условий является то, что последние четыре года мы, как правило, завоевываем до 13—14 дипломов на Всесоюзном конкурсе искусства книги.

Нам удается не изменять этому принципу благодаря долгосрочной программе подготовки маленьких шедевров художественного мастерства и полиграфии. Главное здесь — триенале книжной графики, которые мы проводим каждые три года вместе с республиканским Союзом художников. Я не смею утверждать, что эта выставка дает мгновенный эффект, все ее экспонаты быстро и непременно переходят на страницы книг. Но она привлекает внимание художников и издателей, широкой общественности, помогает поддерживать у тех, кто связан с созданием и производством книжной продукции, высокий творческий, эстетический тонус, провоцирует дух соревновательности, создается благодатная почва для стимулирования порой даже неожиданных по творческой манере работ.

Требует внимания и постоянная работа с переводчиками. В Союзе писателей Литвы пишущих — 220 членов, а переводчиков более 250. Мы на них смотрим как на пионеров, которые ищут в мировой литературе самые лучшие произведения, хорошо понимая, что надо воспитывать интернационализм не лозунгами, а прежде всего духовно обогащать свой народ.

И, наконец, нас беспокоит, как живет изданная нами книга. Последние десять лет лучшее произведение выбирают сами читатели (в ходе их опроса мы получаем несколько тысяч писем). Для награждения победителей нами установлено шесть премий: автору — за лучшее произведение; издателю — за помощь в выходе примечательной книги; художнику...

Мы обязаны постоянно расширять и улучшать культурную среду для рождения и жизни книги среди людей. Это живой, естественный процесс. Госкомпечать должен до конца преодолеть свое бюрократическое реноме, искать в читателе полноправного партнера, а не видеть в нем лишь капризного «потребителя книжной продукции на душу населения». Мы должны ясно представлять и бережно собирать весь фонд духовной культуры литовского народа. В противном случае так и останемся чиновниками, функционирующими в замкнутой системе сообщающихся сосудов.

Какой бы гигантской махиной издательская система ни была, она все равно не решит всех проблем — вольно или невольно заглушая инициативу небольших издательств, не в силах отказаться от привычки думать и решать за всех и от имени всех. Каждая республика должна сама переживать свои неудачи и сама их выправлять. Мы сами определим, какой литературы надо выпускать больше — общественно-политической, художественной или детской, потому что хорошо знаем запросы своего читателя и настроения писательского цеха.

Взять современную литовскую поэзию. Она как-то притихла, потому что слишком много разыгралось политических и экономических эмоций (а литовская поэзия традиционно интимна, камерна). Сегодня открываются такие жуткие пласты прошлого, что некоторые мои коллеги даже опасаются скоропалительно хвататься за перо — все, о чем мы спорим, о чем узнали, должно сконцентрироваться и вызреть.

Нас всех очень волнует, что промышленный экстремизм все энергичнее отодвигает человека и культуру на задний план жизни. Но давайте с новым чувством ответственности отнесемся к своей миссии творцов книги — мы в силах с успехом участвовать в перераспределении этих ролей. Недавно я присутствовал на конкурсе пахарей, где познакомился с победителем. Оказалось — он интеллигентный человек, хорошо знает художественную литературу, любит гравюры Стасиса Красаускаса. И я подумал: если человек ценит тонкую линию знаменитого графика, значит, не сможет плохо работать, пахать вкривь и вкось. У него борозда будет выверена, как штрих мастера на рисунке...

Нам, издателям, тоже следует «держать борозду», не плестись на обочине, а деятельно участвовать в развитии мирового книгопроизводства. Надо, повторяю, активнее выходить на прямые связи с коллегами за рубежом, самостоятельно решать вопросы выбора партнеров, разнообразить формы международного сотрудничества. И тогда к следующей ММКЯ, которая состоится в 1991 году, мы придем обновленными, каждая республика, каждое издательство смогут показать свой новый облик, что, к сожалению, пока не удалось в желаемой мере продемонстрировать на прошедшей Московской книжной ярмарке-89.



КТО ПОМОЖЕТ КРЕСТЬЯНИНУ

письмо в номер

Вряд ли нужно доказывать, что книга не только «источник знаний», но и источник культуры, духовности человека. Особенно эта ее роль возрастает в период перестройки.

Высокое предназначение книги отметил в своем послании участникам и гостям Московской международной книжной ярмарки, проходившей в середине сентября, М. С. Горбачев: «Во все времена книга была надежным средством общения между народами. Она учила лучше понимать друг друга, верно оценивать происходящие в мире процессы, делать нравственный выбор в борьбе добра со злом, правды с ложью, разума с безумием».

Но чтобы все эти высокие цели книга выполнила, нужно ее донести до читателя. Как же органы Госкомпечати СССР и Центросоюза организуют торговлю книжной продукцией, выпуск которой год от года в нашей стране возрастает? Именно этот вопрос является темой данного письма. В книжной торговле, как известно, еще немало недостатков.

Прежде всего это относится к практике Госкомпечати СССР по снабжению литературой различных регионов и групп населения, особенно сельского. Потребсоюзам, обслуживающим село, направляется менее 17 процентов выпускаемой литературы, хотя здесь проживает треть населения страны. В среднем на сельского жителя продается в год книжной продукции на 4 рубля, что в 2,4 раза меньше, чем в городе. Особенно неблагополучна обстановка в Таджикской ССР, где на селе реализуется литературы одному человеку на 1,4 рубля.

Всесоюзное государственное объединение «Союзкнига», республиканские книготорги при поставках литературы отдают предпочтение своим организациям. В результате разрыв в снабжении сельского и городского населения книгой весьма значителен. В 1988 году Объединение выполнило план поставки республиканским книготоргам и направило сюда литературы дополнительно на 97,6 млн. рублей. В то же время Украинский, Казахский, Азербайджанский и Киргизский потребсоюзы недополучили литературы более чем на три миллиона рублей. Несколько лучше положение дел в первом полугодии 1989 г., когда план поставки был выполнен и книготоргам, и потребсоюзам, но если первые получили продукции дополнительно на 80 млн. рублей, то вторые — только на 11 миллионов.

В свою очередь Центросоюз, органы потребсоюза на местах мало уделяют внимания организации торговли литературой. Имея в стране более 300 тыс. магазинов, потребкооперация производит продажу книг лишь в 15 тыс. торговых точек. Значительная масса литературы реализуется в районных центрах, из-за чего книги вообще не доходят до многих сел и деревень. В РСФСР нет стационарного обслуживания в каждом втором сельском населенном пункте с числом жителей более 2 тыс. человек. Почти три четверти центральных усадеб колхозов и совхозов Алма-Атинской, Кустанайской и Семипалатинской областей Казахской ССР также не имеют постоянной книжной торговли. В Кировском и Людиновском районах Калужской области она вообще не ведется. В Киргизской ССР в райцентре Сокулук в прошлом году на одного жителя продано книг на 15,6 рубля, а на остальной территории района — на 1,3 рубля. В Винницкой области менее 10 процентов покупателей книжных магазинов районных центров являются жителями близлежащих сел и деревень.

Не принимаются меры к улучшению снабжения сельского населения книгой с помощью внемагазинных форм торговли. Из 15,7 тыс. автолавок лишь немногим более одной тысячи специализированно реализуют литературу. Не компенсирует эти недостатки система «Книга — почтой». В Молдавской ССР, Псковской, Калининской и многих других областях объем ее услуг не превышает двух процентов товарооборота книжной продукции. А практики удовлетворения заявок сельских жителей районными книжными магазинами просто не существует.

Но даже тогда, когда книга доходит до сельского жителя, он нередко ее не приобретает, так как «кусается» ее стоимость, а крестьянин знает цену заработанному рублю. Судите сами. В течение двух последних лет выполнялся план книжного товарооборота. Продажа этой продукции населению возросла с 1969,7 до 2246,4 млн. рублей. Однако такое увеличение товарооборота в значительной степени достигнуто за счет роста цен на книги. В результате реализация печатной продукции в прошлом году возросла на 11,7 процента, хотя ее выпуск в натуральных показателях увеличился лишь на 3,3 процента. Более того, издательствами Грузинской ССР, рядом центральных издательств прирост реализации достигнут при снижении объемов выпуска продукции. Та же тенденция сохранилась и в первом полугодии 1989 года.

В основном повышение стоимости литературы произошло за счет так называемых договорных цен, широкое использование которых началось с прошлого года. В их применении выявлены серьезные изъяны. Госкомпечать СССР практически не установил для таких цен ограничений. Поэтому повышенные цены устанавливаются издательствами и книготорговыми организациями волюнтаристски и нередко превышают прейскурантные в 2—4 и более раз. Издательство «Прогресс» подняло стоимость книги «Новая жизнь после шестидесяти» с 45 коп. до 2 руб., издательство «Книга» на сборник стихов А. Ахматовой «Вечер» — с 50 коп. до 2,5 руб., а на «Сочинения» А. Белого — с 5,6 руб. до 15,5 руб. Вследствие бесконтрольности одни и те же книги выпускаются по разным ценам. Например, повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» имеет номиналы в издательствах: «Современник» — 1,7 руб., «Книга» — 3 руб., хотя исполнена хуже. Сборник В. Высоцкого «Нерв» продавался раньше по 1,4 руб., а в этом году — уже по 5 руб. Произвольное повышение цен допускают ведомства и общественные организации: издательство «Прометей» Московского городского педагогического института завысило номинал на роман «Тайный советник вождя» в 3 раза, Профиздат на «Американскую фантастику» — в 4 раза.

Аналогичные процессы происходят и в союзных республиках. В прошлом году в Молдавской ССР всего за 7 книг по повышенным ценам покупатели дополнительно заплатили 800 тыс. рублей. 22 подобные книги, отпечатанные в Киргизской ССР, принесли дополнительно 1 млн. рублей. Именно эта сумма обеспечила выполнение плана поставки печатной продукции республиканскими издательствами.

Казалось бы, повышенная стоимость книг должна повлечь за собой их улучшенное оформление и долговечность. Однако этого не произошло. Зачастую бо́льшая цена книги не влияет на ее качество. Немало таких изданий отпечатано на низкосортной бумаге, без иллюстраций, в непрочных мягких обложках, они рассыпаются после кратковременного употребления, что вызывает многочисленные нарекания покупателей. И если потребитель практически ничего не получил из-за повышения цен на книги, то производитель печатной продукции выиграл немало. Только девять центральных издательств за 1988 год и первую половину 1989 года получили дополнительный доход в сумме 33 млн. рублей, направив в фонды оплаты труда более 9 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата при этом достигла в издательствах: «Книга» — 400 рублей, «Радуга» — 375 руб., «Мысль» — 366 рублей. В целом по издательствам Госкомпечати СССР заработная плата за полтора года возросла на 38 процентов.

Организации Госкомпечати СССР фактически попустительствуют деятельности кооперативов в запрещенной для них издательской сфере, чем способствуют утечке бумаги, необходимой для удовлетворения заказов книготорговых организаций. Издательство «Мир» прикрыло незаконные действия кооператива «Золотое кольцо», который выпустил массовым тиражом пособие по лекарственным травам — «Травник», не имеющее рекомендаций органов здравоохранения. Московская типография № 2 предоставила свои мощности молодежному центру «Система» и кооперативу «Контур» при Мосгорглавснабе для выпуска книги З. Фрейда «Основы психологии сексуальности». Ряд московских типографий отпечатал по заказу кооператоров 15 календарей на 1989 год, на которые ушло около 170 тонн дефицитной бумаги.

На эту продукцию кооперативы устанавливают вслед за издательствами цены, значительно превышающие прейскурантные. Полученные таким образом средства позволяют производить сомнительные выплаты. Составителю «Травника», например, заплачено 30 тыс. рублей, или в 100 раз больше действующих расценок авторского гонорара за эту работу. Даже за оригинальное произведение оплата бывает во много крат меньше.

Страдает книжная торговля от неудовлетворительной организации выявления и обобщения спроса на конкретные, предлагаемые к изданию книги. Заявки на них формируются без учета запросов на литературу широкого круга покупателей, из-за этого основу заказов составляют художественные издания. Крайне незначительны заявки на специальную, особенно сельскохозяйственную литературу. Поэтому для выполнения планов товарооборота немало приходит незаказанных изданий. В прошлом году в Псковский облпотребсоюз поступило без заказа 26 тыс. экз. «Советского военного рассказа», Калининский книготорг получил сверх затребованных 1300 экземпляров учебника «Основы цифровой техники». И уж совсем непонятно, почему в магазине села Тюп Иссык-Кульской области Киргизской ССР лежат на полках свыше 700 экз. изданного в 1987 году «Закона СССР о статусе народных депутатов».

Все это приводит к накоплению значительных запасов литературы в торговле. В целом на конец прошлого года в государственной сети их было на 682,1 млн. рублей, по системе Центросоюза — на 216,7 млн. рублей, что составило соответственно одну треть и половину годового товарооборота. В ряде союзных республик — Узбекской, Азербайджанской, Таджикской запасы равны или превосходят годовую продажу литературы.

Немало книжной продукции списывается, особенно в потребкооперации. Несмотря на то, что в 1986 году на «расчистку» завалов целевым назначением здесь было израсходовано 26 млн. рублей, многие республиканские и областные потребсоюзы вынуждены помимо спецфонда, образуемого в размере одного процента товарооборота, изыскивать другие источники. К примеру, в Одесской области при величине фонда в 37 тыс. рублей в прошлом году было израсходовано 200 тысяч, или почти в 3 раза больше норматива, в Винницкой — 638 тыс. рублей, что превысило норматив в 15 раз. В Казахском республиканском потребсоюзе потерявшей актуальность и товарный вид литературы скопилось на 4 млн. рублей при величине спецфонда в 300 тыс. рублей.

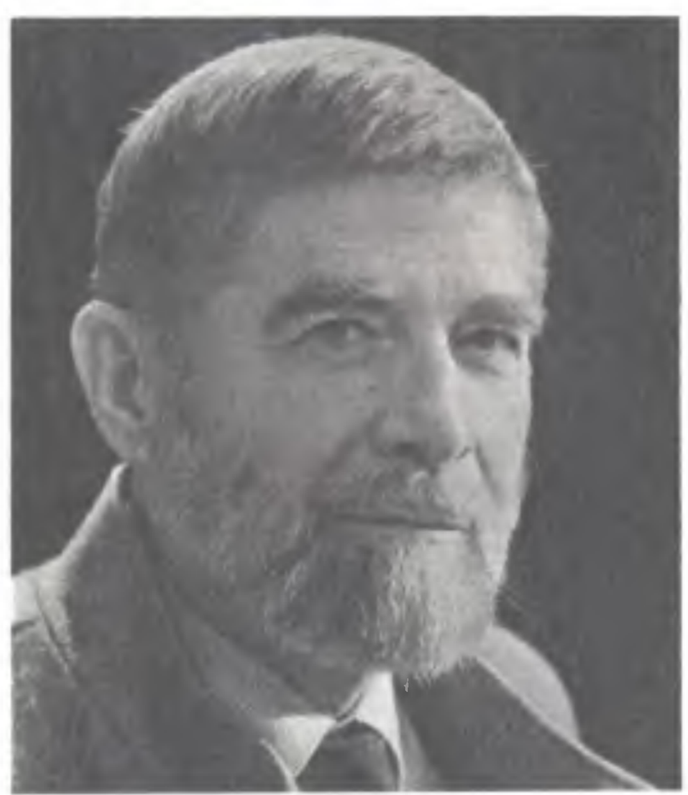
Ответственность за такое положение несут также организации Госкомпечати СССР. Потребности сельского читателя здесь глубоко не изучаются и не учитываются при составлении издательских планов. Специальных программ выпуска и поставки литературы для сельских читателей не существует, хотя несколько лет назад издавалась для них недорогая серия «Родные просторы».

Сейчас, когда возрастает самостоятельность союзных и автономных республик, приобретает особое значение выпуск литературы на национальных языках. Госкомпечать СССР, ряд республиканских комитетов не уделяют должного внимания обеспечению населения такой литературой. В Украинской ССР на каждого жителя коренной национальности ее приходится всего на 2,2 рубля, а в Киргизской, Таджикской и Узбекской союзных республиках — на 1—1,5 рубля.

Еще хуже положение национальных групп, проживающих за пределами «своих» республик. На одного узбека, живущего в Таджикской или Киргизской ССР, поступает литературы на родном языке соответственно на 61 и 50 коп. Еще менее обеспечены родной литературой казахи, проживающие в Киргизской ССР, и туркмены — в Таджикской ССР. Для 600-тысячного украинского населения Молдавской ССР поступает книг на родном языке всего на 0,3 коп. на человека. Практически лишены возможности читать книги на своем языке национальности, не имеющие территориальных образований. В Киргизской ССР уйгуры могут купить такой литературы на 0,5 коп., в Молдавии гагаузы и болгары — соответственно на 0,6 и 0,3 коп.

Все это говорит о том, что на вопрос: «Дойдет ли книга до села?» утвердительно ответить пока трудно. Представляется, что, если между двумя крупнейшими книготорговыми системами страны будет налажено необходимое взаимодействие, обеспечен учет потребностей сельских жителей, расширено предложение им печатной продукции во всех формах, тогда можно надеяться на то, что труженики деревни получат книгу, способствующую их духовному обновлению, повышению культуры села, а значит и делу перестройки.

Ю. ПОПОВ,
заведующий сектором культуры
Комитета народного контроля СССР



КУЗНЕЦОВ Александр Александрович родился в Москве в 1926 году и прожил, можно сказать, не одну, а несколько жизней.
Когда-то, еще в юности, имея за плечами несколько ролей в кино (в фильмах «Сибиряки», «В дальнем плавании», «Зоя» и других), закончил театральную школу-студию Ю. А. Завадского, работал актером в театре имени Моссовета.
«Заболев» альпинизмом, А. Кузнецов закончил школу инструкторов, а затем руководил альпинистскими лагерями на Кавказе, Алтае, Тянь-Шане, Памире, Камчатке, совершил около двухсот восхождений на горные вершины в СССР и за рубежом. Он — чемпион СССР и мастер спорта по альпинизму, автор нескольких книг об этом виде спорта.
Работая в горах, А. Кузнецов увлекся орнитологией и, окончив географический (а заодно и физкультурный) факультет МГПИ имени Ленина, защитил без прохождения аспирантуры кандидатскую диссертацию по биологии, написал ряд книг по орнитологии, которые изданы у нас в стране и за рубежом. В издательстве «Молодая гвардия» готовится к выходу еще одна книга на эту тему — «Красные птицы на красном снегу».
Коллекционирование — еще одна его страсть, являющаяся лишь частью огромного интереса и любви к традициям и национальным обычаям, к истории и культуре нашего Отечества. Много лет собирает А. Кузнецов предметы древнерусского искусства, оружие, старые медали и ордена. Он автор книги «Ордена и медали России» (изд-во МГУ, 1985), ставшей библиографической редкостью, а также многих книг, написанных в жанре «путевых очерков».
А. Кузнецов — член Союза писателей СССР. В скором времени в издательстве «Советский писатель» выходит сборник его повестей и рассказов «Два пера горной индейки».
А. Кузнецов — председатель комиссии по охране природы и природоведческой литературы Московской писательской организации.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

В ЗЕРКАЛЕ БАЙКАЛА

Загрязнение планеты привело уже к тому, что глобальная экология и охрана природы стали называться в мире «проблемой № 1». Мы видим, как расширение круга проблем экологической науки, науки о взаимодействии человека с окружающей средой, практические задачи, возникшие с необходимостью охраны природы и нашего выживания, привели к совершенно новым направлениям в науке, к таким, скажем, как социальная экология. Охрана природы стала учебной дисциплиной в университетах и других учебных заведениях. Экологические представления и термины начали использоваться уже за пределами биологии, они появились в социально-экономических областях, технических, географических, дипломатических, перекочевали со страниц научных журналов в газеты. Для нас стали привычными термины «окружающая среда», «биоценоз», «экологическая система», «экологическое равновесие», «экологическая катастрофа». Правда, довольно часто стали теперь встречаться и термины, лишенные смысла, скажем, такие, как «экология истории» или «экология любви».

Это может говорить только о том, что мы еще не очень хорошо понимаем, что такое экология. Как ни странно, люди уяснили свое потребительское отношение к природе совсем недавно, каких-нибудь двадцать — двадцать пять лет тому назад. А у нас в стране и того меньше. Поэтому люди старшего поколения часто говорят об экологии «понаслышке». В мире сейчас издается около сорока специальных экологических журналов. А в СССР таких журналов нет, разве что журнал «Природа и человек» в последнее время принял на себя этот важнейший труд. Что же касается книг, посвященных вопросам экологии, то их у нас очень мало. Фатей Яковлевич Шипунов выпустил в издательстве «Современник» свою книгу «Оглянись на свой дом» в 1988 году, а списка литературы по экологии не привел, нечего особенно и перечислять. Книга раскуплена моментально. Ходит уже в ксероксе. Нам очень нужны сейчас книги по экологии и охране природы для читателей всех уровней, самой различной подготовки. Нужны школьные учебники, студенческие; книги для широкого круга читателей и книги по экологии для специалистов самых различных профессий. Ибо нам недостает ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — важнейшей части культуры общечеловеческой. И от того, как скоро она станет достоянием всеобщим, будет понята и принята всеми людьми, будет зависеть судьба наших детей. Я верю в то, что у нас еще есть время для того, чтобы сохранить этот чудесный божий дар. Но надо спешить...

Хотя и нет у нас в достатке экологических книг, само слово «экология» нынче у всех на устах. Экология, экология... В газетах, на радио, на телевидении. Загрязнение планеты происходит столь стремительно, что опасность гибели от него человечества затмевает даже опасность ядерной войны. Примеров не счесть. Парниковый эффект привел уже к такой засухе в США, что сгорела половина урожаев и обмелела Миссисипи. Да и у нас на дворе зимой что-то не очень холодно. Каждый процент уменьшения озонового слоя увеличивает заболевания раком кожи на 5—7 процентов... Ежедневно в мире навсегда исчезает один вид животного и каждую секунду вырубается лес площадью в спортивный стадион.

Если же взяться перечислять наши, отечественные, катастрофы в природе, то и места в журнале не хватит. Конец света видится людям не только в глобальном масштабе, конец света для многих наступает на его собственной земле. Сейчас у нас в стране действуют 16 АЭС с 45 реакторами. В прошлом году они выработали более 215 миллиардов киловатт-часов, то есть 12,7 процента всей электроэнергии. Часть АЭС мы прекратили проектировать и строить — в Азербайджане, в Грузии, в Краснодарском крае, в Крыму, второй очереди в Армении, а также атомные теплоэлектроцентрали в Минске и Одессе. Но 15 атомных энергоблоков мы продолжаем сооружать. Кроме этого, как мы теперь знаем, на нашей территории происходит захоронение атомных топливных отходов, что скрывалось от народа.

Пожалуй, один из самых «чистых» источников получения энергии — ГЭС вызывают у нас меньше опасений, чем АЭС. Но с ГЭС нас ждет другая беда. Если посчитать убытки, стоимость сельскохозяйственной продукции с затопляемых земель речных долин на многие годы вперед, потери в рыбном хозяйстве, на речном транспорте и в социально-экологической сфере, то выгоды от гигантских затоплений будут не так уж и велики.

Наша земля отравлена ядохимикатами и химическими удобрениями. Мы знаем, что происходит не только в Узбекистане, но и в Молдавии, на Украине... да всюду! В Молдавии, кажется, у одного председателя колхоза спросили: зачем он так много сваливает в землю удобрений? И он ответил. «Земля наша теперь наркоманка, она без этого не может». Но ведь наркоманка долго не проживет. А мы все гоним и гоним производство удобрений.

Все мы знаем, что происходит с нашим лесом. Он уменьшается, как шагреневая кожа. И причины нам всем ясны.

Можно перечислить еще десятки кровоточащих ран, нанесенных нашей природе, но они вам всем хорошо известны. Ленинградская дамба, Астраханский газовый комплекс, Ямал, Байкал... и, конечно, целый ряд смертельных ранений, нанесенных земле Минводхозом. Кара-Богаз и Арал, Азовское море и Прикаспий...

В прошлом году мне было предложено принять участие в социально-экологической экспертизе ситуации, сложившейся в районе Байкала. В рамках экспертизы предполагалась организационно-деятельностная игра по анализу перспектив хозяйственной деятельности и разработке подходов к изменению экологической ситуации Байкальского региона.

Игра состояла из двух фаз: на первой надлежало проанализировать ситуацию на Байкале, на второй — разработать подходы к изменению этой ситуации. Программа игры предусматривала работу разнообразных групп по интересам, формировавшихся из 300 специалистов. На добровольных началах создавались группы партийных и советских органов, региональные и проектные, общественных организации и организаций неформальных, ведомственные и научно-аналитические (географы, экономисты, экологи, историки, градостроители и т. д., и т. п.). Группы возникали, делились, аннулировались и создавались вновь. Страсти кипели с утра и до поздней ночи. По ночам же у организаторов игры, экспертов и игротехников, происходили так называемые «рефлексии» — разбор событий прошедшего дня. У всех были синяки под глазами, их качало от недосыпания и усталости.

Группы докладывали о результатах анализа ситуации, и каждый такой доклад критиковался самым что ни на есть жестоким способом. Не все приехавшие на игру смогли принять такой темп и жесточайшую дисциплину. Многие бежали в первые дни, других просто выгоняли. С самого начала руководитель игры Сергей Валентинович Попов призвал нас забыть о всех званиях, заслугах, должностях и местах работы присутствующих. Опровергать авторитеты и разрушать сложившиеся стереотипы мышления. Не бояться конфликтов, а идти на них. Ломать существующие структуры и сразу ориентироваться в своих построениях на новые. В каждой из предлагаемых концепций должна была присутствовать идея саморазвития.

— В 30-е годы, — говорил он, — произошла узурпация мышления, мы перестали думать. Нас интересовала только своя работа и ничего больше, ничего выше ее.

Как орнитолог в прошлом, я мог бы примкнуть к группам по биологии или экологии, но, поразмыслив, вошел в группу «духовенство». Мне хотелось проанализировать ситуацию на Байкале с нравственных позиций. Кроме меня, в этой группе были архимандрит Вадим и лама Иволгинского дацана (буддийского монастыря) Баир.

Не стану подробно описывать байкальскую трагедию, она хорошо известна. Борьба за чистоту озера, за его спасение ведется уже тридцать лет. И все эти годы борцы за сохранение этого уникального явления природы получали язвы желудка и инфаркты, а загрязнители — ордена и продвижение по службе. Уже в пятидесятых годах такие ученые, как О. К. Гусев, Г. И. Галазий, А. А. Трофимук, А. Л. Яншин и писатели О. В. Волков, В. А. Чивилихин, Ф. Н. Таурин и многие другие, ринулись в бой за «Славное море». Байкал сделался символом отечественной природы, нравственной чистоты людей и мерилом их гражданственности. Но...

Побывав на озере Байкал в октябре 1988 года, могу свидетельствовать: никаких изменений к улучшению экологической обстановки там не произошло. Байкал гибнет. Именно это и вызвало необходимость в проведении организационно-деятельностной игры. Она была призвана дать толчок делу, сдвинуть его с места.

...Подплываешь к городу Байкальску, подходишь к его БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) — дышать нечем. Спрашивал у всех, с кем приехал, чем пахнет? С чем можно сравнить этот запах? Никто из моих попутчиков не нашел сравнения. Скорее всего, он напоминает в несколько раз усиленный запах стиральной машины в работе.

Смотрели очистные сооружения. И что бы там ни говорили, ясно одно: система очистки ухудшается. Она устаревает, новой не готовится. В Байкал комбинат ежедневно сбрасывает десятки тысяч кубометров воды с 250—300 килограммами грязи, содержащей, помимо всего, особо экологически опасные хлорорганические вещества. Ежедневно. В воде вредные вещества трансформируются, аккумулируются, накапливаясь навсегда. Именно в этом заключается основная порочность устанавливаемых «ПДК» — предельно допустимых концентраций загрязнений.

Это только вода. А воздух?! Необратимые процессы гибели природы происходят и на земле. Вокруг Байкала повреждено 40 тысяч гектаров леса. Горы лысеют, а за этим стоят паводки, мели, размывы... Известно, что в воздух комбинат выбрасывает в 80 раз больше грязи, чем подобные производства за рубежом. БЦБК считается одним из самых «чистых» производств этого профиля у нас в стране. Но вот изучением его воздушного сброса никто толком не занимался.

Интересные цифры привел в своем выступлении директор Лимнологического музея на Байкале Г. И. Галазий. Подсчитано, что ущерб, наносимый БЦБК, исчисляется в 250 млн. рублей в год, годовая же стоимость его продукции составляет 112 млн. рублей. И таких абсурдов здесь сколько угодно. Скажем, с Дальнего Востока везут на Байкал рыбу (своей-то уже нет) и делают на его берегах рыбные консервы. Потом их везут на запад, а отходы попадают в воду. Глядишь, и завелись уже на Байкале паразиты тихоокеанских рыб.

Это еще что... Из Аргентины и из Австралии везут на Байкал шерсть, моют ее в чистой байкальской воде и отправляют затем в Ленинград на ткацко-прядильные фабрики.

Гибнет пастбищный зоопланктон, нарушен нерест из-за поднятия воды в озере на 83 сантиметра. Знаменитый байкальский омуль сделался в два раза меньше. Погибло около 10 тысяч нерп (всего их насчитывается около 80 тысяч). Горько. Большие и порою невозвратимые потери. Их у нас принято считать в рублях. А чем мы измерим потери в здоровье детей Байкальска? По данным Г. И. Галазия, 48,8 процента детей имеют здесь нарушения в здоровье уже при рождении.

О загрязнении Байкала можно говорить без конца, за примерами ходить недолго. Но это, к сожалению, не единственная проблема Прибайкалья (пусть этот термин и неправилен географически, но очень уж надоело произносить слово «регион»). Сложнейшая ситуация образовалась вокруг Байкала также в социальной и хозяйственной жизни. Прежде здесь занимались, в основном, скотоводством (в частности, коневодством) и рыболовством. Пастбища распахали. Сеют 2,6 центнера на гектар, собирают 6 центнеров с гектара. Да еще сколько теряют при уборке, транспортировке, хранении... Напичкали землю химией, а перспектив не видно. Жизнь же подсказывает другое. На остров Ольхон сбежали из развалившегося колхоза лошади. И одичали. Образовался большой табун полудиких лошадей, прекрасно переносящий зимы и не страдающий от бескормицы. Занятия населения определяли в последние десятилетия не сами люди — жители байкальских берегов, а высокое начальство. Народ же безмолвствовал.

— Что происходит с экономикой и природой, может рассказать каждый, — обрывал нас Попов, когда люди начинали рассказывать об этих и других, не менее горьких и абсурдных явлениях хозяйствования и экологии на озере. — А вот что происходит с нами, мы не знаем и не хотим понять. Дело не в природе, а в людях. Объясните причины, найдите корни...

Как и большинство присутствующих, я впервые встретился здесь с методологией, с применением ее на практике. Попов знал ее, а мы — нет. И, естественно, нам хотелось быть не хуже других и, во всяком случае, разобраться в происходящем, чтобы не выглядеть совершенными болванами. И люди тянулись. За Поповым и его правой рукой Петром Щедровицким, таким же тридцатилетним и дюже умудренным в методологии, ощущалась какая-то таинственная и притягательная сила, поглощающая и подчиняющая окружающих. И хотя порою они говорили на каком-то непонятном для большинства тарабарском языке, многие, особенно женщины, целиком попадали под их влияние, впадали в транс, становились этакими «зомби». Бедные американцы не понимали ни слова из того, что говорили Попов и Щедровицкий, ибо ничего не мог понять переводчик. И без того-то Дейвиду Броверу, экологу, всемирно известному ученому, основателю национальных парков США, понять нас было непросто. Например, ему говорят, что стройка затруднена отсутствием лимитов. Деньги есть, а лимитов нет.

— Но это же прекрасно! — разводит руками убеленный сединами ученый. — Есть деньги и никто вас не лимитирует. Лимитов нет. Что же еще нужно?!

Были люди, не поддающиеся гипнозу игры и игротехников, однако принимающие фанатизм методологов как явление яркое, новое и чрезвычайно полезное для самосознания каждого из нас. Игра словно брала за шиворот, встряхивала, заставляла действовать и смотреть вокруг по-новому. Мне показалось, что игра несла в себе начало так желаемой, но мало знакомой нам демократии, была ее моделью. Встречались и сталкивались верхи и низы, бюрократы и неформалы, старики со сложившимися стереотипами мышления и молодежь, ломающая все стереотипы. Говорилось все открыто, в лицо и без стеснения. Не беря пока во внимание конечные результаты байкальской игры, можно смело сказать, что было немало и побочных. Хотя бы осознание того, что ты свободный человек, обретение нравственных позиций, пробуждение гражданственности.

Конфликты между игротехниками и местными властями, экспертами и официальной наукой возникли в первые же дни. Мы, мол, тут живем и жизни свои кладем на благополучие Байкала и всего региона, а вы впервые приехали сюда и учите нас. Какое отношение вы имеете к Байкалу?!

Так вели себя случайные, механически собранные люди, как правило, самых высоких должностных рангов и высоких научных званий. Они тут же и уехали. Но не все. Другие из них пытались захватить ведущую позицию, но правда-матка и железная логика молодых методологов быстро укладывали их на лопатки.

Официальным лицам, представителям власти и начальникам при науке противостояло «Байкальское движение» — неформальная организация Иркутска, состоящая, в основном, из работников тех же ведомств, но борющаяся против них в деле защиты природы Прибайкалья. Это они проводят общественные экспертизы загрязнения Байкала, отвергая ложные показатели ведомств; это они собрали около 100 тысяч подписей против проекта пресловутой «трубы» для отвода отходов БЦБК в Иркут; это они сняли несколько фильмов о катастрофическом положении озера и проводили митинги и демонстрации в Иркутске; и это они, наконец, способствовали снятию с работы секретаря обкома.

Директор Лимнологического института Сибирского отделения АН СССР член-корреспондент М. А. Грачев выступил с научной концепцией плана социального, экономического и экологического развития региона. Этот основательный план признан на игре одним из лучших, но, как и все иные, раскритикован и разбит в пух и прах. Однако это не помешало М. А. Грачеву, основному противоборцу С. В. Попова в начале игры, в третьей, заключительной фазе ее, проводившейся в форме суда присяжных над ее руководителем, выступить в качестве защитника Попова.

После первой недели анализа участники экспертизы стали понимать, что изменить ситуацию на Байкале при существующей структуре управления невозможно. Жизнь на озере и вокруг него антиэкологична. Производства имеют свои интересы и свои критерии. Они не совпадают с оценками и критериями других ведомств, скажем, с научными, природоохранными, сельскохозяйственными и т. д. На берегах Байкала обосновались лебедь, рак и щука. В результате озеро гибнет и никаких изменений к лучшему не предвидится. Что же касается централизованной власти, то ее забота — в «развитии производительных сил в бассейне озера Байкал». «Байкальское движение» еще не настолько выросло, чтобы противостоять центру и даже возможностям Академии наук. Местное же население пассивно. Концепция развития региона, предложенная Академией наук, опубликована в бурятской газете, но из Бурятии не поступило на это ни одного отклика, не пришло ни одного письма.

Группа «духовенство» тоже пришла к выводу, что общественная апатия, как и проявление безнравственности в отношении к природе руководителей Прибайкалья — одни из существенных причин трагической обстановки, сложившейся на Байкале и окружающих его землях.

Однако представления о нравственности у меня с С. В. Поповым не совпали. Я обратил внимание участников на то, что на игре говорилось о социальном, экономическом и экологическом развитии района, но не произносилось слово «нравственность». Даже когда речь шла о духовности, то эта самая духовность сводилась представителями власти лишь к развитию образования.

— Александр Александрович, — перебил меня Попов, — ну какая может быть нравственность?! Не существует никакой общей нравственности, морали, совести. Мы живем не в мире людей, мы живем в мире «машин из людей», когда люди сведены в определенные обоймы. Вот работает человек в Минводхозе и поворот северных рек для него нравствен, а ваши возражения — наоборот. Ваши устаревшие представления — не что иное, как общие места. А они нам не нужны, мы здесь ищем истину. О какой нравственности вы говорите? Что это такое?

— А вы не знаете? Она до сих пор определялась заповедями Христовыми. Не укради, не убий, чти отца своего и матерь свою... Вы когда-нибудь видели «Моральный кодекс строителя коммунизма», эдакий стенд с золотыми буквами по красному? Это те же заповеди, только в пересказе.

— Христос — для одного человека, — возражает Попов, — а мы живем в ином мире, где один человек ничего не значит.

Я не согласился. Каждый человек — целый мир и центр мироздания. Весь внешний мир вращается вокруг оси каждого из нас. Для русских людей существовала всегда одна мораль, а не две, три или столько, сколько известно «машин из людей». Пушкин, Достоевский, Чехов или Булгаков жили в разное время, но руководствовались одной моралью, на которой основана вся наша культура. Я тут как-то сказал работнику вновь организованного Комитета РСФСР по охране природы, что в Комитет пришли люди из Минводхоза и из Госкомгидромета. Номенклатурные губители природы стали вдруг ее защищать. На что он мне ответил:

— Работая там, они были бессильны идти против установок, против начальства. У них ведь тоже семьи и дети.

— Честный человек в таком случае должен был оставить эту работу и идти в дворники, — сказал я ему. — Такая «ведомственная» мораль и нравственность похуже не оправдавшей себя классовой нравственности.

Когда я высказал эти свои соображения, мне показалось, что зал поддержал меня, хотя в споре с руководителями игры к тому времени аудитория всегда была на стороне Попова и Щедровицкого. Спорить с этими ребятами трудно. С их опытом логических построений ничего не стоит доказать, что белое — это черное и — наоборот. И у меня стало очень хорошо на душе, когда я через неделю прочитал в «Литературной России» слова Валентина Распутина, сказанные им в Рязани:

«Три опасности уничтожения человечества существуют, на мой взгляд, сегодня в мире: ядерная, экологическая и опасность, связанная с разрушением культуры.

Трудно сказать, какой из них предпочтительней, если выбирать способ самоубийства. При ядерном это можно сделать моментально, при экологическом — с мучительным, но и недолгим продлением, когда отцы получают возможность наблюдать, как дети рождаются, все меньше похожие на людей. И при «культурном» — когда нравственно-эстетическая деградация приведет к обществу дикарей, которые не захотят терпеть друг друга. В известном смысле можно предположить, что третья опасность, то есть нарушение духовно-поведенческого аппарата, привела к появлению и первых двух».

Вот вам и первопричина, дорогой наш Сергей Валентинович!

Из зала меня спросили:

— Почему же нравственность и культура, о которых вы говорите, падают у нас на глазах? Вспомните воинствующих подростков Казани. В чем тут дело?

Надо было отвечать, не задумываясь. Но я бы и сейчас так ответил:

— У нас нет воспитания духовного, эстетического, нравственного потому, что воспитатели сами должны быть воспитаны. Что такое русская культура прошлого столетия? Это, в основном, дворянская культура. И никуда от этого не уйти. Скажем, русская литература XIX века. Но мы физически уничтожили дворянство, духовенство и большую часть интеллигенции. Остальные эмигрировали. На смену им пришли интеллигенты типа Луначарского, Радуса-Зеньковича или Емельяна Ярославского. Ярославский взрывал храмы, Радус-Зенькович уничтожал памятники истории и культуры, а Луначарский называл патриотизм «идеей насквозь лживой». Кстати, именно Луначарскому мы в какой-то степени обязаны варварским отношением к природе. Именно он писал в своих «основах позитивной эстетики»: «Социализм — это организованная борьба человека с природой». Затем, в 30-е годы, мы потеряли людей, обладавших хоть и классовой, но совестью. И на войне первыми погибали всегда лучшие. А пока шел этот «естественный отбор», в нас воспитывали рабов, прививали рабскую психологию и лишали нравственных основ.

Однако в документах Байкальской игры нравственный аспект трагедии озера не нашел отражения.

Так что же дала эта игра? Каковы ее результаты? Еще одно решение-постановление? Такие и подобные вопросы задавали мне все, кто встречался после возвращения из Иркутска.

Все завершилось «Заключительным актом всесоюзной социально-экологической экспертизы ситуации, сложившейся в регионе озера Байкал». Вот он передо мной. В нем сказано, что сохранение уникального экологического комплекса в существующих системах деятельности, структурах власти и правовых рамках невозможно. «Рекомендуется путь регионального самоопределения с радикальной хозяйственной реформой и новой формой регионального хозрасчета». Вопреки концепции Совмина РСФСР, концепции Академии наук СССР и другим, «установлено, что сведение экологических проблем лишь к охране природы и изменению технологии искажает представление о сложности ситуации и фактически дезориентирует общественное мнение. Экологическая проблема, как было показано, есть не столько проблема охраны природы, сколько проблема обеспечения качества жизни и подъема культуры населения».

Отдельной строкой записано: «Необходим закон о Байкале».

Наверное, надо еще сказать, что Байкал отныне принадлежит не только нам, но и всему миру. «Все мы путешественники, летящие на одном космическом корабле, — сказал Дейвид Бровер в своем выступлении. — И корабль наш должен быть исправен».

По-разному относятся люди к результатам Байкальской игры. Одни считают, что гора родила мышь, другие же полагают игру принципиально новым подходом к рассмотрению далеко не новой проблемы на примере Байкала, основанном на неформальных, общественных началах. Хочется верить, что результаты будут.

Основная причина наших природных и экономических бедствий, как я уже сказал, заключается в экономической власти министерств, которым к тому же предоставлены права распоряжаться природными ресурсами. Так называемые «ведомственные интересы» стали великим злом.

Но ведь над министерствами есть и другая, высшая власть, скажете вы, куда же смотрят Госплан и Совет Министров? А что такое Совет Министров, как не совет тех же самых ведомств? Михаил Яковлевич Лемешев в своей статье «Власть министерств» хорошо показал механизм «прохождения» ведомственных интересов, их путь к деньгам и власти. Они сразу идут в ЦК КПСС и, ссылаясь на научные разработки своих ведомственных НИИ, «пробивают» нужное им постановление. А там сказано: «Госплану обеспечить». И Госплан обеспечивает.

Давайте рассмотрим теперь эту проблему в нравственном аспекте. Что такое эти пресловутые ведомственные интересы руководителей ведомств и крупных чиновников? Личные интересы. Звезды Героев, ордена, ученые степени, высокое служебное положение номенклатурного работника — вот, на мой взгляд, одни из основных двигателей гигантомании, «проектов века» и «великих строек». Даже сразу после отмены поворота северных рек бывший министр Васильев умудрился получить орден. Интересы народа, страны, сохранение природы и ее ресурсов для будущего их не интересуют. Им подавай сиюминутные успехи, пусть заведомо ложные. И если это так, то деятельность подобных руководителей, как и вся их жизнь, безнравственна.

Беда в том, что мы не выбираем таких руководителей, их по-прежнему, в основном, назначают «сверху». Такое впечатление, что существует мешок с номенклатурными работниками, оттуда вынимают деятеля и ставят на ответственный пост. И совсем неважно, знает он дело или нет, специалист ли он. Не справился — обратно в мешок. Отдохнет, его переставят по горизонтали, а рука помогущественнее — и по вертикали. Что такое номенклатура, мы с вами теперь хорошо знаем. Одна из самых больших наших бед. И на Съезде народных депутатов СССР об этом говорилось с большой тревогой.

Вот организовались Госкомитеты по охране природы. По моему мнению, вряд ли они будут способны изменить что-нибудь «при существующих системах деятельности, структурах власти и правовых рамках», как было сказано в заключительном акте «Байкальской игры». Комитеты не имеют реальной экономической власти над министерствами. Часть министерств просто оставила у себя отделы охраны природы, они по-прежнему сами себя будут контролировать. Состав же вновь созданных ведомств подобран из номенклатурных деятелей старой закалки. Тут трудоустроены бывшие ответственные работники Минводхоза или Госкомгидромета. Скажите на милость, каким образом люди, разрушавшие природу, безоглядно губившие ее, будут теперь ее охранять?!

Советы — наша законодательная власть. В народные депутаты СССР вместо марионеток, механически поднимающих руки, ныне выбрано много людей, самостоятельно мыслящих и патриотически настроенных. Таких людей, которые смогут противостоять узковедомственным интересам в интересах страны и народа.

Надо учиться организации и политической борьбе. Без этого нам не одолеть ведомственные интересы и бюрократию. А для этого взять своим оружием гласность и правду. Помните, как заканчиваются «Мертвые души» Н. В. Гоголя? «И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народов, вооружался против врагов, так должен восстать против неправды».

Подчиняясь закону маятника, мы в последнее время заметно отклонились к другой крайности. Было время, когда противникам поворота северных рек не давали высказаться ни в газетах и журналах, ни на радио и телевидении. В. Белов обошел со своей антипереброс очной статьей все газеты, и никто ее не взял. Меня тогда вызвали в ЦК КПСС и объяснили, что коллективные письма писателей — не метод борьбы и что противодействовать стройке века аполитично и чуть ли не преступно. Пришлось мне оставить работу в писательской комиссии по охране природы.

Теперь же положение приняло другой оборот. Обратный. Мы не даем высказаться своим противникам, не даем труда выслушать их доводы. В телепередаче «12-й этаж» подогретый нашими статьями юнец не дает слова сказать пожилому человеку, перебивает его, и все торжествуют. Хорошо ли это? Энергия нам необходима, и мы должны искать сотрудничества и взаимопонимания, а не вражды.

Мы присвоили себе право заботиться о природе и не допускаем мысли, что среди тех же инженеров-гидроэнергетиков могут быть люди, с такой же болью и тревогой относящиеся к наступающей экологической катастрофе, как и мы. Вряд ли кто-нибудь из них решится выступить публично. У писателей, которых любят обвинять в эмоциях, болит душа за судьбу страны, за ее природу и за ее будущее. А голова должна болеть у ученых. Поэтому писатели страны и обратились к Академии наук с призывом стать лидером экологической науки и поставить волнующие всех нас проблемы на научную основу. И делать это надо немедленно. На экологические исследования АН выделено 50 млн. рублей. Будут ли они израсходованы с пользой?!

Сегодня у человечества нет важнее заботы, чем забота о сохранении природы Земли. Уже завтра, наверное, нам придется перестраивать всю промышленность на замкнутые безотходные циклы, все земледелие — на сохранение почв, способных накормить растущее население планеты, а науку, и социологию в том числе, — на спасение земли, а не на ее уничтожение мирным ли, военным ли путем. Это потребует колоссальных средств, полной перестройки человеческого общества и его образа мышления, формирования совершенно новых представлений о жизни. Хочется верить, что в первую очередь на это будут направлены просто фантастические средства, расходуемые в мире на вооружение.

Но для того, чтобы благоустроить мир, наверное, надо навести сначала порядок в своем доме.

В Иркутске мне рассказывал один вертолетчик об охотничьем дворце, созданном в глухой Тафаларии, на озере Медвежьем, куда нет никаких дорог. Чего только там не ждало высокое начальство! Не только баня, но и библиотека! И вот туда летел вертолет с женщинами и продуктами, а потом с вельможами. Егери старались, на штат денег не жалели, всего было в достатке — от уток до медведей. Да и рыбалка не хуже, ловили сетями таких тайменей, каких больше и не осталось на свете, давили икру, вялили.

Государство не может обойтись без управленческих ведомств, без чиновников всех рангов, но совершенно необходимо, чтобы они контролировались общественностью (о чем шла речь на Съезде), несли ответственность не только перед начальством, но и перед народом. Но как это сделать?!

Много раз мы слышали по телевидению: «Минводхоз израсходовал 130 миллиардов народных средств впустую. Мы получили от его бурной деятельности больше вреда, чем пользы». Ну и что? А он продолжает копать. Кто его остановит? Не комитеты же охраны природы...

Мне представляется, что такие силы есть. Только надо их организовать и направить. Это силы, действующие, что называется, снизу и сверху — общественность и Советы. Я уже сказал о «Байкальском движении» в Иркутске. Или взять недавно образовавшийся из сотни неформальных организаций защитников природы Всесоюзный социально-экологический союз. Большая сила

ЛИТЕРАТУРА

Баришпол И., Ларина В. У ПРИРОДЫ ДРУЗЕЙ МИЛЛИОНЫ. — М.: Лесная промышленность, 1984.

Беллер Г. ЭКЗАМЕН РАЗУМА. — М.: Мысль, 1988.

Благосклонов К. РАССКАЗ О КРАСНОЙ КНИГЕ. — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Богомолов С. ПРИРОДА: ЧТО МЫ МОЖЕМ. — М.: Московский рабочий, 1987.

Васинский А. ПЕЙЗАЖ БУДУЩЕГО. — М.: Политиздат, 1985.

Вишнякова Г. ХОЗЯЙСТВОВАТЬ, ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ. — М.: Колос, 1983.

Голубев И., Новиков Ю. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЕЕ ОХРАНА. М.: Просвещение, 1985.

ДАЛИ ОТЧИЕ, НЕОГЛЯДНЫЕ.— М.: Современник, 1988 (вып. 5).

Емишин И. СТРОИТЕЛЮ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. — М.: Стройиздат, 1986.

Залыгин С. ПОЗИЦИЯ. — М.: Сов. Россия, 1988.

Китанович Бранко. ПЛАНЕТА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ОПАСНОСТИ. (пер. с серб.-хорв.) — М.: Мысль, 1985.

Колбасов О. ПРИРОДА — ЗАБОТА ОБЩАЯ. — М.: Московский рабочий, 1982.

Леопольд Олдо. КАЛЕНДАРЬ ПЕСЧАНОГО ГРАФСТВА (пер. с англ.). — М.: Мир, 1983.

Матье Люсьен. СБЕРЕЖЕМ ЗЕМЛЮ (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 1985.

Петрянов И., Андреев В. ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ. — М.: Сов. Россия, 1986.

Соломина С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ. — М.: Мысль, 1983.

Толстихин О. ЗЕМЛЯ — В РУКАХ ЛЮДЕЙ. — М.: Недра, 1988.

Шипленко Ю. ЭТА ХРУПКАЯ ПЛАНЕТА. — М.: Мысль, 1988.

Эдберг Р., Яблоков А. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВОСКРЕСЕНИЮ: (Диалог на пороге третьего тысячелетия). — М.: Прогресс, 1988.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

полемические заметки

Сегодня многие говорят о кризисном состоянии общества. Преимущественно — об экономическом кризисе, об идеологическом кризисе, о нравственном кризисе.

В этих заметках я говорю прежде всего о России, исходя из опыта многочисленных поездок по городам и селам Урала и Сибири, Севера и Подмосковья.

Я бы выделил намечающийся самый тяжелый кризис — кризис русского национального самосознания. Встречаясь с российскими учителями, с молодыми инженерами, бывая в рабочих общежитиях и в когда-то богатых и крепких селах, вижу то, о чем до сих пор умалчивается в печати всех направлений — размывание русского национального самосознания, всех элементов русскости — от быта до поэзии, от песен и сказок до национальной символики...

Существует ли сегодня русская интеллигенция, озабоченная проблемами своего народа, формулирующая «русскую идею» в современном мире?

Существует ли русское крестьянство со своими обрядами, своим экономическим и нравственным укладом?

Существует ли русская духовная мысль? Русская культура?

Что происходит с русским народом? С русской интеллигенцией? Когда выступал Валентин Распутин на Съезде народных депутатов СССР, я сам видел, как иные из отечественных «образованцев» презрительно отходили от телевизоров. Им уже успели внушить, что сей писатель впал в «шовинистическую дурь», что он «национально ограничен». Не о тех мои мысли и заботы, кто внушал и внушает эти разрушительные идеи. О тех, кто сегодня крайне легко и в Петрозаводске, и в Саратове, и в Иркутске, и в Тюмени — подхватывает на лету русофобские идеи и разносит их дальше. Речь и забота моя о многочисленных русских, начисто лишенных национального самосознания...

Само по себе существование так называемой «московской группы» на Съезде говорит о тревожном состоянии русской общественной жизни. Попробуйте отъединить таллиннскую группу депутатов от всей остальной эстонской делегации, укажите ту пропасть, которая разделяет депутатов-тбилисцев и депутатов — жителей Имеретии, почему не стали спорить на Съезде между собой азербайджанцы-депутаты из республиканской глубинки и депутаты из Баку? Не о том я сейчас думаю, кто прав из москвичей, а кто неправ. Тревога моя об отсутствии национальной объединяющей идеи.

Посмотрите у себя в квартире — есть ли в ней хоть что-то, говорящее о вашей русскости? А потом вспомните, кто бывал в гостях, квартиры армян или таджиков, или уж, забираясь совсем далеко, квартиры японцев или мексиканцев. Нам сегодня претит все наше национальное.

Претит национальная музыка, которой восхищается весь мир, только не мы. Чтобы по Центральному телевидению услышать русские мелодии — есть и такой выход — почаще приглашать на гастроли Вилли Токарева или Рубашкина. И тогда вдруг происходит чудо — московский интеллигент упивается русскими романсами, пусть и звучащими с акцентом.

Претит национальная литература. В одном из ведущих театральных училищ студенты отказались читать рассказы В. Распутина. Демонстративно. Провинциалы согласно кивают головой, когда им указывают на «недостатки» В. Белова, В. Астафьева, когда вычеркивают из литературы Ю. Бондарева, М. Алексеева, П. Проскурина. В чем повинны эти писатели? Они борются за русскую национальную культуру. Деревенская проза — это особая статья, но я уверен, что такой городской писатель, как Ю. Бондарев, автор «Тишины» и «Берега», «Горячего снега» и «Родственников» — был бы и сегодня в таком же фаворе у нашей печати, как Г. Бакланов, Ф. Искандер или В. Быков, не занимай он такую позицию по отношению к русскому национальному самосознанию.

Публикация в органе российского Союза писателей журнале «Октябрь» откровенно антирусской повести Василия Гроссмана «Все течет» — еще одно тому подтверждение. Действительно, ни один республиканский журнал — ни «Литературная Грузия», ни «Литературная Армения», не говоря уже о литовских, латышских или эстонских литературных журналах — не могли бы позволить себе публикацию антигрузинских, антиармянских, антилитовских, антилатышских или антиэстонских произведений. А у нас подобное возможно именно потому, что мы лишены чувства национальной гордости. Вернее, многие и многие десятилетия нас пытаются (и не без успеха) лишить этого чувства, лишить национального достоинства, устрашая жупелом шовинизма.

За короткое время после появления в «Литературной России» письма И. Шафаревича, В. Клыкова и М. Антонова с осуждением русофобской линии «Октября» почти все центральные органы информации, включая телевидение, организовали бурную кампанию в поддержку А. Ананьева. Благополучнейший лидер литературного застоя — вдруг в мгновение ока превратился в благородного мученика, в мужественного пропагандиста честной литературы. Чем же так привлек Анатолий Ананьев интеллигентские круги? Тем, что напечатал пасквиль на Пушкина, сочиненный Абрамом Терцем, а следом за этим повесть Василия Гроссмана «Все течет», где русский народ объявлен народом рабов, с вечно рабской душой, рабской историей, рабской психологией и рабской философией. Тем, что журнал намерен публиковать сочинения некоего А. Янова, лидера эмигрантской русофобии.

Прежде всего надо бы разобраться, кто ведет себя по-рабски в этой ситуации? Если тебе плюют в лицо, при тебе измываются над твоей матерью, а ты приветствуешь эти надругательства и униженно лижешь ботинок своего господина, пишешь восторженные послания в его честь — очевидно, эта часть русской интеллигенции на самом деле не избавилась от комплекса раба, навязанного ей, увы, не славной тысячелетней историей России, а последним семидесятилетием. Всевозможные лауреаты Сталинских премий, от В. Гроссмана до А. Рыбакова, и сегодня доказывают, что не зря выдавались им эти премии. Но что же молчат остальные? Неужели и на самом деле не хватает мужества одолеть в самой России заразу русофобии? Не верю, чтобы в Грузии смогла победить антигрузинская группировка, не верю, чтобы в Швеции с презрением писали о шведах, не верю, чтобы англичане приветствовали издевательства над своими великими деятелями.

Почему же мы все терпим и терпим? Хватит нам превращаться в дом терпимости. Именно в условиях демократии и гласности мы способны требовать от российских изданий утверждения российской культуры, российской истории. Дело вовсе не в том, печатать или нет антирусские сочинения А. Терца, В. Гроссмана, А. Янова и других. Но любая общественная организация, имеющая свои печатные органы, должна добиваться, чтобы эти издания не проводили враждебную Отечеству политику. Орган Народного фронта Эстонии вряд ли будет рекламировать идеи Интердвижения. Газета «Свободное слово» Демократического Союза не будет защищать идеи общества «Память». Альманах «Апрель», выходящий под эгидой писательского объединения «Апрель», не превратится в филиал «Нашего современника». Будущее издание ПЕН-клуба вряд ли будет проводить линию, противоречащую уставу ПЕН-клуба. Прошло время административных давлений. Как бы ни были сильны и грозны сторонники русофобии, как бы ни нравился Абрам Терц самым высоким чинам в нашем государстве, российская писательская организация имеет право в своих изданиях утверждать российское мировоззрение, пропагандировать российскую культуру и, естественно, — великую русскую культуру.

И кто это согласился бы, чтобы журнал «Октябрь» перестал быть органом Союза писателей РСФСР? Анатолий Ананьев и его единомышленники при столь большом желании могут, в конце концов, наладить выпуск своего кооперативного издания и печатать в нем кого угодно. А почему российская писательская организация должна лишаться своего журнала? Товарищи антисталинисты А. Битов, А. Курчаткин, Е. Евтушенко и другие — не пора ли отказываться от истинно сталинского мышления? Прошли времена, когда легко можно было перекраивать границы республик, отдавать Крым Украине, а земли уральских казаков Казахстану. Может быть, вы предложите и «Юманите» передать лидеру французских правых Ле Пену, а «Нью-Йорк таймс» легко отдадите в распоряжение Московскому горкому КПСС? И почему альманах «Апрель» будет находиться под «пятой ведомства», то есть организации «Апрель»? Где же тут свобода творчества? «Пора кончать с рабской нашей традицией», пишут разгневанные защитники «Октября», требуя освободить журнал от опеки писательской организации. Среди этих защитников Марк Захаров, Олег Ефремов. Я сразу вспомнил, как совсем недавно те же самые руководители Союза театральных деятелей успешно добились, чтобы все театральные издания: «Театр», «Театральная жизнь» и даже «Современная драматургия» стали принадлежностью Союза театральных деятелей. Где же свобода творчества? Да и «апрелевцы», дружно голосовавшие на Пленуме Московской писательской организации за ограничение срока пребывания на посту главного редактора до десяти лет, вдруг по отношению к Ананьеву, давным-давно перевалившему через этот срок в своем «сидении» на «Октябре», так же дружно забыли свои грозные требования. Еще бы, всем на Пленуме было ясно, что свой удар «апрелевцы» наносят по «Нашему современнику». «Наш современник» этот удар вынес благополучно. Сергей Викулов показал пример благородства, уступив место редактора преемнику. Только Анатолий Ананьев следовать благородному примеру не хочет, и с ним загадочно солидарны многие наши борцы за справедливость.

Думаю, эта шумиха вокруг «Октября» полезна. Ананьеву все равно терновый венец А. Твардовского не по голове, мученика не выйдет. Когда-то Ананьев первым назвал Солженицына «литературным власовцем», позволю и я себе назвать Ананьева «литературным хамелеоном». А вот читатели, благодаря шумихе, очевидно, внимательно перечитают и «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца и «Все течет» Василия Гроссмана. И проверят, есть ли в них чувство раба. Те, кто не возмутится за честь своего народа, своей культуры, своих национальных святынь, очевидно, и впрямь — рабы. Кто же найдет силы выразить свое возмущение, кто призадумается всерьез над положением современных русских, тем самым докажут ложность русофобских версий. Я думаю, в каждом народе есть какая-то толика рабов, лакеев по психологии, есть и у нас. Пора нам определить, какова эта толика или это доля?! Пора призадуматься о собственной чести и гордости.

Почему так страшит многих само это понятие — русская идея? Это так естественно, у любого существующего на земле народа есть своя национальная идея. Если существует еврейская идея, немецкая идея, английская идея, грузинская идея, что страшного в русской идее? И кому от этого страшно, уж не нам ли самим?!

Назовите мне хоть один народ в нашей стране, который бы отворачивался от своих национальных писателей: армяне от Сильвы Капутикян и Серо Ханзадяна, грузины от Чабуа Амиреджиби и Нодара Думбадзе, эстонцы от Эйна Ветемаа и Яна Кросса, казахи от Оралхана Бокеева... Почему мы, русские, так сладострастно смотрим годами, как поливают грязью и бранью гордость русской национальной культуры, лучших выразителей души нашего народа?

Попробовали бы московские журналисты поизгиляться над Амиреджиби — нет, для них лишь «человеконенавистник» Василий Белов или «лишенный гуманизма» Валентин Распутин! Представьте, если бы я написал: «Меня спросили: кто победит — Тенгиз Абуладзе или порядочность? Я ответил: победит Тенгиз Абуладзе, а порядочность будет утешаться тем, что она и Тенгиз Абуладзе несовместимы». Как резко выразили бы свое негодование грузинские интеллигенты! И были бы правы. Но замените имя Тенгиза Абуладзе именем Юрия Бондарева и вы прочтете то, что опубликовал в печати Станислав Рассадин. И никаких протестов русских интеллигентов не последовало.

Думаю, очередной любитель поиздеваться над мусульманскими святынями ныне крепко призадумается, прежде чем выступить в печати со своим сатанинским опусом. Издеваться же над русскими святынями в течение долгих десятилетий было позволено каждому. С. С. Аверинцев правильно напомнил о странной тенденции: переделывая православные храмы под общественные туалеты, устраивают выгребные ямы на месте алтарей. Такого изощренного издевательства над святынями, уверен, не потерпел бы ни один народ. А мы терпим!.. И, опять же, не о разрушителях я говорю. С ними, что называется, все ясно. Сатана и существует для сатанинских дел. Говорю о нас с вами, о русских людях, дозволяющих низводить русские святыни до нужников. О нашем равнодушии, о нашей национальной обезличенности.

Понимаю прибалтов, озабоченных демографическим перекосом, искусственно развиваемым десятилетиями. Только совершенно зря они думают, что проводилась осознанно русская экспансия. Местным правителям из их же прибалтийской среды нужна была в большом количестве дешевая малоквалифицированная рабочая сила. И, подобно туркам и югославам, выезжавшим в ФРГ в погоне за материальным достатком, наши люмпен-рабочие ехали в Прибалтику, в надежде на мало-мальски обеспеченную жизнь. А теперь за их же трудовой вклад называют презрительно «мигрантами».

В большинстве своем кочуют со стройки на стройку все те же Егорши из романа Ф. Абрамова «Дом», Петрухи из распутинской Матеры. Многие из них уже давно не осознают себя русскими. Может быть, обострение ситуации в Прибалтике заставит их призадуматься, кто они такие?

Самый отсталый народ по уровню образования, один из последних в стране по уровню жизни — вот что такое сегодня русский народ. И потому мы должны наконец во весь голос заявить об ошибочности установки на неравенство русской нации перед всеми другими. Мы сегодня превратились в «гомо советикус» — страшное порождение страшных десятилетий. Само по себе понятие «советский народ» — изначально ошибочно. Форма политической власти стала обозначением самого народа. Что же: в Англии — «парламентский народ», в Америке — «сенатский народ», а в России до революции — «думский народ», в Германии — «бундестагский народ» и так далее?..

Может, покончить с этим «далее» и не побояться напомнить о существовании одного из великих народов мира — русского народа?

Думаете, это помешает другим народам нашей страны, думаете, сильная Россия будет представлять опасность для них?

Посмотрим на современное состояние Британского Содружества наций. Когда-то эти нации чуть ли не столетиями воевали со своей владычицей — Великобританией. Сегодня они с удовольствием и пользой для себя развивают экономические связи. Они уважают англичанина, потому что, извините, он и сегодня — богатый

и сильный. Англичанин и сегодня — подумать только?! — может приехать в любую из стран, входящих в Содружество, не зная ни одного языка, кроме английского, и везде найдет понимание. А на чем держится авторитет заезжего американца-туриста? На богатстве, могуществе, уверенности в себе. Значит, не в советской власти, наверное, как таковой секрет все большего отхождения от нас той же Прибалтики, не в национальном вопросе главная причина все более растущих центробежных сил в нашей стране.

Главная причина — в опустошенности России. Все она отдала своим братьям, подняла их на ноги, наделила богатством. И что же? Бедная Россия, бедный русский народ теперь не приоритетны для эстонца или армянина, узбека или айсора. Мы сознательно, ради развития братских народов семьдесят лет сохраняем в экономике, в бюджете, в культуре, в образовании неравенство русской нации перед всеми другими, а в результате все больше растет неуважение всех наций.

Чем быстрее мы ликвидируем неравенство — абсолютно во всем — русского народа перед другими народами, тем быстрее мы заставим себя уважать. Всем известно, что грузинский крестьянин с одного мандаринового дерева имеет в десять раз больше дохода, чем русский крестьянин со своего крохотно-лоскутного картофельного поля. Но не все знают, что во всем мире цены на цитрусовые и на картофель — примерно одинаковые.

Не кроется ли в нынешнем состоянии русского человека самая главная наша ложь?

Даже для того, чтобы осознать бедность свою перед другими, русский должен сначала национально самоопределиться, почувствовать свое национальное состояние и, исходя из национального самосознания, выстроить программу национального возрождения — нравственного, культурного, экономического, политического...

Наша сегодняшняя обезличенность позволяет манипулировать нашим сознанием в любую сторону, наше нравственное одичание дает возможность разгулу сатанинских сил. От имени народа — со всех сторон — и чиновниками, и нынешними демократами делаются какие угодно заявления. Скажем, московский народный фронт — своим названием напоминает прибалтийские народные фронты, но разница-то колоссальная. Прибалтийские народные фронты — это результат подъема национального самосознания народа. Это единение радикально настроенной интеллигенции, либеральной интеллигенции с силами национального возрождения — а уж совместно единение всей интеллигенции со всем народом под знаком осознанной национальной идеи. Вроде того, что эстонский «Огонек», соединившись с эстонским «Нашим современником», сумели повести за собой бо́льшую часть эстонской нации. Московский народный фронт резко отрицательно относится к идее русского национального самосознания, на всех митингах оскорбительно отзывается о ведущих деятелях русской культуры — будь то писатели В. Распутин и В. Белов, или художники, музыканты, ученые — Г. Коржев, Г. Свиридов, И. Шафаревич... Так какой же народ представляют эти деятели из МНФ? Наши плюралисты обрадуются — многозначительно — мол, в еврейский огород камушек. Нет, еврейские национальные организации, так же как и грузинские или литовские, имеют свою национальную программу, объединяют евреев вокруг культурных центров, своих периодических изданий. Так что не еврейскую национальность представляет московский народный фронт, как думают некоторые, а все тех же обезличенных безнациональных «интернационалистов», все тех же «гомо советикус». Отделять себя от русского народа научились только русские интеллигенты, — и считают это огромным достижением. Как ни парадоксально, народные фронты, подобные московскому — это и есть глубинное порождение сталинизма. Может ли существовать народ, лишенный национальных признаков? С каких пор нация и народ стали чуждыми друг другу понятиями? Если перед нами народный фронт — так какого, спрашивается, народа? Что это означает — Московский народный фронт? Фронт московских народов?! Тогда уж пусть лучше называют себя — московский международный фронт.

Кризис народного самосознания еще более усиливается нашей космополитической прессой, навязывающей слабому, подавленному сознанию своих идолов, свою массовую культуру, свою антидуховность.

Странное дело, замечаю не раз, миллионы людей видят на телеэкране происходящее, становятся реальными свидетелями событий, и вдруг — на другой же день пресса абсолютно превратно трактует эти события, а то и просто перевирает их, и массовое сознание освобожденного от крепких устоев нравственности, религиозности, гражданственности народа спокойно проглатывает версию прессы. Люди не хотят думать. Им говорят, что черное — белое, белое — черное, и они спокойно соглашаются, хотя речь идет о важнейших человеческих понятиях. Оскорбляется честь народа, и никто особенно не озабочен.

Это ведь тоже — кризис народного сознания. Скажем, все мы видели по телевидению спор между академиком Сахаровым и воинами-афганцами. И вот уже в десятках крупнейших советских газет читаю, как мужественно Андрей Дмитриевич Сахаров сражался с консервативным большинством Съезда, как смело говорил об ошибочности ввода советских войск в Афганистан.

Уже «наш пострел» Евгений Евтушенко и здесь поспел — сочинил стихотворение в защиту Сахарова, упрекая воинов-афганцев в непонимании того, что Сахаров спасал их собственные жизни. Тот, кто не видел по телевидению этот спор, так и подумает: наш доблестный правозащитник осудил на Съезде афганскую военную акцию, а ребята-афганцы в темноте своей и серости непроглядной стали защищать ввод наших войск и всю кровопролитную десятилетнюю войну. Но не было же этого! Не о том разгорелся спор. Почему же все видели, все прочитали выступления депутатов в газетах, а затем все так же пассивно согласились с лживой версией прессы? Именно воины-афганцы подняли на Съезде вопрос о том, когда же нам будет сказана вся правда об Афганистане. Никто из споривших с Сахаровым (Вы слышите, поэт Евтушенко!), никто не поддержал этот ввод войск. Кто отвечает за гибель тысяч и тысяч, мы до сих пор не знаем, но воевали ребята, которых туда послали, держались за редким исключением — стойко, мужественно, достойно! Их возмутило заявление академика о том, что по приказу военного командования наши вертолетчики расстреливали с воздуха попавших в окружение наших же солдат, чтобы они не попали в плен. Вот в чем был вопрос! Можно и нужно как угодно осуждать и проклинать зачинщиков этой войны, но объявлять голословно вертолетчиков, молодых лейтенантов и капитанов, этих наших камикадзе, чаще всего и погибавших в небе Афганистана, в хладнокровном расстреле своих же попавших в окружение солдат — для этого надо иметь или очень убедительные доказательства, или технократический, негуманитарный ум и холодное сердце. Ведь доказательств Андрей Дмитриевич так до сих пор никаких не предъявил, а извиняться перед солдатами отказался. Но где же презумпция невиновности? Чем заявление академика отличается от заявлений о том, что Бухарин по ночам пускал поезда под откос? У воинов-афганцев свои друг перед другом обязательства, своя ответственность, думаю, если бы подобное случалось, они бы об этом знали, и сейчас на Съезде, хотя бы перед памятью погибших — не стали бы лгать. Им ложь — ни к чему. Им и нужна больше всех только правда.

Помню случай, когда уважаемый Андрей Дмитриевич дал пощечину за недоказанные, голословные обвинения в адрес своей жены. А если сейчас подобное сделает какой-нибудь инвалид-вертолетчик?

Когда академик, грозно потрясая пальцем, заявлял, что он гордится своим поведением, своей ссылкой в Горький, его наши «плюралисты», наши «демократы» в очередной раз зачислили в святые, в пророки, в нравственные учителя нашего общества. Я восхищен многим в действиях Андрея Дмитриевича за это десятилетие, но, увы, на мой взгляд, ему не хватает... смирения. Понимаю, что вызываю огонь на себя, но... думаю, поза указывающего нам всем как жить — автору смертоноснейшего оружия не годится. Хотелось бы узнать мнение служителей церкви по такому сложному вопросу. Покаяние подобного рода не единично, но должно ли оно быть столь кратковременно? Если когда-либо, не дай Бог, изделие академика Сахарова все-таки обрушится на землю, где ему быть на небесах?

Я отделяю государственную необходимость разработки этого оружия, за что и воздаются заслуженные почести, от нравственной и религиозной ответственности за содеянное. Я горжусь тем, что у страны нашлись в необходимый момент и силы, и умы — противостоять военной угрозе. Но, по моему глубокому убеждению, на роль нравственных учителей человечества, духовных пастырей своего народа ни Тимофеев-Ресовский, ни Сахаров, ни Королев, ни Курчатов — не подходят. Богу — богово, Кесарю — кесарево. Нет в этом никакого умаления их заслуг перед государством, перед всеми нами.

Андрей Дмитриевич Сахаров испытал нравственное потрясение, пришел к покаянию. Его вериги знать должно — ему самому. Но, так ли, этак ли — вся его прошлая жизнь должна определять и его нынешнее поведение в миру, на людях. Когда уже не покаяние мы видим, когда над всеми нами указующий перст Андрея Дмитриевича — над афганцами, над политиками, над учеными, мне почему-то вспоминается, что и сегодня над нами денно и нощно висят изделия Андрея Дмитриевича. Может быть, непогрешимость тех лет привела и к сегодняшней его непогрешимости — праву обвинять каждого из нас и всех сразу без всяких на то доказательств.

Это лишь один из эпизодов обработки нашей прессой размытого народного сознания. Давно известно: народ, национально осознающий себя, гораздо труднее поддается космополитической обработке. Так же, как человек, имеющий свои принципы, свою идею жизни, обладающий религиозным сознанием, спокойно проходит мимо ненужных ему искушений (ему не нужны внешние запреты, у него есть свои — внутренние), — так и народ в целом, понимающий себя и свое место в мире, имеющий свою национальную программу — надежно защищен этой внутренней свободой, внутренним долгом, внутренней ответственностью перед всеми и за всех от самых разрушительных идей, самых заманчивых искушений. Лев Николаевич Гумилев отмечает, что бывают моменты в истории человечества, когда большой народ пассионарно более слаб, чем живущие рядом с ним малые народы, и подвергается реальной опасности исчезновения. Опасность эта еще более увеличивается, когда возникают химерические образования из чуждых друг другу этносов.

Думаю, сегодня в таком пассионарно ослабленном состоянии находится именно русский народ. А потому каждый русский человек должен задуматься о сохранении русской нации.

Все человечество в целом, вся мировая культура в целом — многое потеряют, если у русского народа не найдется достаточно сил для своего духовного возрождения. И потому мы с надеждой смотрим в сторону всех народов мира и в сторону всех республик нашей страны. Отодвиньте обиды (они есть у всех народов), поймите, что в нашей силе — и ваша сила. И наша слабость не сделает никого сильнее. К примеру, кто бы уехал из богатой и сильной России а союзную республику? Только по родственным или служебным соображениям, как и принято во всем развитом мире. Но ведь русские ехали в Прибалтику не на Рижское взморье, а работать на заводы и стройки, не так ли... И в этом преуспели, вот только собственная родная земля занемогла... потому так к месту закончить эти заметки словами великого русского государственного устроителя П. Столыпина, обращенными ко всяческим ниспровергателям основ и прошлого, и настоящего: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

«Вы говорите по-русски?» С таким парадоксальным вопросом обращается к отечественному читателю автор в заключительной главе. Увы, загрязнение и обеднение российской языковой среды приняло столь повсеместный и глубокий характер, что мы уже «не замечаем или стараемся не замечать, что язык, в окружении которого мы живем, постепенно перестает быть русским — это касается в наибольшей степени словаря, но также и грамматики, и произношения». Причем явление это — не только наша беда. Например, во Франции еще в семидесятые годы были приняты законы «Об обогащении французского языка» и «Об использовании французского языка». Создан там и Высший совет франкоговорения под председательством президента республики...

Эти факты нелишне узнать иным из доморощенных прогрессистов, чутких только к иноземным веяниям. Нетрудно представить раздраженную гримасу такого «западника», читающего о негативном воздействии на психику рок-музыки или железобетонных воплощений «наднациональной архитектуры». Возможно, с целью упреждения подобной реакции книгу «Храни себя, храни!» предваряет эпиграф, взятый из работы французского исследователя Анри Гобара: «Культурная война уже началась без положенного объявления, без барабанов и труб... Культурная война употребляет все свободы и злоупотребляет ими, чтобы проникать повсюду и разрушать изнутри все ценности, все различия, все духовные богатства народов». Неслучайна и приверженность японцев своим духовным устоям и культурным традициям. Нам же приходится пока признать, что «гимназисты и кадеты сто лет назад имели возможность знать нашу древнюю словесность гораздо лучше, нежели нынешние школьники и даже студенты-гуманитарии знают русскую литературу прошлого века».

В статьях «О популярности» и «Бедные дети...» А. Фоменко пишет о феномене литературной моды, в том числе и на примере особого успеха романа А. Рыбакова «Дети Арбата», «обреченного» на популярность до своего появления, как и любое произведение, в котором «будет так или иначе затрагиваться все еще кровоточащее и все еще таинственное наше недавнее прошлое». В статье «Театральная мода и традиционные ценности» дается обзор современного репертуара театров, в котором, по статистике 1984 года, лишь шесть процентов постановок составляли пьесы русских классиков...

А. ТИМОФЕЕВ

А. Фоменко. «ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!» М.: Мол. гвардия, 1989 (Б-ка журнала «Молодая гвардия»)

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ / Сост. А. Д. Сабов. — М.: Междунар. отношения, 1989. — 176 с. — 45 к. 25 000 экз.

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ: Вып. 1. Записки наших современниц / Сост. С. С. Виленский. — М.: Сов. писатель, 1989. — 592 с., ил. — 2 р. 70 к. 100 000 экз.

Переведенцев В. И. КАКИЕ МЫ? СКОЛЬКО НАС? — М.: Мысль, 1989. — 208 с. — (Попул. демография). — 40 к. 70 000 экз.

Боровичка В. П. МАФИЯ / Пер. с чеш. — Киев: Политиздат Украины, 1989. — 395 с. — 1 р. 30 к. 50 000 экз.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОВОГО КИТАЯ / Сокр. пер. с англ.; Редкол. А. Н. Кузнецов и др. — М.: Прогресс, 1989. — 519 с., ил. — 9 р. 50 000 экз.

Каддафи М. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА / Пер. — М.: Междунар. отношения, 1989. — 160 с. — 1 р. 80 к. 50 000 экз.

Косичев Л., Низский В. КОЛОКОЛА ЧИЛИ. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 192 с. — 50 к. 30 000 экз.

Соубел Р. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙНЫ / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. — 335 с., ил. — 2 р. 50 к. 30 000 экз.

ДУХОВНИКИ

Жизнь.
Мысли.
Деяния.



СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

СВЯЩЕННИК О. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

В мае 1937 года, за несколько месяцев до второго приговора с лишением прав переписки, Павел Александрович Флоренский писал из Соловков: «Наша водорослевая эпопея на днях кончается, чем буду заниматься далее — не знаю, может быть, лесом, т. е. хотелось бы применить в этой области математический анализ. Окончание работ по водорослям естественно: ведь в моей жизни всегда так, раз я овладел предметом, приходится бросать его по независимым от меня причинам и начинать новое дело, опять с фундаментов, чтобы проложить пути, по которым не мне ходить...»

Выдающийся русский философ-богослов и ученый-энциклопедист, первооткрыватель теории мнимостей в геометрии и обратной перспективы в древнерусском искусстве П. А. Флоренский в 1933—1934 годах на БАМЛАге заложил основы изучения вечной мерзлоты, а в 1935—1937 годах на Соловках создал работающий до сих пор завод по добыче из морских водорослей йода агар-агара.

Все это стало известно благодаря публикациям последних лет. В первую очередь его внуков — доктора геолого-минералогических наук Павла Васильевича Флоренского и преподавателя Загорской Духовной академии игумена Андроника (Трубачев). Но менее известно, что отец Павел Флоренский был таким же первооткрывателем и в фольклоре. Еще в 1904—1909 годах, закончив с дипломом первой степени физико-математический факультет московского университета, а затем (осенью 1904 года) поступив в Московскую Духовную академию, Павел Флоренский вел фольклорные записи в селе Толпыгино Костромской губернии, часть которых была опубликована им в сборнике «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда» (Издание Костромской губернской ученой архивной комиссии. Кострома, 1910). В предисловии к сборнику П. А. Флоренский давал свое теоретическое обоснование не только жанру частушек, но и самого фольклора, как народознания, народоведения, предлагая «путь монографического изучения народной жизни». «На этом пути, — подчеркивал П. А. Флоренский, — ставится задача понять процессы народной жизни из самой жизни, а не из внешних для них инородных явлений, равно как и не простое констатирование единичных случаев. Прочесть жизненное явление в контексте жизни, понять его смысл и его значение для жизни не из общих положений науки, которые и сами нуждаются в поверке, и не в свете субъективных толкований, а из самой жизни — вот задача монографического изучения быта. Но для этого необходимо изучить тот, другой уголок жизни, более или менее типичный, — изучить проникновенно, до тончайших сплетений жизненной ткани, и, — притом, — всесторонне. Эта микрология народной жизни, хотя и имеет уже своих работников, однако, в общем, является доселе скорее требованием науки, задачею, нежели данностью и готовым решением».

С тех пор прошли десятилетия, а комплексное изучение народной жизни все также остается лишь требованием и задачею науки. Не менее важным было философское осмысление жанра частушек, которое впервые предложил П. А. Флоренский, рассматривая их не как новейший, а как древнейший вид поэзии, причем не только русской, но и мировой. «Кажется, нет народа, у которого не было бы найдено частушки», — писал П. А. Флоренский и приводил примеры частушек китайских, малайских, японских, испанских, убедительно показывавших близость русских частушек и эротической лирики всех времен и народов. «По своему содержанию, — писал он, — по своей форме и, наконец, по способу своего возникновения частушка есть крайний предел того спектра народной песни, начальным пределом которого является былина, историческая песня и духовный стих. В то время как последние выражают священную, неподвижную стихию народной жизни и потому составляют преимущественное достояние старости, стариков, — частушка соответствует мирской, текучей стихии народной жизни и потому принадлежит молодости, молодежи. Отсюда следует, что частушка, не в пример всегда неизменной былине, всегда меняется: для частушки характерно ее непостоянство».

Фольклорные записи П. А. Флоренского не ограничивались только 1904—1909 годами. В архиве семьи Флоренских сохранились записи 1908—1911 годов в Сергиевом Посаде, озаглавленные «Изречения Дарьи» и подготовленные к печати самим П. А. Флоренским. (Эти записи будут опубликованы в 1990 году в альманахе «Прометей»). В данном же случае мы предлагаем вниманию читателей частушки из собрания П. А. Флоренского. А предваряет публикацию статья о Флоренском его ближайшего друга, публициста, философа и богослова Сергея Николаевича Булгакова (1871—1944), с которым они запечатлены на знаменитой картине М. Н. Нестерова «Философы» в 1917 году. Впервые статья была опубликована в «Вестнике РСХД» (1971, № 101, 102). В ее основе — выступление С. Н. Булгакова 11 апреля 1943 года в Православном Институте в Париже. Накануне С. Н. Булгаков писал матери: «За это время я испытал большое потрясение и горе, хотя оно и было, конечно, умерено в своей непосредственности расстоянием времени в четверть века. Я получил несомненное подтверждение вести о кончине своего друга, могу сказать: Друга, о. Павла Флоренского. Он скончался, очевидно, в Соловках, где находился в ссылке (в течение последних 10 лет своей жизни). Последние дни я, с надрывом бессилия сказать о нем что-нибудь достойное величия этого человека, набрасывал заметки его памяти, которые, может быть, будут прочтены в собрании его памяти, у нас устрояемом».



М. В. Нестеров. Философы П. А. Флоренский и С. Булгаков. 1917 г.

слово о друге

Получено на днях прямое подтверждение вести о смерти великого русского богослова и мыслителя, священника о. Павла Флоренского. Он скончался в Соловках, после 10-летней ссылки в места отдаленные, — от Восточной Сибири до Белого моря.

Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший, и величайшим является преступление поднявших на него руку, обрекших его хуже чем на казнь, но на долголетнее мучительное изгнание и медленное умирание. Он отошел, озаренный ореолом больше чем мученика, но исповедника имени Христова в антихристово гонение. Посему и эта смерть исполняет душу не только потрясающей скорбью, как одно из самых мрачных событий русской трагедии, но она есть и духовное торжество, как одно из тех, о которых сказано тайнозрителю: «Отныне блаженны мертвые, умирающие о Господе, ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними».

Мне суждено здесь, в чужой земле, ныне свидетельствовать перед не знавшими его о величии и красоте его духовного образа. Но никогда я не чувствовал в такой мере бессилие своего слова, как перед лицом этого своего долга. Отец Павел был для меня не только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ. Нужно слово или кисть или резец великого мастера, чтобы о нем миру поведать. При этом он сам не только родился таким, но был и собственным произведением духовного художества, для чего ему была присуща вся тонкость духовного и художественного вкуса. Черты его внешнего лика запечатлены на известном нестеровском портрете — благодатная тихость и просветленность, образ как бы некоего небожителя, который однако был сыном и земли, ее тягости изведал и преодолел. В нем вовсе не было идиллической наивности и примитивности.

Извне он был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3—4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня, и то же можно сказать и об его пищевом режиме. И все это было в нем не только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания. Слабый от природы, в те годы, когда я знал о нем (увы, нашей разлуке исполнилось уже четверть века), он, насколько я помню, вообще никогда не болел, ведя жизнь, исполненную аскетических лишений.

Когда о. Павел где-либо появлялся, он естественно привлекал к себе внимание, по крайней мере людей зрячих, как до своего священства, так и особенно после него. В его лице было нечто восточное и нерусское (мать его была армянка). Мне же духовно в нем виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением. В его облике, в профиле, в отражении лица, в губах и носе было нечто от образов Леонардо да Винчи, что всегда поражало, но вместе и... Гоголя. Помню, как мы, знавшие его и присутствовавшие при открытии памятника Гоголю в Москве (Эрн, А. Белый и др.), впервые увидавшие его после снятия закрывавшей его завесы, так и ахнули: «Павлуша!» (так называли его друзья и сверстники, школьные товарищи по Тифлисской гимназии, ныне оба отшедшие уже: В. Ф. Эрн и о. Александр Ельчанинов). И при этой внешности, мимо которой нельзя пройти, ее не заметив, в ней не было ничего вызывающего, аррогантного.

Это же было и в голосе, и в речи: о нем всегда просилось на уста шекспировское слово (Гамлета об Офелии): у него был нежный, тихий голос, большая прелесть (не только в женщине, но в данном случае и в мужчине). Однако в этом голосе звучала и твердость металла, когда это требовалось. Вообще самое основное впечатление от о. Павла было с и л ы себя знающей и собою владеющей. И этой силой была некая первозданность гениальной личности, которой дана самобытность и самодовлеемость, при полной простоте, естественности и всяческом отсутствии внутренней и внешней позы, которая всегда есть претензия внутренней немощи. И в путях духовного развития и самоопределения мы наблюдаем в о. Павле эти же самые черты. Можно сказать, в известном смысле, что о. Павел сам себя сделал, идя своим собственным путем.

Он родился и вырос в культурной семье (отец его был образованный инженер), и воспитывался он в атмосфере Бетховена и Гете, но вне религии. Являясь духовным аристократом по воспитанию, он был до известной степени и эстетом. По окончании гимназии, где он поражал учителей своими математическими способностями, тогда уже исследовательскими, он поступил на математический факультет Московского университета, по окончании которого был оставляем при нескольких математических кафедрах (и еще долго спустя не могли забыть московские физики и математики одаренного студента). Вместо всего этого о. Павел, резко изменяя свой жизненный путь, поступает в Московскую Духовную академию студентом (у Троицы Сергия), принимая послушание нового научного богословского труда, а вместе и религиозного подвига. Когда и как в нем произошел религиозный переворот, я не имею точных данных. Я узнал его уже после него.

В научном облике о. Павла всегда поражало полное овладение предметом, чуждое всякого дилетантизма, а по широте своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю меру которого даже невозможно определить

за отсутствием у нас полных для этого данных. Здесь он более всего напоминает титанические образы Возрождения: Леонардо да Винчи и др., может быть еще Паскаля, а из русских же больше всего Болотова. Я знал в нем математика и физика, богослова и филолога, историка религий, поэта, знатока и ценителя искусства и глубокого мистика.

Последние годы перед ссылкой о. Павел читал в Москве лекции по электричеству и теории перспективы. Говорят, что даже во время ссылки в Соловках он, со своей всепожирающей пытливостью ума, изучал морские водоросли. При невозможности это проверить пусть это будет миф, естественно возникающий около личности, по-своему также мифической. И все это богатство даров и, очевидно, достижений, сокрыто, а может быть и погребено варварством, духовным нашествием гуннов на русскую землю, раздавлено чугунным прессом «советской власти» вместе с миллионами человеческих жизней.

Мне неизвестно, что уцелело из его научного и литературного наследия, но уже тогда, в годы нашей общей жизни, то есть четверть века назад, я знал, что у него в письменном столе лежат несколько готовых исследований (об именах и переименованиях, разные философские и богословские курсы, математические и другие труды). Он вообще как-то мало интересовался их публикацией. Но я лично считаю, что книга «Столп и утверждение истины», которая заслуженно прославила его имя в богословии, есть еще юношеское произведение и вовсе не последнее и единственное его слово из всего, что он унес с собою в далекую свою могилу. Однако в мире творческом ничто не пропадает из подлинных духовных ценностей, даже и погибающее здесь, на земле, «дела их следуют за ними», и семя их в том мире прорастает...

Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности о. Павла, как и об его самобытности, в силу которой он всегда имел свое слово, как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать о нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство.

В. В. Розанов, который, однажды узнав о. Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни (я знаю, что у о. Павла хранилась огромная и значительная по содержанию с ним переписка, в которой они вместе погружались в мистические глубины еврейского вопроса), написал мне однажды о нем тоже совершенно гениальное по силе и выразительности письмо (не знаю, уцелело ли оно в Москве). Я помню из него только одно слово. В качестве самого существенного его определения, В. В. Розанов сказал: он есть ἱερεύς (именно по-гречески), с в я щ е н н и к. И это было именно так. Священство о. Павла, как и все в его жизни (помимо того, что над ним совершила сатанинская антихристианская злоба), также было его собственным самоопределением, которое извне как будто совершенно противоречило всей его жизненной обстановке. Такое юродство, как ряса, одинаково не снилось ни его отцу-инженеру, ни гимназическим, ни университетским его учителям. Оно даже вовсе не вытекало с необходимостью из факта поступления в Духовную академию, но таков был внутренний его голос, избрание и призвание.

Само по себе оно не имело для себя примеров и в истории русской интеллигентской общественности. Последняя еще знает отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество, в аристократическом и светском конвертитстве, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что о. Павел своим примером впервые проложил этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически, конечно, все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины», враждовал с нею.

Он своим рукоположением фактически делал ей известный вызов, конечно, вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после о. Павла, пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами то сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в о. Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно-исторического значения.

Чего ж искал в священстве о. Павел? Это не было призвание к пастырству и учительству, хотя, разумеется, он их не отрицался, но прежде всего и больше всего влечение к предстоянию Престолу Господню, служение литургически-евхаристическому. Сначала о. Павел стремился — может быть, несколько отвлеченно и идеологически — получить деревенский приход близ Сергиева Посада, так, однако, чтобы совмещать сельское священство с профессорством в Духовной академии, где ему была поручена кафедра духовной философии (рутина и здесь оказалась сильнее существа дела, и о. Павел был отстранен от кафедр чисто богословских), но затем он получил для себя небольшой домóвый храм общины Красного Креста в Сергиевом Посаде, разумеется, до 1918 года, с которого уже начинается его священническая бесприютность. После этого, очевидно, не могло не прерваться рано или поздно и его священническое служение. Однако и большевистская Москва помнит его читающим научные лекции в рясе и в кресте. Не скажу точно года его рукоположения, кажется, это было около 1910 года. Незадолго до рукоположения совершилось и его вступление в брак, для близких его по-своему неожиданное. Его аскетический путь первоначально вел его к монашеству, но затем аскеза в монастыре сменилась аскезой в семье. Он стал главой семьи, заботливым и нежным отцом нескольких детей. Разлука с ними и тревога о них, очевидно, была и особым крестом его в изгнании. В своем рукоположении о. Павел перешагнул через то препятствие, которым для нас, вернувшихся к Церкви так сказать «интеллигентов», являлась зависимость Церкви от государства, цезарепапизм. В своей исключительной почвенности — несмотря и даже вопреки его полурусской крови — о. Павел был, точнее, хотел быть и политически скорее консервативным, хотя это в нем и соединялось с апокалиптическим и эсхатологическим чувством жизни, «не имеющей зде пребывающего града, но грядущего взыскующей». В то время, когда вся страна бредила революцией, а также и в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно-политические организации, о. Павел оставался им чужд — по равнодушию ли своему вообще к земному устроению, или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленческое движение в среде русского духовенства, позднее выродившееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука в о. Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церковной жизни. Его христианство не было также и «социальным», хотя тогда уже вокруг него и возникали разные его течения. Но это было в нем менее всего простым охранительством, эта внешняя оболочка соединилась с пламенным горением огненного духа, хотя и с тихим светом, из него излучавшимся. Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции.

Он оставался внутренно свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что о. Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном «священнокнутии». Однако при этом нужно знать всю подлинную меру его свободолюбия, которое одинаково умело не только повиноваться, но и не подчиняться, конечно, в том, что являлось для него существенным и главным.

Став священником и возложив на себя во всей полноте ответственность всей канонической и иерархической дисциплины, о. Павел остался свободен и чужд слепому повиновению за страх, а не за совесть, признанию ее «infallibilitas». Он оставался свободен и в своем богословствовании, которое, однако, органически в нем было пропитано его церковностью, вдохновлялось у алтаря. Он не дожил до того прямого гонения на софиологию, которое пришло уже позже, но, конечно, готов был принять его со всеми его последствиями.

Когда началось гонение на почитателей Имени Божия («имеславие»), о. Павел отдал свою богословскую силу на поддержку богословски беспомощного, но мистически правого движения имеславцев. Его духовное бесстрашие я мог бы подтвердить также и на основании некоторых биографических данных. К нему вообще можно применить немецкое выражение: nur für schwindelfreie möglich, и он остался schwindelfreie и в своем священстве. Характерно было то, что его можно было встретить не только в келии аввы Исидора, у старцев Зосимовой пустыни, у еп. Антония, жившего на покое в Донском монастыре, но и в разных домах нашей тогдашней московской «Флоренции», писателей и поэтов, иногда таких, где, казалось, трудно этого было и ожидать, он являлся и желанным гостем, и ночным собеседником. При всей своей церковности и литургичности он оставался совершенно свободен и от ханжества, и от стильного «поповства», умея интересоваться вещами по существу. Поэтому же он не находил себе настоящего места и в академической среде с особой ее атмосферой.

Оставаясь совершенно далек богословского «модернизма», то есть рационализма, он не был, конечно, ему чужд в лучшем, подлинном смысле, признавая, что каждая эпоха истории имеет не только право на существование, но и закон своей жизни, особые требования творческого ее восприятия, и вследствие чего верность его преданию, и не превращается в косное охранительство.

Когда богословские академии оказались закрыты советским правительством, мы вместе с о. Павлом стали деятельно обсуждать проект устройства «религиозно-философской» академии по измененной и расширенной программе и для этого осуществления искали средств и возможностей. Однако жизнь на эти проекты с жестокостью ответила по-своему, для о. Павла заточением, завершившимся исповеднической кончиной, для меня — пожизненным изгнанием на чужбину. Таковы явились пути и веления Промысла Божия. Но и в нашем теперешнем парижском начинании, возникшем в культурных развалинах русской жизни, хочется видеть, конечно, если не полноту, то хотя некоторый слабый отблеск и наших московских замыслов, а в том, что зовется условно «парижским богословием», находить начала, роднящие и с вдохновениями о. Павла, и его духовное с нами как бы соучастие.

Однако полное цветение и плодоношение возможно лишь на родной земле и под ее солнцем, и оторванное от почвы оранжерейное растение даже если растет, то неизбежно хиреет. Отцу Павлу было органически свойственно чувство родины. Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень. Не умею передать словами то чувство родины России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в о. Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины, сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал... родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. О. Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление.

Четверть века уже прошло с тех пор, как мы расстались с о. Павлом, выходя из московского храма после последней нашей совместной литургии. И все, что сказано выше о нем, суть впечатления лишь первых десятилетий этого века, уже отдаленного прошлого. Тем не менее я не чувствую себя остающимся в некоем неведении о нем, ибо для меня и миновшие, вместе прожитые годы дали навсегда сохранить в душе этот образ, как бы отлитый из бронзы, подобно памятнику. Но, конечно, превосходит всякие силы поведать о нем, его не видя и не чувствуя непосредственно.

Для того, чтобы рассказать о гении, который есть ведь некое ч у д о природы, надо самому быть им или, по крайней мере, иметь способность вообразить его образ силою вчувствования. Будем надеяться, что найдутся те, которые соберут драгоценные крупицы воспоминаний о нем за истекшие четверть века, хотя и все они будут стоять перед одною и тою же неодолимой трудностью: настоящее творчество о. Павла не суть даже книги, им написанные, или его мысли и слова, но он сам, вся его жизнь, которая ушла уже безвозвратно из этого века в будущий. И только те, кто верят и знают, что жизнь творчества продолжается и за гробом, что и там возможно участие в жизни здешней, те имеют христианскую надежду его встретить в родине вечной, в России умопостижимой, в веке грядущем, в котором ничто истинно ценное не пропадает, но умножается, и дела праведника идут за ним...

Предо мной неотвязно стоит воспоминание, а вместе и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это портрет наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеровым (в этом году также отошедшим из этой жизни) майским вечером 1917 года, в садике при доме о. Павла. Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-разному, одно из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления. И у самого художника явилось сначала сомнение об умственности п е р в о г о образа, настолько, что он сделал попытку переделать портрет, заменив ужас идиллией, трагедию — благодушием. Но тотчас же обнаружилась вся фальшь и невыносимость такой замены, так что художнику пришлось восстановить первоначальное узрение. Зато образ о. Павла оказался им сразу найденным, в нем была художественная и духовная самоочевидность, и его не пришлось изменять. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к победному свершению, которое ныне созерцаем... Он обрел себе свое место упокоения.

Такова христианская вера и христианское упование.

Но мир как будто бы опустел без него для знававших его и любивших, став унылым и скучным, и зовет за собой из мира ушедший.

«И взглянул я, — говорит тайнозритель, — и вот великое множество людей, которого никто не может перечесть... стояло пред престолом перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... Это те, которые пришли от великой скорби... они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его... и отрет Бог всякую слезу с очей их»... (Откр. VII, 9—17).

И верим, в их лике зрится иерей Божий Павел, мученик и исповедник Имени Христова.

[МАРТ — АПРЕЛЬ 1943]

ЧАСТУШКИ ИЗ СОБРАНИЯ П. А. ФЛОРЕНСКОГО

Ту, гармошка, — белы ножки,
позолочены меха!
Полюбил бы богомолку,
не отмолит ли греха.

Распущу катушку ниток
по зеленому лужку.
У мово-то ли милёнка
дом на самом бережку.

У кого милóй какой,
у меня — мастеровой.
Интересная походочка
не качнет он головой.

Ветерочек — не кусточек
поперек дороженьки.
Увидала я милёнка
подкосились ноженьки.

На реке на Тилице
купались две красавицы;
Косы зáвиты назад, —
не мог красавицы узнать.

Чай пила из ковшика,
любила я конторщичка.
Чай пила из чистого,
любила я форсистого.

Ой, милашка, душичка,
дай погладить брюшичко.
Ложись под осинушку, —
я поглажу спинушку.

По мне милка плакала,
фартужок окáпала.
Когда вышли на мороз,
у ней фартужок замерз.

Я вплетала, вплетать буду
в кóсу ленту красную.
Я терпела, терпеть буду
славушку напрасную.

Миленький милёночек
построил новый домичек.
Он построил-подрубил,
меня навеки загубил.

Я сломлю, сломлю
в полюшке прутинку.
Полюблю я, полюблю
мальчишку-сиротинку.

Милой, счастье потеряешь,—
меня замуж не возьмешь.
Я один годок поплачу,
ты — навеки пропадешь.

Сходи, мама, на базар,
купи золотые бусы:
Выйду замуж за солдата
выдергаю ýсы.

Я у мамки корки ела, —
за работой песни пела.
У свекрови чай пила, —
за столом слёзы лила.

Еко горе муж Григорий!
Хоть бы хуже, да Иван.
Вы не смейтеся, девчонки,
не привел бы Бог и вам.

Я чесала русу косу, —
ехал милой с сенокосу.
«Погляди-ко, батюшко,
не твой ли это зятюшко?»

Маменька неродная —
похлёбочка холодная.
Кабы рóдная была —
Щец горячих налилá.

На горе стоит аптека,
любовь сушит человека.
Не любила — была бела;
полюбила — побледнела.

Кабы, миленькой, не ты, —
была бы я без сухоты.
Пришла бы я с работушки,
легла бы без заботушки.

Ешь, коровушка, соломушку,
не думай о траве.
Мо-ёт миленькой далёко,
на чужой на стороне.

Пойду, схожу нá реку, —
налопаюсь чаю.
Повезут дружка в солдаты, —
все причёты знаю.

Не умóлила девица
Вышнего Создателя:
на четыре годика,
видно, обсолдатела.

Матушки-воробышки,
летите выше нéбушки, —
летите выше небушка,
где живет зазнобушка.

Стой, машина! Стой, вагон!
Пошлю милому поклон...
Я с поклоном подошла, —
машина свистнула-пошла.

Коковали две кокушки
в полюшке на камешке.
Горевали две подружки
по дружке Иванушке.

Огород на глинушку
посажу рябинушку.
Завлеку, любить не буду:
пущаи ходит зимушку.

Когда миленький ходил,
тропинки были торные.
Ходить милый перестал, —
теперь грязи полные.

Я пила холодну воду
из ведёрка кружкой.
Не за мной миленок ходит, —
за моей подружкой.

Увезут в солдатушки
от болезной матушки.
От болезной матушки
не хочется в солдатушки.

Вот в солдатушки везут,
трезвы ноженьки нейдут.
На лошадке отвезут,
на лошадке каренькой, —
не простился с маминькой.
На лошадке сивенькой —
не простился с миленькой.
На лошадке воронóй,
не ворочусь я домой.

Через кочку, через пень,
через колотушку
целовали девки нас
в самую макушку.

Моя мúла, — как кобыла,
круглолица, — как овца.
Губы тóненьки-тонéньки,
как у мерина коленки.

У моей-то у милой
брови черные дугой,
сарафанчик голубой,
сопли тянутся вожжой.

Уж ты, милая моя,
рукоделенка была:
рукоделенка была,
под подолом замела,
Сарафаны шилом шила,
топором лапшу крошила.

Ой, теща моя, доморощенная,
на тебе шуба новá, не вороченная.
Буду тещу любить, буду шубу носить,
буду шубу носить, — поворачивати,
буду тещу любить, — поколачивати.

ИСКУССТВО

Графика. Живопись. Скульптура.

ТЯЖЕЛА ОПАЛА...

памяти Степана Писахова

Никогда за свою жизнь я не встречал живописных полотен Степана Григорьевича Писахова в иллюстрированных периодических изданиях. Так что расширенная публикация его работ в «Слове», возможно, в своем роде первая. Хотя Степан Григорьевич прожил долгий век (переступил рубеж восьмидесяти лет), а в октябре этого года в Архангельске весьма скромно отметили уже 110-ю годовщину со дня его рождения.

Почему же Степан Григорьевич, столь известный сказочник, малоизвестен, как художник, хотя каждый, посмотрев его работы, согласится, что живописец он весьма одаренный. Его картины наполнены светом белых ночей, колоритны, неожиданно многоцветны для северных краев и фантастичны (серия «Сны» и «Церковь, путь к которой потерян»). И везде психологически удивительно тонко передана одинокость человеческой души в этом полярном и приполярном безлюдье. Но одинокость одухотворенная, когда душа ищет покоя и восстановления, когда она ищет полной гармонии с этой магически молчаливой природой.



В кругу семьи.

И не один Писахов постигал эту одинокость души, искал символы ее в одиноких цветах, много раз повторяемых одиноких соснах, сиротливо торчащих айсбергах и амбарах, церквушках и крестах, легкокрылых одиноких парусниках, парящих в дымке тускло мерцающих горизонтов... Не за этим ли приезжали на Беломорье Коровин и Архипов, Кончаловский и Преображенский, Стожаров и Попков... Не это ли открывали северяне Борисов и Тыко Вылко...

И все же Писахов — певец северного пейзажа, пожалуй, стоит от них несколько особняком. Он больше постиг в таинственно-фантастичной красоте Севера. Не прошло даром и его архангельское детство, и дальние поездки на Карское море, Новую Землю, длительные экспедиции на Печору, Мезень, Пинегу... Да и его высокая художническая культура, которую он постигал в знаменитом петербургском училище барона Штиглица, а потом и в частных школах Л. Е. Дмитриева-Кавказского и Я. С. Гольдблата, поскольку из училища был исключен за участие в студенческих манифестациях 1905 года. А еще несколько зим он провел в Риме и Париже в усердных занятиях живописью. Паломником побывал в Иерусалиме, Египте, Константинополе... Он хорошо знал европейскую живопись и культуру...

Его выставки уже тогда, в начале века, имели успех в Архангельске, Петербурге, Москве... Репин приглашал его работать в свою мастерскую.

Но всего дороже на свете ему был родной край. Он писал: «Возвращаясь домой, я полнее чувствовал красоту Севера». И спешил ее запечатлеть. Он написал сотни картин и этюдов, среди них — достойные собраний Русского музея и Третьяковки... Но они туда по трудным превратностям судьбы не попали, потому как и до сих пор Писахов опальный художник и оклеветанный человек... Он был лишен возможности выставляться широко, поскольку выставки требуют большого понуждения властей... Вот книги, с ними както легче, они скорее находят выход — они не столь заметны. А выставка,

да хорошая — это слава художнику. Такое не проходит незаметно, даже в провинциальном городе.

Что же Писахов совершил такое, что и по нынешним временам местные (областные и городские) власти настороженно сдержаны, немногословно угрюмы в ответах и однозначно упрямы в снятии опалы с художника?

Обратимся к истории, к воспоминаниям очевидца.

«Конец мая (1918 г. — от ред.), сопровождавшийся дивной солнечной погодой, совпал с периодом чрезвычайного подъема настроения в населении Архангельска, в связи с прибытием английских войск, состоявших из добровольцев. Весь город разукрасился союзными флагами, протянувшимися пестрой лентой от красивой набережной Северной Двины по широкому, уже пестревшему зеленью садов Троицкому проспекту (главная улица Архангельска), до самой Соломбалы, где англичане должны были временно расположиться перед отправлением на фронт. На Соборной площади, недалеко от памятника Петру Великому, была воздвигнута грандиозная арка с надписью «Welcome» (добро пожаловать). Почетный караул от 1 Сев. стрелк. полка с хлебом и солью встретил высадившихся на самой пристани.

У арки они были приветствованы Городским Головой Багриновским, а затем началось их триумфальное шествие мимо шпалерами выстроенных русских войск, учебных заведений и административного персонала всех учреждений Архангельска во главе с Временным правительством.

Население встречало с энтузиазмом проходившие части, которые были составлены из отборных элементов и производили самое лучшее впечатление своим здоровым молодцеватым видом, военной выправкой и новым обмундированием...»

Простите за пространную цитату из воспоминаний С. Добровольского, находившегося в те годы во главе военно-судебного ведомства Северной области («Архив русской революции», т. 3, стр. 30, издание Г. В. Гессена, Берлин, 1922 г.), но привести ее было необходимо, поскольку в числе этого стоявшего шпалерами радостного народа на парадной пристани Архангельского порта и на Троицком проспекте был и Степан Григорьевич Писахов. Он сочувствовал эсерам и Временному правительству Северной области, куда эсеры также входили. И по той поре желал видеть в своем городе не диктатуру большевиков, а объединение всех демократических сил. Он был одним из многих тысяч архангелогородцев, с энтузиазмом встречавших усиление власти Временного правительства.

Хотя он скоро понял свою ошибку и еще при власти Временного правительства выступил против английских интервентов, против их зверства и оккупации, однако, как оказалось потом, это уже не имело никакого значения.

Именно этот майский день 1919 года стал днем его мнимого предательства в глазах вернувшихся в Архангельск большевиков. Среди них нашлись люди, которые через много лет, когда он был уже известным сказочником и художником, из зависти, мелкой мести стали писать пасквили во все инстанции. И скоро легенда о встрече интервентов с хлебом-солью выросла уже в его шпионаж в их пользу...

Я был знаком со Степаном Григорьевичем и знаю, что при жизни он относился к своему опальному положению иронично-терпеливо, нес свой «крест» гордо, с достоинством, не прося ничего у обидчиков... Но тем этого было мало, они напоминали о себе, добиваясь от начальства новых ограничений в его жизни и деятельности. Случалось, что он тяжело бедствовал, голодал, и кто знает, как бы протянул свой долгий век, если бы не заботы сестры Серафимы Григорьевны, которая долгие годы жила с ним одним домашним очагом... Он и умер опальным...

Уже после его смерти, когда мы подросли, принялись бить тревогу. Но несмотря на неоднократные выступления центральной печати в застойные времена по поводу попыток замолчать заслуги С. Г. Писахова в литературе и искусстве, принизить, а иногда и оскорбить память о нем, реакция архангельских властей была однозначной: они вновь повторяли недоказанные байки о шпионаже... Опираясь на эти домыслы, власти снесли дом — мастерскую Писахова на улице Поморской, где он прожил всю свою жизнь многотерпца, где создал многие из своих прекрасных сказок и полотен...

Он и сам не надеялся на персональную выставку при жизни, хотя и очень желал этого. И вот через двадцать девять лет после его смерти все-таки случилось. Она была открыта в центре Архангельска, рядом с его бывшим, варварски уничтоженным, домом...

Архангельский музей изобразительных искусств на сей раз расстарался, снял у Дома пропаганды Архангельского отделения ВООПиК два небольших зальчика и выставил десятка три картин и этюдов, приурочив выставку к юбилею С. Г. Писахова.

Скромная выставка, тихая, без афиш и прессы, но архангелогородцы о ней узнали и пошли посмотреть своего знаменитого художника-сказочника и изумились его искусству... Порадовались и мы, воспользовавшись выставкой, чтобы показать нашим читателям (хотя бы в репродукциях) картины художника, а иначе их из запасников и не достанешь...

Выставка меня, конечно же, обнадежила, и я стал расспрашивать земляков, а как широко, наконец-то, будет отмечен юбилей Степана Григорьевича. Но в ответ, несмотря на новые времена, опять услышал постылые кивоки в прошлое...

У меня душа перевернулась от бесстыдства властей. Они уже много-много лет знают, что ни в каком шпионаже он не замешан, нет тому никаких ни прямых, ни косвенных свидетельств, кроме злобно-завистливых пасквилей некоторых участников борьбы на Севере, написанных через много лет после 1919 года, когда Писахов уже был и членом Союза писателей, и членом Союза художников, когда он много лет терпеливо и трудолюбиво отработал учителем в нескольких архангельских школах, снискав огромную любовь своих учеников, а творчеством своим — признание выдающихся писателей и художников страны...

Но мы-то ныне знаем по многим и многим публикациям цену подобным «свидетельствам» некоторых участников революционных боев... Как их можно принимать по сей день на святую веру...

Однако, зная о черной молве, и сама общественность Архангельска ни разу публично не восстала против такого произвола и не потребовала от властей сколько-нибудь внятных объяснений.

А власти столь равнодушны, что палец о палец не ударили, когда группа писателей-земляков, ныне живущих в Москве, обратилась к ним в мае 1988 года с просьбой немедленно рассмотреть вопрос о восстановлении доброй памяти писателя и художника Писахова, который ни под судом, ни под следствием не бывал...

Можно ли так жить?! Наступило время, когда общественность Архангельска и России должна потребовать от областных и городских властей официального решения вопроса о невиновности С. Г. Писахова с публикацией этого решения в печати.

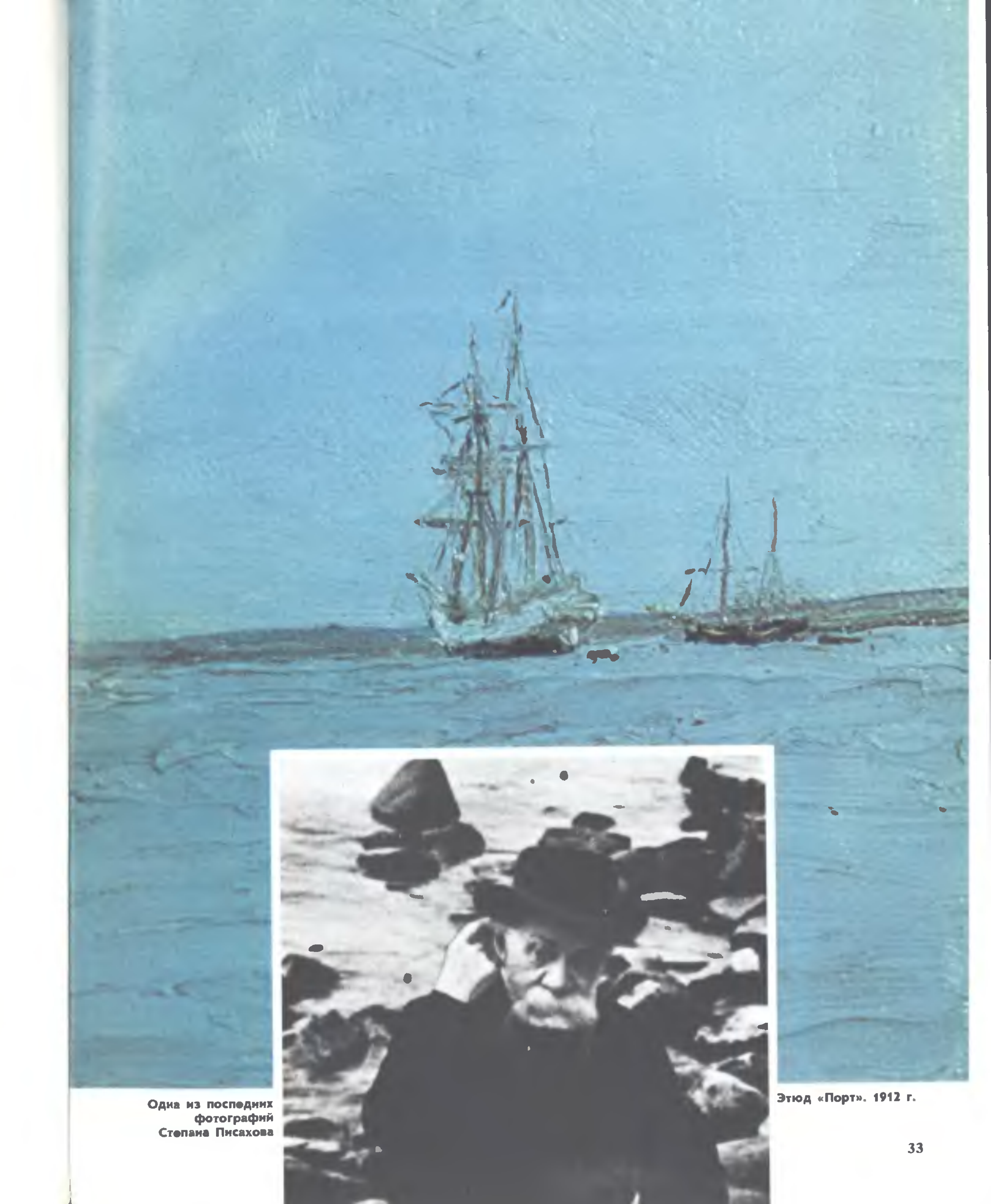
Сколько можно чернить выдающегося художника и писателя. Пора, давно пора восстановить добрую память, отданную на поругание людьми ленивыми и себялюбивыми, которым до правды и истины дела нет...

Не мог я не сказать этих горьких слов, поскольку душа изболелась от смрадной несправедливости.

Пусть утешением вам, дорогие читатели, будут беломорские пейзажи, которые так любил Степан Григорьевич и творил их без устали для нас, неизменных почитателей его таланта. И пусть у нас у всех останется надежда, что злому делу настанет конец. Иначе чем же нам жить?!

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

ОКТЯБРЬ 1989
АРХАНГЕЛЬСК — МОСКВА



Этюд «Порт». 1912 г.

Одна из последних фотографий Степана Писахова



Беломорье. Село Лопшеньга сегодня, где неоднократно бывал на этюдах С. Г. Писахов.

Репортаж из Архангельска, села Лопшеньги и с выставки С. Г. Писахова снял кинооператор и фотомастер Виктор Коноплёв.

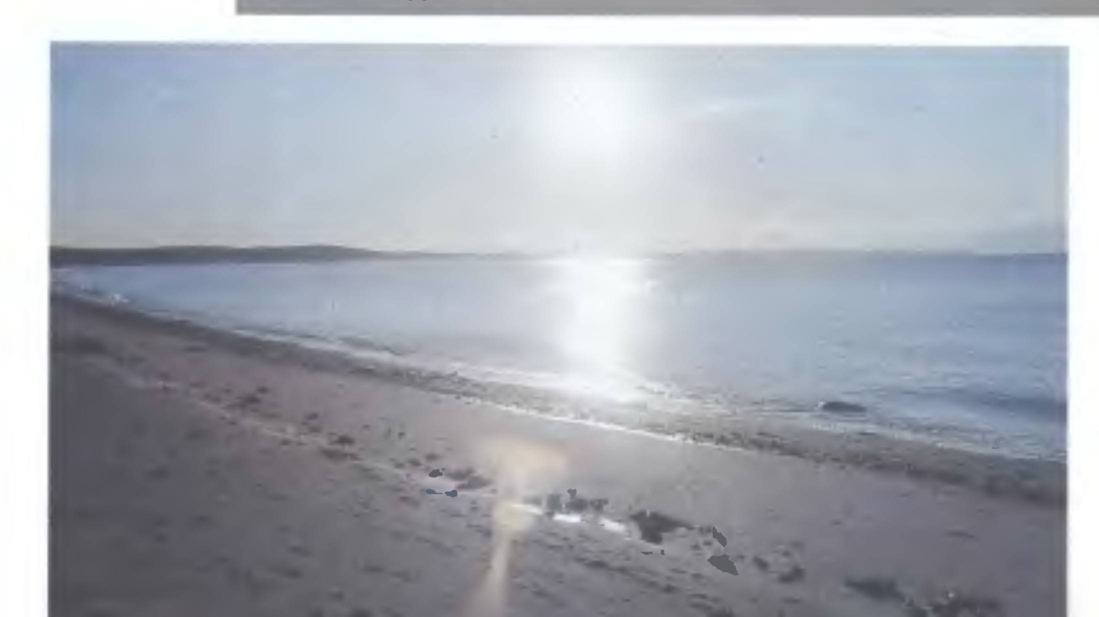




Этюд «Парусники». 1910-е годы.



Этюд из серии «Сны». 1912 г.









Этюд. Без названия.

СТЕПАН ПИСАХОВ

Как художник я пейзажист. Мне надо вжиться, слышать окружающее. В давние годы я сначала писал «для тетушек». Проходило первое время — написанное «для тетушек» шло в печку.

В 1905 году (Вас на свете не было или уже существовали?) на Новой Земле ночью я брел с этюдником. Лето во второй половине было, в полночь солнце стояло близко к воде. Лучи солнца пронизали все травки, все цветочки. Все засветилось изумрудами самоцветными! Камешки, поросшие цветными лишаями, походили на куски золотой парчи, затканной шелками!

...Трудно сказать: люблю музыку — музыка мне нужна для работы, для внутреннего восстановления. Могу работать, когда, вспоминая, слышу музыку. Если заставлю себя работать без слышания музыки (вспоминая) — испорчены краски. Люблю серьезную музыку. Я больше вижу, чем слышу.

Фантастика — мир другой. Все крутится узором. На песне могу ехать, плыть, лететь!

«Песня старинная, длинная с выносом!». Вскочил на песню, и понесло меня все выше, выше! Девки петь перестали, по делам разошлись, а песня звенит и несет меня...

Одно дело придумать, другое дело — видеть.

«На конце иглы 20 тысяч фигур залихватски пляшут». Придумано, а нарисовать? Примеру этому тысячелетия.

(Из письма поэту Я. З. Шведову, 1 октября 1949 г.).

СТЕПАН ПИСАХОВ

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Большое спасибо за приветное слово. Боюсь, что оно не ко мне адресовано. Не был я в Пенатах. На выставке Илья Ефимович (Репин — ред.) хорошо отнесся к моим работам. Ему особо понравилась «Сосна, пережившая бури». Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты.

«Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне, в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить. Хватит. Если очень захотите мяса — сварят!»

Товарищи поздравляли, зависть не скрывали. А я... не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать. В 1928 году в Москве была моя персональная выставка картин...

(Из письма искусствоведу М. В. Бабенчикову, 3 августа 1956 г.).







Красная пристань сегодня, откуда С. Г. Писахов много раз уходил на парусниках и пароходах в арктические путешествия.

Интерьер выставки.



Староверское Иванушкино кладбище. 1911 г.

СТЕПАН ПИСАХОВ

Дорогой Юрий Павлович!

Спасибо Вам большое, сердечное за поддержку. Время подходит к концу... При моем большом желании подождать до 2000-го года...

Само собой является мысль: пора подводить итоги. Ваше приветственное слово дало, не стану скрывать, большую радость. Ведь юбилей, пожалуй, будет отмечен.

Мой друг, скульптор Иван Ефимов, отпраздновал свое совершеннолетие и на другой день... А какой кряж был!

Меня радуют мои ученики. Приветом при встрече, письмами. Хочется сказать о некоторых. Юрий Данилов после десятилетки пошел в Академию. Ему сказали — не было случая, чтобы после гимназии или десятилетки без пятилетней подготовки попадали в Академию. Юрий был принят. Окончил Академию.

Игорь Васильев хотел попасть в Академию худ. Партия послала в военную Академию. С Партией не спорят. Сейчас Игорь в студии Грекова.

Георгий Мосеев из Ленинграда написал: «Вы сделали меня большим художником».

Я терпеливо объяснил примером: хороший голос учитель может сорвать. Я рад: удалось подтолкнуть на верный путь. Довольно перечислять.

А при встрече группа детей:

— Привет нашему художнику!

Выдвинулся детина:

— Позвольте за всех ребят пожать руку.

— Я хочу всем ребятам пожать руку.

Получилось хорошо: каждая рука втиснула запас жизни.

В гололедицу трудно ходить — всегда найдется рука подхватывающая...

Заболела нога, трудно подыматься в трамвай — всегда подымают.

Не в оговор сказать, ласково провожают.

(Из письма писателю Ю. П. Казакову, предположительно в конце 50-х годов).

Обрадовали отзывом о сказках. Заканчивая свой путь (скоро 70), я с обидой думаю о сказках: их и при мне часто присваивают себе разные эстрадники или объявляют народными, где-то будто бы мною записанными. Мой дед-сказочник умер до моего появления, его сказок никто не упомнил. Язык моих сказок — язык людей, с коими жил, рос.

Поговорки, загадки помнятся. Помню одну — ее в печать не пустят, а вспомнил и скажу Вам, как образец безобидных и для городского слуха мало приемлемых:

«Виловато-коряковато,
Тянут ево на пердяковато».

Отгадка — брюки. А от этой простой и совсем скромной загадки шарахаются.

Кстати, никогда в моих рассказах, сказках не бывает, «чего говорить не подобает».

Вы говорите: собрать, издать большим тиражом.

Представил я Арх. изд. около 90 сказок. Читали два года, выкидывали, вычеркивали. Оставили десять. Из набора выкинули еще одну. А все-таки вышло! Хоть девять, а вышли!

Эстрадники рассказывают, а ком. по охр. авт. прав «не имеет сведений».

Много сказок начатых и... уведших. Начнут «маститые» писатели, «снисходя», милостиво спрашивать допросно, что пишу? В простоте я и скажу. Какое-либо фырканье, сожалительная усмешка и — сказка оборвана.

Сказки — не то, что писать о чем-либо знаемом. Там только надо обсказать. В сказке часто не знаю, как повернется узор. Столько соблазнов! Будто зазывают в разные закоулки, полянки. Бывает, что плету одну, а рядом вьется другая сказка. Иногда теряется, а порой и попутно удается на бумагу уложить. Пока сказка вьется, пока вся еще не сказана, узор еще не совсем готов и нет последнего слова, сказка хрупка. Законченную торопятся назвать народной! «Мороженые волки» даже украинской (!) зовут (в отзыве П. Е. Безруких).

(Из письма писателю И. С. Соколову-Микитову, 30 августа 1949 г.).



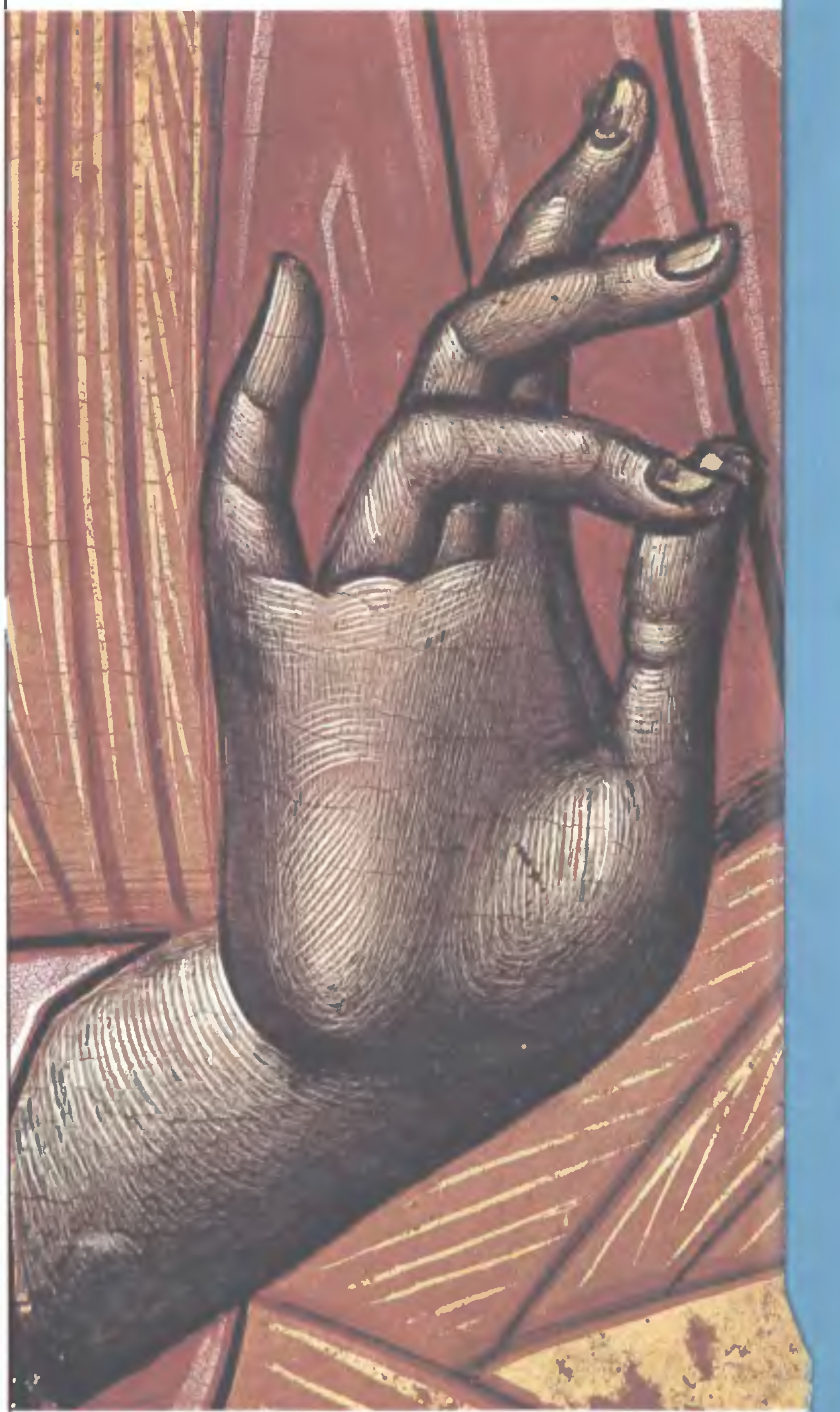
Скульптурный портрет С. Г. Писахова работы В. А. Михалева. Выполнен с натуры в 50-е годы.

ИСТОКИ

Легенды.
Исследования.
Находки.



Христос на троне. Византийская средневековая икона. Деталь.



ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Но, без сомнения, это не было его первой мыслью[1]. Удивительная мораль, выводимая им из понятия Бога-отца, вовсе не представляет морали энтузиастов, считающих мир накануне гибели и приготовляющихся путем аскетизма к химерической катастрофе; это — мораль мира, который жил и хочет жить. «Царство божие внутри вас есть», — говорил Иисус тем, кто тщательно искал внешних признаков. Реалистическое представление божественного пришествия было лишь облаком, мимолетною ошибкою, которую заставила забыть смерть. Иисус — основатель истинного царства Божия, царства кротких и смиренных, — вот Иисус первых, ясных и безмятежных дней, когда голос его Отца раздавался в его груди самым чистым звуком. Тогда было несколько месяцев, год, быть может, когда Бог поистине жил на земле. Голос молодого плотника получил вдруг необычайную прелесть. Бесконечным очарованием дышала вся его личность, и те, кто видел его до этого, более не узнавали его. У него не было еще учеников, группа, теснившаяся около него, не являлась ни сектой, ни школой, но в ней уже чувствовался общий дух, что-то проникновенное и приятное. Любезный характер Иисуса и его обаятельный образ, появляющийся иногда в иудейской расе, создавали вокруг него как бы волшебный круг, откуда никто из этого блвгодушного и наивного населения не мог ускользнуть.

Рай на самом деле был бы перенесен на землю, если бы идеи молодого учителя не преступили границ умеренной доброты, выше которой до сих пор не мог подняться род человеческий. Братство людей, идея о «сыне божием» и нравственные последствия, вытекавшие из этого, были выведены с изысканным чувством. Иисус, почти не склонный — как и все современные ему раввины, — к продолжительным рассуждениям, заключил свое учение в сжатые афоризмы, в выразительной, иногда загадочной и странной форме. Некоторые из этих поучений исходили из Ветхого Завета. Другие принадлежали более новым мудрецам, особенно Антигону Сокосскому, Иисусу, сыну Сирахову, и Гиллелю. Они дошли до Иисуса не вследствие научного изучения, а как часто повторявшиеся пословицы. Язык синагоги был богат очень удачно выраженными нравоучительными изречениями, составлявшими род ходячей поговорочной литературы. Иисус воспринял почти все это изустное образование, но проникнул его высшим духом. Превзойдя обыкновенные обязанности, налагаемые Законом и древними, он желал совершенства. Все добродетели: кротость, прощение, любовь, самоотвержение, суровость к самому себе, добродетели, которые по справедливости названы христианскими, — если этим хотят сказать, что они были на самом деле проповеданы Христом, — находились в зародыше в этом первом учении. Относительно справедливости, Иисус довольствовался повторением распространенной аксиомы: «не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали тебе самому»[2]. Но эта старая мудрость, еще довольно эгоистическая, не удовлетворяла его. Он шел к крайностям. «Если кто-нибудь ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Если кто захочет судиться с тобою за рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». «Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». «Любите ваших врагов, творите добро ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». «Не судите, да не судимы будете. Прощайте и простится вам. Будьте милосердны, как милосерд Отец ввш небесный. Давать лучше, чем получать». «Тот, кто смиряется, будет возвышен; кто возвышает себя, будет унижен».

Что касается милостыни, сострадания, добрых дел, кротости, миролюбия, полного сердечного бескорыстия, то Иисус мало прибавил нового к учению синагоги. Но он придал им полный трогательности оттенок, делавший новыми изречения, изобретенные уже давно. Мораль не слагается из более или менее хорошо выраженных принципов. Поэзия заповеди, заставляющая любить ее, — больше самой заповеди, взятой как отвлеченная истина. Евангельская мораль, мало оригинальная свма по себе — если этим хотят сказать, что ее можно было бы почти целиком составить из более старых максим, — тем не менее есть высочайшее творение, какое только выходило из человеческого сознания, прекраснейший свод совершенной жизни, какого не наметил ни один моралист.

Иисус не говорил против Моисеева Закона, но ясно, что он видел его недостаточность и давал понять это. Он беспрестанно повторял, что нужно делать больше, чем говорили старые мудрецы. Он запрещал малейшее жестокое слово, он не позволял ссор и разных присяг, он порицал возмездие, он осуждал ростовщичество и считал сладострастные желания столь же преступными, как и прелюбодеяние. Он хотел всеобщего прощения обид. Мотив, которым он подкреплял эти правила высокой любви, был всегда один и тот же: «...для того, чтобы вы были сынами Отца вашего небесного, Который заставляет всходить солнце над добрыми и злыми». «Если вы любите, — прибавлял он, — только ваших братьев, то что в этом? Язычники так поступают. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».

---

[1] Матф., V, 10; VI, 10, 33; XI, 11; XII, 28; XVIII, 4; XIX, 12; Марк., X, 14, 15; XII, 34; Лука, XII, 31. — Перев.

[2] Эта мысль есть уже в книге Товии. — Перев.

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.).*

Продолжение. Начало в №№ 8—10. Произведение публикуется полностью.

Чистая религия — без священников и наружных обрядов, вся построенная на чувствах сердца, на подража
нии Богу и на непосредственном общении совести с Отцом небесным, — вот следствие этих принципов. Иисус
не отступил перед этим смелым выводом, делавшим из него крайнего революционера в иудействе. К чему по-
средники между человеком и его Отцом? Для чего Богу, видящему только сердце, эти очищения, эти обряды,
касающиеся лишь плоти?[1] Даже предание, столь священное для иудея, ничто в сравнении с чистым чувством.
Ханжество фарисеев, поворачивавших во время молитвы голову, чтобы узнать, смотрят ли на них, с шумом
творивших милостыню и делавших на своих платьях значки, которые заставляли узнавать в них благочести
вых людей, все эти кривлянья лживой набожности возмущали Иисуса. «Они получили уже свою награду, —
говорил он, — ты же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы ми
лостыня твоя осталась втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не подра-
жай лицемерам, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы люди видели их.
Истинно говорю, что они уже получают награду свою. Ты же, когда хочешь молиться, войди в свою комнату
и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, услышит тебя. А мо-
лясь, не говори длинных речей, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Бог,
Отец твой, знает, в чем ты имеешь нужду, прежде твоего прошения у него»

Иисус не обнаруживал ни капли внешнего аскетизма, довольствуясь молитвою или скорее размышлением
на горах и в уединенных местах, где человек всегда искал Бога. Это высокое понятие об отношениях человека
к Богу, до которого могли возвыситься немногие, даже из близких к Иисусу, резюмировалось в одной молитве,
которой он учил с тех пор своих учеников: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя твое; да приидет цар
ствие твое; да будет воля твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого»[2].

Иисус особенно настаивал на той мысли, что Отец небесный знает лучше нас, что нам нужно, и что его пря
мо оскорбляют, прося у него ту или иную определенную вещь

В данном случае Иисус только выводил следствия из тех великих принципов, которые утвердило иудейство,
но которые официальные классы все более и более старались не признавать. Никогда языческий жрец не го
ворил правоверному: «если принося твой дар на алтарь, ты вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против
тебя, то оставь свой дар пред алтарем и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар
твой». В древности иудейские пророки, в особенности Исаия, предугадывали в своей антипатии к священству
истинную природу культа, которым человек обязан Богу: «что нужды во множестве ваших жертвоприноше
ний? Я насытился ими; от жира ваших баранов тошнит меня; ваш фимиам надоедает мне, ибо руки ваши пол
ны крови. Очистите ваши мысли; перестаньте делать зло; научитесь добру, ищите правосудия и тогда прихо-
дите»[4]. В последние времена некоторые книжники — Симеон праведный, Иисус, сын Сираха, Гиллель почти
достигли цели и провозгласили, что справедливость выражала собою весь Закон. Филон, в иудейском мире
Египта, пришел в то же время, как и Иисус, к идеям высокой нравственной святости, результатом которых
было пренебрежение к предписанным законом обрядам. Шемаия и Автолион несколько раз также показыва-
ли себя очень либеральными казуистами. Раввин Иоханан вскоре должен был поставить дела милосердия выше
изучения самого Закона! Тем не менее, только один Иисус высказал это ясно. Невозможно было быть жрецом
менее Иисуса и больше его врагом обрядов, душащих религию, под предлогом покровительства ей. Поэтому
мы все — его ученики и продолжатели; поэтому он положил вечный камень — основание истинной религии;
и если религия есть существенное дело человечества, то за это Иисус заслуживает божественного достоинства,
ему присужденного. Абсолютно новая идея — идея о религии, основанной на чистоте сердца и на человече-
ском братстве, вошла чрез него в мир. Эта идея была настолько возвышенна, что христианская церковь в этом
случае обманула намерения Иисуса, и в наши дни только немногие способны поступать согласно с ней.

Изысканное чувство природы каждое мгновение доставляло Иисусу возможность пользоваться яркими об-
разами. Иногда его изречения оживляла замечательная тонкость, которую мы называем остроумием; иногда
их живая форма зависела от счастливого употребления народных пословиц: «Как можешь ты говорить твоему
брату: позволь мне вынуть соломинку из твоего глаза, когда ты имеешь в своем бревно? Лицемер, вынь сперва
бревно из своего глаза и тогда думай о том, чтобы вынуть соломинку у брата твоего».

Эти наставления, заключенные в сердце молодого учителя, сгруппировали уже около него кучку посвящен
ных. Дух времени проявлялся в образовании небольших церквей; это было время ессеев и терапевтов. Раввины
Шемаия, Абталион, Гиллель, Шамаи, Иуда Голонит, Гамалиил, каждый со своим учением, и масса других,
чьи нравоучительные изречения составили Талмуд, появились со всех сторон. Писали очень мало; иудейские
книжники этого времени не составляли книг: все выражалось в беседах и публичных поучениях, которым ста
рались придать легкий оборот, для удержания в памяти. День, когда молодой назаретский плотник начал про
поведовать эти учения, уже распространенные в массе, но долженствовавшие, благодаря Иисусу, возродить
мир, не явился событием. Кроме того, это был раввин (правда, самый очаровательный), и вокруг него несколь-
ко молодых людей, жаждущих слышать его и ищущих неизвестного. Чтобы победить человеческую невнима
тельность, необходимо время. Еще не было христиан; однако истинное христианство было основано, и никогда,
конечно, оно не было более совершенным, чем в это первое время. Иисус не прибавит уже к этому ничего проч
ного. Что говорю я? В известном смысле он скомпрометирует свое дело: ведь всякая идея ради своего успеха
нуждается в жертвах. Никогда не выходят незапятнанными из жизненной борьбы.

В самом деле, понимать добро недостаточно; нужно заставить его преуспевать среди людей. Для этого не-
обходимы менее чистые пути. Конечно, если бы евангелие ограничивалось несколькими главами от Матфея
и Луки, оно было бы более совершенным и не давало бы теперь поводов к стольким возражениям... Но обрати
ло ли бы оно мир без чудес? Если бы Иисус умер в тот момент своей проповеди, в который мы его застали, в
его жизни не было бы такой страницы, которая оскорбляет нас; но более великий в глазах Бога, он остался бы
неизвестен людям; он потерялся бы в толпе великих неизвестных людей; правда не была бы обнародована, и
мир не воспользовался бы неизмеримым нравственным величием, данным Иисусу его отцом. Иисус, сын Сира-
ха, и Гиллель пустили в оборотах столь же высокие изречения, как и афоризмы Иисуса. Однако Гиллель ни-
когда не будет считаться истинным основателем христианства. В морали, как и в искусстве, сказать — это ничто,
сделать — это все. Идея, скрывающаяся в картине Рафаэля — безделица. Значение имеет только одна карти-
на. Так же и в морали: истина имеет только незначительную ценность, пока она заключается в чувстве, и только
тогда получает всю свою цену, когда она реализуется в виде дела. Люди посредственной нравственности напи
сали много очень хороших нравственных правил. С другой стороны, весьма добродетельные люди ничего не
сделали для продолжения в мире традиции добродетели. Пальма первенства принадлежит тому, кто был велик
и в словах и в делах, кто понимал добро и ценою своей крови заставил восторжествовать его. Иисус, с этой
двойной точки зрения, находится вне сравнения: слава его остается неприкосновенной и будет вечной.

[1] Матф., XV, 11 и сл.
[2] Марк. VII, 6 и сл. — Перев
[3] Т. е. дьявола, — понимаемого, как дух зла, по идеям времени — Перев
[4] Исаия, I, 11 и сл. — Перев

ГЛАВА V

Иоанн Креститель. — Путешествие Иисуса к Иоанну и его пребывание в Иудейской пустыне. — Иисус принимает крещение от Иоанна

К этому времени появился, и, несомненно, был в сношениях с Иисусом, необыкновенный человек, роль ко-
торого по недостатку документов остается для нас не вполне выясненной. Эти сношения вели скорее к тому,
чтобы заставить юного назаретского пророка уклониться с его пути; но они внушили ему несколько важных
аксессуаров для его будущей религии и, во всяком случае, дали ученикам Иисуса очень большой авторитет в
смысле рекомендации своего учителя в глазах известного класса иудеев.

К 28-му году нашей эры (в 15-й год царствования Тиверия) по всей Палестине распространилась слава о
некоем Иоганане, или Иоанне, молодом, полном пылкой страстности, аскете. Иоанн происходил из священ
нического сословия и родился, как надо думать, в Ютте, близ Хеврона, или в самом Хевроне. Хеврон, по пре
имуществу патриархальный город, был расположен в 2-х шагах от Иудейской пустыни и в нескольких часах
пути от великой аравийской пустыни. Он был тогда, как и теперь, одним из оплотов монотеизма, в его наибо
лее суровой форме. Иоанн с самого детства был *назиром*, т. е. подчиненным по обету некоторому воздержанию.
Его рано привлекла пустыня, которой он был, так сказать, окружен. Он вел там жизнь индийского *йоги*
(yogui), одетый в шкуры или в ткани из верблюжьего волоса, и питаясь только саранчой и диким медом. Вокруг
него группировалось некоторое число учеников, разделявших иоаннов образ жизни и обдумывавших его стро
гое слово. Можно было бы думать, что находишься на берегах Ганга, если бы особенные черты не указывали
в этом пустыннике последнего потомка великих израильских пророков

Как только иудейский народ начал, как бы с отчаянием, размышлять о своем назначении, народная фанта-
зия обратилась с большою надеждою к древним пророкам. Конечно, из всех лиц прошлого, воспоминание о
которых будило и волновало народ, как сны беспокойной ночи, самым великим был Илия. Этот исполин между
пророками, разделявший в своей суровой Кармельской пустыне образ жизни диких животных, живший во
впадинах скал, откуда он являлся, как молния, чтобы ставить и низлагать царей, — сделался, благодаря после
довательным превращениям, как бы сверхчеловеческим существом, то видимым, то невидимым, но не вкушаю
щим смерти. Верили вообще, что Илия хотел вернуться и восстановить Израиль. Суровая жизнь, которую он
вел, ужасные воспоминания, которые он оставил и под впечатлением которых жил еще Восток, этот мрачный
образ, приводящий в трепет и поражающий собою, и вся эта мифология, полная мести и ужаса — живо дей
ствовали на умы и являлись началом всех народных верований.

Всякий, кто стремился воздействовать на народ, должен был подражать Илии, а так как уединенная жизнь
была существенной чертой этого пророка, то на «божьего человека» привыкли смотреть, как на пустынника.
По общему представлению, все святые люди проводили свои дни в покаянии, суровом образе жизни и строгости.
Таким образом, удаление в пустыню сделалось условием и преддверием высокого назначения.

Нет никакого сомнения, что эта мысль о подражании сильно занимала Иоанна. Отшельническая жизнь,
столь противная духу древнего иудейского народа, вторглась со всех сторон в Иудею. Вблизи страны Иоанна,
на восточных берегах Мертвого моря, были сгруппированы ессеи или терапевты. Полагали, что главари секты
должны были быть пустынниками с собственными правилами и уставами, как подобает основателям религи
озных орденов. Учителя молодых людей также были иногда вроде анахоретов, довольно похожих на брамин-
ских *гуру*.

Основным нововведением, давшим секте Иоанна ее особенный характер и свое имя, было крещение или пол
ное погружение в воду. Омовения уже были известны иудейству, как и всем восточным религиям. Ессеи дали
им особенное распространение. Крещение сделалось обычной церемонией при введении прозелитов в лоно
иудейской религии[1], как бы посвящением в таинства. Однако, до нашего Крестителя погружению в воду ни
когда не придавали ни этого значения, ни этой формы. Иоанн выбрал сферой своей деятельности часть иудей
ской пустыни, соседнюю с Мертвым морем. Когда же он совершал акты крещения, он переносился на берега
Иордана, либо в Вифанию или в Бефабару, на восточный берег — вероятно, против Иерихо, либо в место, по
имени *Энон* или «Фонтаны» близ Салима, где было много воды. Там к нему собирались значительные толпы
народа, особенно из колена Иуды, и крестились у него. В несколько месяцев он сделался, таким образом, одним
из самых влиятельных лиц в Иудее, и все должны были считаться с этим. Народ считал его за пророка, и неко-
торые думали, что это был воскресший Илия. Вера в такие воскресения была сильно распространена; думали,
что Бог хотел вызвать некоторых из древних пророков из их могил, чтобы они служили вождями Израилю в
его окончательной судьбе. Другие считали Иоанна за самого Мессию, хотя он не выказывал такого притяза-
ния. Священники и книжники, противившиеся этому возрождению пророчества и всегда враждебные энту-
зиастам, презирали его. Но популярность Крестителя пугала их, и они не осмеливались говорить против него.
Это была победа, одержанная чувством толпы над жреческой аристократией. Когда первосвященников за
ставляли откровенно высказаться относительно Иоанна, то приводили их в большое затруднение.

Продолжение следует.

[1] Мишна, Pesachim, VIII, 8... Крещение по всем вероятиям было заимствовано с верхнего Востока. — Перев



ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИАРХУ ПИМЕНУ

письмо из «Самиздата»

ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПИСЬМО

СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКО!

Камнем гробовым давит голову и разламывает грудь еще не домершим православным русским людям — то, о чем это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал Ваше послание.

Защемило то место, где Вы сказали, наконец, о детях — может быть первый раз за полвека с такой высоты: чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это — и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но — что это? Почему этот честный призыв обращен только к русским эмигрантам? Почему только тех детей Вы зовете воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете «распознавать клевету и ложь» и укрепляться в правде и истине? А нам — распознавать? А нашим детям — прививать любовь к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерянную овцу, но все же — когда девяносто девять на месте. А когда и девяноста девяти подручных нет — не о них ли должна быть забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я должен предъявить свой паспорт? Для каких канонических надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Еще удивляться надо силе духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному душевному сопротивлению, с которым они проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному высмеиванью от невежд. Но на том иссякает настойчивость, на крещеньи младенцев обычно кончается все приобщение детей к Церкви, последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них, закрыт доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их неповторимого, чисто-ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать, и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в собственном миропонимании, — а вы, церковные иерархи, смирились с этим и способствуете этому, находя достоверный признак свободы вероисповедания в том. В том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, — только бы не заразилось им! — для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом.

Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю — вызволить настоящее, но — будущее нашей страны как же спасти? — будущее, которое составится из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании правота силы или очистится от затменья и снова засияет сила правоты? Сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности, и народ слушал бы голос ее, сравнимо бы с тем, как, например, в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей — крестьянами. Мы теряем последние черточки и признаки христианского народа — и неужели это может не быть главной заботою русского Патриарха? По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь имеет свое взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодушны все церковные документы, будто они издаются среди христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадет ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратить, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии?

Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным примером подтверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно представили ему то добровольное внутреннее порабощение — до самоистребления, до которого доведена русская Церковь: они просили указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было правда, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за правду — отвергли от богослужения. И Вы — не исправили этого по сегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей также осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня все так же сослан в монастырское заточение единственный бесстрашный архиепископ — Ермоген Калужский, не допустивший закрывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздалому остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964 годом в остальных епархиях.

Седьмой год как сказано в полную громкость — и что же изменилось? На каждый действующий храм — двадцать в запустении и осквернении, — есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, достояние птиц и кладовщиков? Сколько населенных мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двухсот километров? И совсем без церквей остался наш Север — издавнее хранилище русского духа, и, предвидимо, самое верное русское будущее. Всякое же попечение восстановить хоть самый малый храм, по однобоким законам так называемого «отделения Церкви от государства», перегорожено для делателей, для жертвователей, для завещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем, — а почему лишена Россия своего древнего украшения, своего лучшего голоса? Да храмы ли? — даже Евангелие у нас нигде не достать, даже Евангелие везут к нам из-за границы, как наши проповедники везли когда-то на Индигирку.

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Церковью? Все церковное управление, поставление пастырей и епископов (и даже — бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) все так же секретно ведется из Совета по делам. Церковь, диктаторски руководимая атеистами, — зрелище, не виданное за Два Тысячелетия! Их контролю отдано и все церковное хозяйство, и использование церковных средств — тех медяков, опускаемых набожными пальцами. И благолепными жестами жертвуется по 5 миллионов рублей в посторонние фонды, — а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу в бедном приходе не на что починить. Священники бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения еще пока доверяется им, и то не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище — надо спрашивать постановление горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее сохранение ее? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение — чем? Ложью? Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть, не всякие семь лет Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность — страшнее ответственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: жертву. Лишенный всяких материальных сил — в жертве всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда — бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Великий пост
Крестопоклонная неделя
1972

ПРИМЕЧАНИЕ

Письмо это долгое время ходило по рукам в «Самиздате», вызывая интерес не только у верующих, но и у всех, кого тревожат проблемы попранной свободы совести. Несмотря на определенные послабления в последние годы по отношению к церкви, многие трудности по-прежнему остаются. Этим и продиктовано наше желание познакомить с письмом А. И. Солженицына широкую общественность.

ОТ РЕДАКЦИИ



В Кавендише: Екатерина Фердинандовна (теща писателя), Солженицын, Мстислав Ростропович, жена писателя Наталья Светлова, его сыновья Ермолай и Игнатий.

ЛИТЕРАТУРА

Стихи. Рассказ. Эссе.

Борис Василевский в новом жанре.



стр. 55.



юбилей мастера

В истории русской, как дореволюционной, так и советской литературы пародия занимает заметное место. В нашем столетии периодом расцвета были 20—30-е годы, время острой литературной полемики и борьбы. Можно назвать ряд поэтов, успешно выступавших тогда в качестве пародистов. И самым известным из них стал Александр Архангельский (1889—1938).

Архангельский не сразу нашел свое место в литературе. Об этом свидетельствует вышедшая в Чернигове в 1919 году его первая книга «Черные облака», в которой были собраны стихи 1914—1918 гг. В них бросалась в глаза несамостоятельность начинающего поэта, перепевающего Блока, Сологуба, Ахматову... Заметим, однако, что проявившаяся здесь способность подражать другим поэтам, писать в их стиле очень пригодилась впоследствии Архангельскому-пародисту.

С 1922 года, со времени его переезда в Москву, Архангельский пишет многочисленные стихи, басни и частушки, рассказы и фельетоны, сценки, юморески, сатирические новеллы, стихотворные корреспонденции, выступая во многих газетах и журналах («Крокодил», «Лапоть», «Смехач» и др.).

Но свою настоящую дорогу Архангельский нашел, лишь обратившись к жанру литературной пародии. Объектом его критики являлись и прозаики-беллетристы (И. Бабель, Ф. Гладков, М. Зощенко, В. Катаев, С. Клычков, Л. Леонов, Ю. Олеша, Б. Пильняк, П. Романов, А. Фадеев, И. Эренбург), и драматурги (В. Вишневский, Ю. Олеша, И. Сельвинский), и фельетонисты (М. Кольцов, А. Зорич, Л. Сосновский), и литературоведы (К. Зелинский, М. Лифшиц, В. Шкловский и др.), и сами пародисты («Как писать пародии»). Он сумел спародировать даже «Список опечаток». И во всех этих бесчисленных разновидностях пародий всегда проявлялось неиссякаемое остроумие Архангельского, его безошибочный эстетический вкус и высокая требовательность к литературному качеству.

Отталкиваясь от одного определенного произведения, Архангельский обычно стремился охарактеризовать основные особенности всего творческого облика пародируемого поэта. Он сам говорил: «Хорошо пародировать всего писателя, а не его очередное произведение». С этой целью он иногда прибегал к тому, что один из критиков назвал «компиляцией отдельных мотивов из разных стихотворений данного поэта». В пародии на М. Светлова можно, например, встретить «цитаты» из «Гренады», из поэмы «Ночные встречи» и других стихотворений.

Пародия всегда основана на имитации стиля пародируемого писателя. «Сей род шуток, — писал Пушкин, — требует редкой гибкости слога, хороший пародист обладает всеми слогами». Архангельский всегда был на высоте этих требований. По признанию своих товарищей по перу, он «в совершенстве владел искусством перевоплощения», очень метко схватывал и передавал разные грани поэтики пародируемого автора: и ритмику, и лексику, и синтаксис. Виктор Шкловский имел основание сказать: «Я не знаю сейчас критика, обладающего таким точным чувством литературной формы, каким обладает Архангельский».

Разумеется, пародия представляет собой не просто имитацию, копирование. На обложке первого сборника пародий Архангельского было изображено улыбающееся лицо автора, причем один глаз был дан в резком увеличении, как будто увиденный сквозь лупу. Художнику удалось передать важнейшую особенность пародии — то, что она, говоря словами Маяковского, «не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». Пародия всегда основана на гиперболе, на заострении. Она представляет собой шарж, карикатуру, гротеск. И это делает ее смешной.



Однако смех Архангельского далеко не всегда добродушен. В современной литературной жизни Архангельский, пожалуй, больше всего не выносил халтурщиков и приспособленцев. Он высмеивал литературных спекулянтов, которые изготовляли вирши на любые календарные даты по одним и тем же трафаретам, используя один и тот же скудный запас рифм — вроде «день — народа — деревень — свобода» или «гнет — яры — вперед — коммунары», вышучивал изобразителей «героя пятилетки», у которого «грудь стальная, взгляд стальной».

Социально-идейная направленность присуща пародиям Архангельского не только на халтурщиков-ремесленников от литературы, но и на квалифицированных литераторов. В их произведениях он брал под обстрел не только те или иные особенности художественной манеры вроде формалистических, искусственных ухищрений лефовцев и конструктивистов или безвкусного злоупотребления всякими жаргонизмами и вульгаризмами, засоряющими язык, но и содержательно-эмоциональную сущность их творчества, их восприятие жизни.

Особую иронию вызывало у поэта легковесное бодрячество в претендовавших на актуальное политическое содержание малохудожественных стихах, скажем — А. Безыменского. Как известно, автор «Комсомолии» часто подменял изображение социальной действительности простым перечислением разных явлений и предметов.

Города. Города. Города.
Электричество. Нефть. Руда. (И так далее...)

В пародии «Ночь начальника политотдела» Архангельский тоже приводит подробный перечень, начинающийся с сеялок и веялок и заканчивающийся более мелкими предметами — тарелками и вилками. И все это сопровождается восклицанием: «Сколько в Республике нашей чудес!»

Несомненно, здесь осмеивается не только антихудожественный литературный прием, но и распространенный тогда примитивно-уродливый характер понимания того, что такое социализм.

В 20—30-е годы пародии Архангельского пользовались большой популярностью. Многие не устарели и сейчас. Не только потому, что в литературе не исчезли еще разные уродливые явления, против которых они были направлены. Бесспорно также историко-литературное познавательное значение пародий Архангельского. «Если собрать пародии в хронологическом порядке, — писал М. Светлов, — то можно в известной степени познать историю советской литературы». Тем удивительнее, что эти пародии на протяжении нескольких десятилетий не переиздавались.

В 20—30-е годы они выходили отдельными изданиями семь раз. Затем в 1946 г. появилась книга «Избранное», в 1958 г. — маленький сборничек в библиотеке «Крокодила». А после этого наступил тридцатилетний перерыв. Литераторы, писавшие об Архангельском, давно и не раз высказывали настоятельные пожелания о переиздании его пародий и выражали уверенность, что это будет настоящим подарком любителям литературы. Хорошо, что этот подарок наши читатели, наконец, получили: к 100-летнему юбилею писателя издательство «Художественная литература» выпустило книгу Александра Архангельского «Пародии. Эпиграммы», замечательно проиллюстрированную художниками Кукрыниксами.

Н. ТРИФОНОВ

ПАРОДИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО

К СЕЗОНУ ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДОК

Порою приятно исследовать мир
Не только по книжным страницам.
И наши поэты — partie de plaisir
Свершают по всем заграницам.
На новый, еще не изведанный румб
Маршрут променявши московский,
В Америку едет, как древле Колумб,
Маститый поэт Маяковский.
В Италию, в Рим, Муссолини на страх,
Спешат неразлучною парой —
Лирический Жаров с гармошкой в руках,
А Уткин Иосиф с гитарой.
Прозаики тоже не дремлют — шалишь!
Им путь не заказан под солнцем.
Никулин и Инбер стремятся в Париж,
Пильняк — к желтолицым японцам.
Зозуля свершает рекордный пробег
В родные края Бонапарта.
И пишут потом впечатленья для всех
Вдали от советского старта.
Одни предпочтенье статьям отдают,
Другие — возвышенной оде.
Родным и знакомым послания шлют
В таком приблизительно роде:

И. УТКИН

Милое детство
бывает сто раз.
Молодость —
повторима.
Тетя!
Пишу письмецо для вас
Прямо из самого
Рима.
Рим — это, знаете, —
город такой.
Около города Пармы.
Здесь на базаре
не городовой,
А прямо-таки
жандармы.
Здесь хотя и фашистский режим
И угнетаемых скрежет,
Но, к сожалению,
чтоб я так жил,
Теток пока не режут.
Вы понимаете?
Что за страна!
Это же прямо слякоть!
Если тетина
кровь мне нужна,
Что же — прикажете плакать?
Тетя!
Прошу не грозить мне тюрьмой
И не считать за невежу.
Вас я,
как только вернусь домой,
Честное слово,
Дорежу!

В. МАЯКОВСКИЙ

Пропер океаном.
Приехал.
Стоп!
Открыл Америку
в Нью-Йорке
на крыше.
Сверху смотрю —
это ж наш Конотоп!
Только в тысячу раз
шире и выше.
Городишко,
конечно,
Москвы хужей.
Нет Госиздата —
все банки да баночки.
Дома,
доложу вам,
по сто этажей.
Танцуют
фокстрот
американочки.
А мне
на
них
свысока
наплевать.
Известное дело —
буржуйская лавочка.
Плюну раз —
мамочка-мать!
Плюну другой —
мать моя, мамочка!
Танцуют буржуи,
и хоть бы хны.
Видать, не привыкли
к гостю московскому.
У меня
уже
не хватило
слюны.
Шлите почтой:
Нью-Йорк — Маяковскому.

А. ЖАРОВ

Итак, друзья, я — за границей,
В Италии, в чужой стране.
Хотя приятно прокатиться,
Уже, признаться, скучно мне.
Влечет к советским ароматам,
Но мы придержим языки.
На всёх углах за нашим братом
Следят монахи и шпики.
И я тянусь к родному долу,
Тоскую по Москве-реке.
Поют фашисты баркаролу
На буржуазном языке.
Чудной мотив! Чудные танцы!
Здесь вообще чудной народ!
Живут в Сорренто итальянцы,
А вот у нас — наоборот!

ПАРОДИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО

письмо в номер

ОТ НЕВЫ ДО СЕЛЕНГИ

Более 150 книг вышло в серии Политиздата «Пламенные революционеры» с 1968 года — года ее основания. Из них 9 о декабристах, причем до 1981 г. было издано лишь 3 книги.

Наибольший успех выпал на долю «Апостола Сергея» Н. Эйдельмана, повести о Муравьеве-Апостоле (1975 г.). Однако следующая его книга «Большой Жанно» о Пущине (1982 г.) подверглась критике. Повести о Рылееве (М. Дальцева «Так затихает Везувий», 1982 г.), о Бестужеве-Марлинском (В. Кардин «Минута пробужденья», 1984 г.) и Сухинове (А. Афанасьев «...И помни обо мне», 1985 г.) почти не удостоились внимания критики. В 1987 и 1988 годах вышли повести о Горбачевском и М. Бестужеве (С. Рассадин «Никогда никого не забуду», В. Бараев «Высоких мыслей достоянье»). Насколько же близки к реальности и нашим представлениям образы декабристов, созданные авторами серии «ПР»?

Интересно знать, как, почему они выбирают тех или иных героев. Загадка для меня, почему именно Б. Окуджава вышел на декабристов и стал автором первой книги этого цикла в серии «ПР» (повесть «Глоток свободы»). А вот с Эйдельманом все ясно — он давно настойчиво исследует эпоху Пушкина, декабристов, Герцена. Понятен и интерес Бараева к Бестужевым: он вырос на Селенге, где жили они, потом нашел потомков Н. Бестужева во Владивостоке. О поиске этом им много написано в газетах и журналах. В своей книге он подводит итог многолетним изысканиям, воздает дань благоговения своих предков перед декабристами — братья Бестужевы и их соузники так много сделали для бурят, что они говорили о них: «Боги, а не люди».

Тем более, что, занимаясь поиском потомков декабристов, Бараев обнаружил обидные неточности по отношению к Михаилу Бестужеву — многие исследователи и литераторы приписывают вывод Московского полка только А. Бестужеву-Марлинскому, изобретение тюремной азбуки — брату М. Бестужева Николаю. Перстни из кандалов на каторге и тарантасы-сидейки на поселении начал также делать Михаил, а не Николай, как утверждают многие авторы.

Главная цель, которую ставят перед собой авторы серии «ПР» — не цельная биография героев, как это обычно делается в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», а показ личности в момент высшего взлета, в звездные минуты жизни, когда полностью раскрываются все помыслы и черты характера.

В целом ряде книг изображается Сибирь. Это и понятно. Настоящее поприще декабристов, по словам одного из них, началось лишь в Сибири. Но какая безликая, невыразительная она в целом ряде книг! Читаешь некоторые из них и видишь, что автор никогда не бывал там или знает ее очень слабо.

Не чувствуется настоящей Сибири у Афанасьева в повести о Сухинове. Много неточностей найдут забайкальцы в описаниях природы у Рассадина в повести о Горбачевском. Селенга у него — «с разными, но равно голыми берегами — один песчаный, другой скалистый», Селенгинск — «ни дать ни взять африканская пустыня». А на деле ни в ту пору, ни сейчас эти места не были голыми и песчаными. Так получилось, видимо, оттого, что автор чересчур доверился самым первым, не совсем точным впечатлениям декабристов.

В описаниях природы гораздо точнее Бараев в повести «Высоких мыслей достоянье». Это и понятно — он неоднократно проехал, проплыл, а кое-где и прошел маршрутом Бестужева от Иркутска до Тихого океана.

Книга «Апостол Сергей» Н. Эйдельмана написана в манере, близкой к жанру научной публицистики. Порой автор намеренно не ставит всех точек над «i», и читателю приходится идти по пути самостоятельных раздумий, сопоставлений к собственным выводам и суждениям. Так мы становимся соучастниками поиска и раздумий писателя. В повести «Большой Жанно» Эйдельман отошел от научной формы изложения, беллетризировал факты, изложив их в виде дневника.

Недавно я еще раз внимательно перечитал не только раскритикованные А. Мальгиным в «Литературной газете» места «Большого Жанно», но и всю книгу. Неожиданна, нетрадиционна картина Сенатской площади, в которой автор показал восстание через... смех и веселье! В самом деле, 14 декабря они дышали воздухом свободы, верили в возможность победы.

Мы так привыкли к мотивам обреченности восставших, к тому, что они шли на верную смерть, что вопрос о возможности победы и не возникает. Но Эйдельман в «Апостоле Сергее» позволил себе помечтать: полк южан входит в Киев, к нему присоединяются другие войска, которые почти без боя берут Москву, Петербург. Арест царской семьи, освобождение заключенных из Петропавловской крепости...

Мотивы возможной победы возникают и у Бараева из документального воссоздания бурной агитации и тайных заседаний накануне восстания. (Кстати, здесь явно ощутимы следы прочтения книги Я. Гордина «Люди и события 14 декабря» (М., 1985 г.), уточняющего изображение восстания М. Нечкиной и другими декабристоведами.) Близки к выходу Финляндский полк, конногвардейцы и другие войска. И если бы сдержали слово полковники Тулубьев, Моллер, а также Якубович, Михаил Пущин и другие, на площади оказалось бы не три тысячи, а вдвое больше войск. Но и при этом количестве успех был бы возможен при более решительных действиях восставших — стоило лишь отбить пушки и обратиться за поддержкой к народу. Глухое бурленье «черни», изображенное Бараевым, пожалуй, впервые ощущается вполне реальной, грозной силой.

В повести «Высоких мыслей достоянье» у нас есть возможность сравнить язык, стиль автора и героя — в ней цитируется немало подлинных писем и дневниковых записей декабриста. Читая и сопоставляя их, не замечаешь особой разницы в манере письма автора и героя, что говорит о высокой степени постижения автором не только языка, но и духа, характера героя.

К сожалению, многим книгам серии «ПР» присущи банальный пересказ давно известного, чрезмерное выпячивание авторами своих героев, приписывание им и того, чего не было на самом деле.

Не потому ли эти книги не вызвали ответной волны внимания со стороны читателя и критики? Не потому ли они с трудом расходились в продаже и ровными нетронутыми стеллажами стоят в библиотеках? Это свидетельствует о том, что серия «ПР» переживает определенный кризис. Редакция вынуждена принять ряд мер: снижен тираж с обязательных 300 тысяч экземпляров до 200 тысяч, по просьбе Политиздата Институт книги «Всесоюзной книжной палаты» проводит опрос по серии «ПР», обдумывается реклама книг. Но главное, на мой взгляд, необходимо более строго подбирать не только авторов, но и героев книг, ведь некоторые из них явно не выдерживают испытания временем гласности и перестройки, как это произошло с книгами о ряде деятелей «сталинского окружения».

Следует сказать и о художественном оформлении серии «ПР». Оно имеет свое четкое лицо, единый стиль — небольшой, почти карманный формат, золотое тиснение на цветной твердой обложке, обязательное и весьма активное использование форзацев. Внутри каждой книги — по шесть цветных рисунков или черно-белых гравюр. Благодаря этому книги серии «ПР» легко узнаются в магазинах и библиотеках.

ЭРДЭНИ УЛАНОВ,
кандидат филологических наук
г. УЛАН-УДЭ

Виктор ПЛОТНИКОВ живет в Вологде и пока профессиональным литератором не числится, хотя божьей милостью по части литературного слова он отмечен от рождения.
Пишет он давно, но для себя, в стол, в силу неодолимого влечения... Ему тридцать девять лет, а первая книжка рассказов выйдет только в 1990 году в Северо-Западном издательстве. Он рабочий, у него двое детей. По характеру человек скромный, нежио-застенчивый... Потому даже в литературной Вологде не был сразу замечен и обласкан, как тонкий, наблюдательный рассказчик.
Сегодняшняя публикация — это его первое выступление в московском литературном журнале.

ВСТРЕЧА

ВИКТОР ПЛОТНИКОВ

первая публикация. рассказ

Позавтракав, Николай Садовников вышел во двор. Двор, в центре которого стояли детский грибок и песочница, встретил Садовникова тишиной. Не было слышно и дворника, молодой, высохшей женщины, которая каждый день визгливо кричала на детвору, разносившую песок по асфальту. Садовников прошел через двор и сел на скамейку у забора. Одна из досок забора была выломана, и через лаз виднелись тропинка, сбегающая к реке, край понтонного моста, упирающегося в противоположный берег, а дальше, среди зелени, светлела песчаная дорога. На холме, заросшем тополями и березами, стояла церковь. Солнце золотило кресты, но Николай знал, что краска на них облупилась, и вблизи они не казались такими яркими и праздничными.

К середине августа Садовников устал от каникул и ругал себя за то, что отказался от поездки со стройотрядом. Не зная, чем заняться, он пролез через щель в заборе и быстро зашагал по заросшей тропинке. Внимание Садовникова привлекло голубое пятно, мелькнувшее за кустами. Он замедлил шаг и присмотрелся. Любопытство заставило его сойти с тропки и приблизиться к большому кусту ивняка. С нижних веток вспорхнули воробьи, шоркнули крыльями по воздуху и стремительно исчезли. На лужайке, окруженной плотной стеной кустарника, сидела девушка. Было ей лет восемнадцать. Голубой сарафан облегал загорелое тело и почти полностью скрывал ноги. Услышав шаги, она повернула голову. Ее светло-голубые глаза испуганно расширились, рука непроизвольно схватилась за лежащий рядом костыль.

— Испугалась? — Николай улыбнулся и повертел руками перед собой. — Ничего нет, иду с миром. Если такая пугливая, зачем здесь сидишь? Пляж в стороне, слышишь?

И действительно, справа от понтонного моста слышались смех, крики.

— Значит так нужно.

— Если нужно, вопросов нет. Посидеть с тобой можно? — не дожидаясь ответа, Садовников сел и кивнул на костыль. — Ногу сломала?

— Да.

— Не повезло.

Не зная, что еще сказать, Садовников потянулся за стеблем подорожника и случайно коснулся руки девушки. Ее тело качнулось в сторону от Николая. Она тяжело вздохнула:

— Тебе что, девушек мало? — и неожиданно зло добавила. — Иди куда шел, неужели не понятно?

— Что ты на людей бросаешься? — Садовников поднялся и покачал головой. — Ни с кем поговорить нельзя. Привет родителям!

Николай ушел недалеко. Прилег в густую траву и решил понаблюдать за девушкой. Вскоре незнакомка вышла на тропку. Каждый раз, когда ей приходилось делать шаг правой ногой, она всем телом наваливалась на костыль. Левая нога казалась безжизненной, подетски тонкой, вскидывала она ее легко, тут же переносила вперед костыль и снова наваливалась на него всем телом. Пораженный беспомощностью девушки, Садовников лежал неподвижно, боясь только одного — как бы его не заметили. Не в силах смотреть на ее неловкие движения, он закрыл глаза и ткнулся в колкую траву. Лежал он долго. Когда открыл глаза, девушки не было.

Садовников с несвойственной ему медлительностью поднялся на площадку третьего этажа. Открыл отец.

— Рано сегодня. Садись, мать на стол собирает.

— Не хочу.

Николай прошел в свою комнату и плотно прикрыл дверь. Он лег на диван и, закинув руку за голову, привычным движением нащупал клавишу магнитофона. Ритмичные звуки музыки заполнили комнату. Николай не понимал, откуда взялась навалившаяся на него слабость. Внутри что-то мешало дышать, руки непроизвольно легли на грудь, надавили — нигде не болело. Он прислушался к самому себе, стараясь догадаться, что же с ним произошло? Так он пролежал, безучастно смотря перед собой, пока не стемнело, и каждый раз, когда мать заглядывала в комнату, слабо отмахивался, прося не беспокоить его.

Утром Садовников дождался, когда родители уйдут на работу, и только после этого встал. Недомогание, какое он испытывал вчера, прошло. Вспомнилась девушка, ее широко раскрытые глаза. Решение увидеть незнакомку пришло сразу. О том, что она инвалид и он снова может стать свидетелем ее беспомощности, он не думал.

Подходя к лужайке, Садовников замедлил шаг. Представив, как девушка, увидев его, с удивлением вскинет брови, Николай улыбнулся. Продолжая улыбаться, он вышел на лужайку, но девушки на лужайке не было. Веселое настроение сменилось раздражением. Он почему-то был уверен, что своим появлением не только удивит, но и обрадует незнакомку. Садовников прошел вдоль кустов, стараясь как можно меньше мять траву, сорвал несколько ромашек и бросил в центр лужайки. Дав таким образом знать, что он уже был здесь, Садовников направился на пляж.

Верхний слой воды был прогрет солнцем, но, нырнув на глубину, Садовников ощутил холод бивших в этом месте ключей. Вынырнув, он перевернулся на спину, замер, вглядываясь в чистое, ничем не замутненное небо. «Как ее глаза», — подумал Садовников, вспомнив о девушке. Рядом, поднимая фонтаны брызг, резвилась ребятня: те, кто постарше, залезали на перила понтонного моста и с визгом кидались вниз головой, младшие, сидя на мосту, смеялись и били ногами по воде. Садовников подплыл к берегу и, не дожидаясь, когда подсохнет, натянул на влажное тело белую футболку, втиснул ноги в джинсы и торопливо зашагал с пляжа.

Еще издали Николай заметил среди зелени голубой отсвет. Осторожно подойдя, он раздвинул ветви и увидел девушку. Она была в том же сарафане, сидела в той же позе, опираясь на руку, другая рука лежала на коленях. Глаза были закрыты, голова слегка откинута назад, и лицо, спокойное, ничего не выражающее, освещалось солнцем. Светлые волосы красиво вились, спускались на плечи, слабо искрясь на солнце. Приоткрытые губы вздрагивали; казалось, она беззвучно шепчет. Ровный загар покрывал кожу рук, шеи. Было в ее облике что-то застывшее, и в то же время веяло от молодого тела такой жизнерадостностью, жаждой движения, что Садовников с трудом сдержал желание подхватить ее на руки. Ресницы девушки вздрогнули и взметнулись вверх, как и вчера, глаза расширились, смотрели на Садовникова с испугом. Увидев Николая, она вздохнула, рука скользнула к груди, поправляя складки материи.

— Напугал. Неужели у реки места мало? Что улыбаешься? Ты мне мешаешь.

Но в ее голосе не было вчерашней резкости, и Николай присел рядом.

— Шел мимо, дай, думаю, посмотрю: вдруг пришла моя знакомая. Вчера прогнала, может, сегодня настроение лучше будет.

Девушка не приняла его шутливый тон, повторила:

— Ты мне мешаешь, — и отвернулась.

Николай, все еще надеясь разговорить девушку, продолжил:

— Какие мы строгие. Неужели поговорить нельзя? Ты не отворачивайся, скажи: можно поговорить или нет?

— Иди на пляж, там и говори.

— Что ты меня все на пляж гонишь? Не хочу я на пляж. Мне на тебя смотреть радость.

— Не говори глупости.

— Почему глупости? Может, ты мне действительно нравишься.

— Замолчи. Ты все знаешь.

— Что все? — не понял Садовников.

— Я видела, как ты вчера в траве прятался. И давай не будем об этом. Ничего у тебя не выйдет. Неужели других девушек мало? Тебе не стыдно?

Садовников смутился от ее внимательного взгляда.

— Ты неправильно поняла...

— Правильно, неправильно. Уйди, я прошу тебя.

В траве копошились насекомые, трещали кузнечики, на ветках кустарника суетились, попискивая, птицы, ветер шумел листвой — все жило своей, отдельной жизнью. И непонятно было Садовникову, зачем он здесь, почему сидит и не уходит? Сорванные им ромашки подсохли, но в белых лепестках теплилась жизнь. Пальцы девушки перебирали стебель одной из ромашек, ломали его, сминая в кулак.

— Я пойду, — Садовников поднялся. — Ты сердишься на меня?

— Нет.

Уходя, Садовников обернулся. Девушка смотрела ему вслед; заметив его взгляд, отвернулась.

Впервые Садовникову хотелось остаться одному. И раньше у него возникало такое желание: он уходил к реке или забирался в дальний угол двора за кусты шиповника, но это желание быстро проходило, и никогда Садовников не чувствовал себя одиноким. Сейчас же он впервые ощутил одиночество среди ярко расцвеченного, благоухающего мира. Он не мог понять, было ли это его одиночество или ему передалось состояние девушки, скрывающей свою беспомощность и вынужденной сторониться людских глаз. Николай подошел к городской окраине, где за деревьями, вытянувшимися до самых крыш, стояли ровным рядком четырехэтажные здания. Из раскрытого окна лилась спокойная, нежная мелодия. Она была чуть слышна, и Николай остановился, прислушался к незатейливым звукам музыки. Мелодия успокаивала своей плавной замедленностью, вызывала в душе желание раствориться в окружающем мире, забыть обо всем. Вслед за музыкой вступил хор; он то сливался в один стройный торжественный бас, то множился, распадаясь на отдельные, торопливо повторяющиеся голоса. На душе стало тревожно, тоскливо. От палящего солнца зарябило в глазах. На гладком, круглом лице Садовникова выступил пот, заблестел на едва заметном пушке, пробивающемся на подбородке. Захотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать.

Утром Николай с трудом дождался ухода родителей. Он успокаивал себя, стараясь делать все неторопливо: одевался излишне медленно, за завтраком съел два бутерброда, но когда взглянул на часы, удивился — с того момента, как он встал, прошло всего полчаса. Часы, висевшие в большой комнате, пробили девять раз. Садовников понимал, что девушке так рано быть не может и вообще она может не прийти, но он не мог больше находиться дома и вышел на улицу.

Садовников бродил по пыльному, залитому солнцем городу. От асфальта шел тяжелый, удушающий запах, и ему было странно, что на это никто не обращает внимания. Стены домов, дорога — все, что его окружало, источало жару. Он несколько раз останавливался у лотков и пил воду. Но внутренний жар не уменьшался. Когда часы показали одиннадцать, Садовников вышел из города. До этого он не позволял себе думать о девушке, но как только городская окраина осталась за спиной, все мысли сосредоточились на одном: пришла она или нет?

Девушка не удивилась его появлению, кивнула как старому знакомому. Ее волосы были аккуратно собраны на затылке. Простенькие сережки блестели на солнце. Они удивительно подходили к ней, делали более женственной, беззащитной.

— Я знала, что ты придешь, — сказала она, приглашая жестом руки сесть рядом.

Садовников молча повиновался. Он не ожидал такого приема, и все заранее приготовленные слова вылетели из головы. Все, что находилось за пределами лужайки, для него перестало существовать. Только здесь, в замкнутом пространстве, окруженном ярко-зеленой листвой, было то, ради чего хотелось жить. Но этот дорогой для Садовникова мир был слишком зыбким, готовым раствориться в привычных звуках обыденной жизни. Испугавшись, что все может исчезнуть, Садовников торопливо заговорил:

— Я боялся, вдруг тебя больше не увижу. Знаешь, даже страшно от этого становилось. Ты мне ночью приснилась. Глаза у тебя большие, большие. Они надвигаются на меня, а в них такая боль... — Садовников, как бы еще раз переживая сон, закрыл глаза, сжал руками голову и повторил, — такая боль...

— Ты пришел меня жалеть?

— Я хотел тебя видеть. Не знаю, что со мной происходит. Вдруг я влюбился в тебя?

— Не шути так. Меня нельзя любить, и ты знаешь, почему, — спокойно сказала девушка. — Спасибо, что пришел, что сидишь рядом. Иногда хочется вот так посидеть, видеть перед собой человеческие глаза. Когда я иду, стараюсь головы не поднимать, не люблю замечать жалеющие взгляды. На меня смотрят, как на несчастное животное, которое и рады бы приласкать, но боятся испачкаться. Знаешь, когда я увидела тебя в первый раз, ужасно захотелось, чтобы ты заговорил со мной.

— Ты меня прогнала!

— Что же ты хочешь? Чтобы я попросила тебя посидеть со мной?

— Но я мог и не вернуться!

— Может, это было бы и к лучшему, — задумчиво произнесла девушка. Она поправила край сарафана. Отполированная ручка лежащего рядом костыля заворожила Садовникова. Он с трудом отвел взгляд в сторону и сказал:

— Ты меня не бойся, — и неожиданно добавил, — не бросай меня...

Девушка повернулась к Николаю, впервые в ее глазах вспыхнула тревога:

— Тебе плохо?

— Я один. Понимаешь, кругом столько людей, а я один.

— Тебе так кажется. Это пройдет. Когда мне плохо, я прихожу на эту поляну смех слушать. С пляжа он хорошо доносится. Кажется, открою глаза, а вокруг меня люди...

Солнечные лучи разбивались о листву и осыпали ее лицо мелкими яркими брызгами. Волосы девушки на фоне ясного неба искрились и казались золотистыми. Иногда ветер, играя листвой, разбрасывал ее в разные стороны, и солнце слепило глаза Садовникову. Он жмурился и счастливо улыбался.

— У тебя имя должно быть необыкновенное.

— Обычное — Саша.

— Саша, — повторил он нараспев. — Я же говорил — имя у тебя не такое, как у всех. И родители, наверное, очень добрые.

— У меня нет родителей. Я никого не помню. Я из детдома.

— С кем же ты живешь?

— Снимаю комнату. Работаю надомницей-кружевницей.

Усталость проскользнула по ее лицу. На лбу, между бровями, пролегли маленькие морщины. И Садовников понял, почему, когда она улыбается, над переносицей разбегаются светлые тонкие полоски.

— Где ты живешь?

— Там, — она кивнула в сторону Заречной части города, где стояли одни деревянные постройки. — В большом старом доме. Под окном балкон. Представляешь, старинный особняк, балкон, а вокруг заросший сад...

— Сюда приходишь часто?

— Нет, — и, улыбнувшись, добавила, — когда тебя увидела, каждый день.

Садовников засмеялся, не в силах совладать с собой, вскочил на ноги:

— Хочешь, весь мир переверну?!

Саша, закинув голову, посмотрела на его нескладную длинную фигуру и рассмеялась. Забыв обо всем, она потянулась к нему, но, глухо застонав, опустилась на землю. Прикусив нижнюю губу, она молчала. В ее глазах копились слезы. Она страдала не от физической боли, и Садовников понял ее состояние. Он наклонился и поцеловал готовую скатиться по щеке слезинку. Не сдерживая более себя, Садовников стал целовать ее лицо, шею, руки. Тело ее трепетало, губы что-то беззвучно шептали, руки подогнулись, и она с протяжным, еле слышным вздохом опустилась в траву.

Они долго лежали, оглушенные случившимся. Садовников робко коснулся ее руки, но она не ответила на слабое пожатие, продолжала смотреть в небо, где, набегая друг на друга, беспорядочно неслись облака.

— Ты не думай обо мне плохо, — попросила она. — Я не свяжу тебе рук.

— Почему ты так говоришь? Я не брошу тебя. Ты будешь жить у нас.

— Хорошо, я буду жить у вас, — безучастно повторила она и прикрыла глаза рукой. — А сейчас иди.

— Мы пойдем вместе.

— Я прошу тебя, уйди! И не подсматривай за мной.

Раздраженность в ее голосе удивила, но не обидела. Облака закрыли солнце, но девушка продолжала лежать с закрытыми глазами. Невдалеке от нее, казавшийся лишним на этой поляне, лежал костыль. Он снова заставил болезненно сжаться сердце Садовникова, и Николай, стараясь не шуметь листвой, раздвинул ветви. Он ожидал окрика, просьбы вернуться, но за спиной стояла тишина, нарушаемая лишь пронзительным звоном кузнечиков.

Садовников, находясь под впечатлением случившегося, часто останавливался, каждый раз переживая все по-новому. Его опущенные плечи то распрямлялись, и он шел ровной походкой уверенного в себе человека, то снова опускались, и он сутулился, оглядываясь назад, в надежде увидеть Сашу. От реки шла женщина в черном купальнике, подчеркивающем белизну ее оплывшего тела, и вела за руку маленькую девочку. Поравнявшись с Садовниковым, женщина строго взглянула на его осунувшееся, слегка побледневшее лицо и качнула головой, как бы говоря: молодой, а выпивает. При других обстоятельствах Садовников не удержался бы, нагрубил, но сейчас он улыбнулся и попытался пригладить у девочки влажные волосы. Женщина перехватила руку, еще раз осуждающе покачала головой. Девочка, увлекаемая женщиной, обернулась на Садовникова. И потом, когда они были готовы скрыться за поворотом, снова обернулась и помахала рукой. Где-то глубоко внутри возникло ощущение вины, но это ощущение быстро прошло.

Ночью Садовников не мог заснуть. За окном изредка проезжали машины, иногда слышались торопливые шаги одиноких прохожих. Слабый колеблющийся свет уличного фонаря желтел сквозь занавески. Уснул он перед утром. Спал крепко, без сновидений.

День выдался снова теплым и ясным. Садовников, как и вчера, проснулся рано, дождался ухода родителей и поспешил на берег реки. Он пришел довольно рано, но девушка уже ждала его. На поцелуи она не ответила, но и не уклонилась, когда Садовников обнял ее.

— Я думала, ты не придешь.

— Ты не веришь мне? Сегодня же пойдем к моим родителям. Я вас познакомлю.

— Как все просто...

— Почему ты тяжело вздохнула? Я не прав? Если не хочешь жить у нас, снимем квартиру.

— У тебя есть деньги?

— Родители дадут. Через два года закончу институт, буду работать. Не пропадем.

— Не пропадем... — машинально повторила девушка.

Она выглядела уставшей и, казалось, тяготилась разговором. Николай, не замечая подавленного состояния девушки, продолжал говорить. По ее телу пробежал легкий озноб. Садовников, думая, что ей холодно, обнял девушку. Она подалась к нему:

— Ты будешь помнить меня?

— Почему ты так спрашиваешь? Я не понимаю тебя. Мне без тебя действительно плохо. Впервые почувствовал себя счастливым, а ты говоришь о какой-то разлуке.

— Я просто так спросила. Раньше в моей жизни был один человек, теперь двое.

— Кто этот второй?

— Второй — это ты. А первая — женщина. Я ее почти не помню. Словно во сне вижу: она стоит в малиннике, кругом красные ягоды, а сзади озеро. Озеро я не вижу, а знаю, что оно есть. Она часто снится. Во сне я маленькая, сижу на земле, тяну к ней руки, а она не берет.

— Это мама?

— Наверное. Я ничего не помню. Она рано умерла.

Садовников склонился перед девушкой, поцеловал ее ладонь. Она мягко отстранила его:

— Не нужно. Посидим немного, и ты пойдешь.

— Но я не хочу уходить.

— Так нужно.

— Кому?

— Мне. И тебе тоже. Молчи, — она зажала ладонью его рот, внимательно всмотрелась в глаза. — Ничего не говори. Ты подарил мне целую жизнь. Спасибо тебе.

Через час они расстались. Садовников, взяв слово с девушки, что завтра она придет, ушел. Он шел быстрым, неровным шагом по кромке берега. В его душе росла тревога. Он не мог объяснить причину ее возникновения и, только вспомнив слова девушки: «Ты будешь помнить меня?», остановился. Садовников неожиданно понял, что вопрос не был случайным. Николай смотрел на противоположный берег и ничего не видел — все заслонили ее глаза: большие, печальные и почему-то полные слез. Подчиняясь их таинственной силе, Садовников пошел назад.

Девушка уже ушла. Николай всматривался в глубокие, ровные по окружности ямки в земле и пытался представить, как она поднимается по небольшому склону. Садовников понимал, что может ее догнать, но он знал, что она не простит ему, если он увидит ее слабой и беспомощной.

На следующий день Саша не пришла. Напрасно Садовников прождал до вечера. Не пришла она и через день. Садовников мучительно искал ответ на вопрос: отчего ее нет — и не находил его. Погода испортилась. Ветер нагнал облака, и все предвещало дождь. В ожидании Саши Садовников бродил вдоль реки, переходил мост и снова возвращался. К полудню он поднялся по песчаной, окруженной соснами, дороге и углубился в небольшую рощу, где стояла церковь. Неожиданная мысль остановила его: «А вдруг Саша в церкви?» Садовников недоверчиво покачал головой, как бы сомневаясь в своем предположении, но не удержался и прошел за церковную ограду.

Из церкви вышел мужчина в рваном тонком пальто. Несмотря на лето, на ухо его была надвинута шапка. Маленькие глаза с вывернутыми красными веками и белесыми бровями пошарили по Садовникову. Мужик сел на асфальт и сдернул шапку. Большая, обитая железом дверь приоткрылась и, осторожно ступая по крутой лестнице, вниз сошла пожилая женщина. Чистое, почти без морщин лицо, было спокойно. Взгляд на мгновение остановился на Садовникове, что-то дрогнуло в ее лице. Садовников непроизвольно улыбнулся, но женщина уже не смотрела на него, прошла мимо. Поравнявшись с мужчиной, она бросила в шапку заранее приготовленные медяки. Подождав немного и видя, что никого больше нет, мужик нахлобучил шапку, поправил за плечами котомку и снова поднялся в церковь. Садовников прошел за ним. В церкви было сумрачно, но дышалось легко. Через открытые окна проникал свежий ветер и колебал огоньки многочисленных свечек, горевших возле икон. Несколько пожилых женщин и совсем древних старух стояли справа от входа и что-то тянули слабыми чистыми голосами за длинноволосым молодым попом, который читал по книге неразборчивым торопливым голосом. Иногда его голос крепчал, и тогда старухи старательно крестились, некоторые неловко опускались на колени и касались лбом пола. Тело их расслаблялось и клонилось набок. Садовников представил среди старух Сашу, и ему сделалось не по себе. Он попятился к выходу. Плотно прикрыв за собой дверь, облегченно вздохнул.

Вернувшись к реке, Садовников прошел по безлюдному пляжу. За детскими грибками стайка посиневших малышей сбилась в круг и пыталась разжечь костер. Костер не разгорался, выбрасывал из своего нутра струйки едкого дыма.

За ужином Николай, как и все последние дни, был молчалив и рассеян. Отец поинтересовался, что с ним случилось? Но Николай не ответил, лишь неопределенно пожал плечами. Он действительно не мог разобраться в самом себе. Еще утром Николай мечтал о встрече с Сашей, но к вечеру это желание стало как бы глохнуть в нем. В душе поселилось слабое, неприятное ощущение страха. Все же на следующее утро Садовников решил во что бы то ни стало найти Сашу. Чтобы собраться с мыслями, он пошел не от реки, где было короче, а по булыжной мостовой, протянувшейся вдоль городской окраины. Вскоре дома, отделанные резьбой, сменили обыкновенные деревянные постройки. Булыжная мостовая кончилась. Николай помнил, как девушка говорила о балконе, и внимательно разглядывал улицу, но нигде двухэтажных домов не видел. Улица была пустынна, но вскоре Садовников почувствовал на себе любопытные взгляды. Приглядевшись, он заметил почти в каждом окне старушечье лицо. Очертания лиц едва угадывались, но как только Николай подходил к дому, старушечье лицо припадало к стеклу и старательно его рассматривало. Садовникову сделалось неловко от таких смотрин, захотелось вернуться в центр города, забыться в суете и не видеть устремленных на него взглядов. Мелькнула мысль войти в любой дом и спросить о Саше. Но непонятный страх заставил Садовникова повернуть назад.

Несколько дней подряд Садовников приходил на берег реки. Глаза девушки вставали перед ним, надвигались на него, внося в душу тревогу и смятение. Прежде чем уйти, Садовников подолгу всматривался в блестевшие от влаги крыши деревянных строений Заречья. Но за все эти дни он так и не решился переступить невидимую черту, которая разделила его и этот тихий уголок города.

Прошла зима. Садовников стал забывать о Саше. Но однажды утром, в конце мая, когда зелень лета, еще мягкая, светлая, легла на город, Садовников проснулся в странном волнении. Нужно было спешить на занятия, но все его существо противилось этому. Поддавшись непонятному порыву, Николай вышел на улицу. Ему казалось, что он двигается без какой-либо цели, наугад, но вскоре заметил, что все ближе приближается к Заречной части города, и тогда он понял, что сейчас произойдет та встреча, какой он боялся весь год. Постоянно живший в нем страх вдруг вспыхнул с новой силой, сковал движения. Садовников был готов повернуть назад, но что-то мешало это сделать. Углубившись в Заречный район, он вышел на улицу, застроенную щитовыми, выкрашенными в унылый кирпичный цвет одноэтажными домами. Садовников хотел пройти до конца улицы, но, заметив в проулке двухэтажный особняк, свернул к нему. Вокруг дома, который так заинтересовал Садовникова, раскинулся небольшой сад, обнесенный резным палисадом. Сирень, акации разрослись и скрывали первый этаж. Заметив балкон, Садовников побледнел и остановился. Он огляделся, как бы желая убедиться, тот ли это дом, который он ищет. Напротив дома стоял фургон с черной полосой на борту. Садовников, поборов волнение, подошел ближе. Он увидел стоявших у крыльца старушек. Они тихо переговаривались и посматривали на открытые двери подъезда.

До Садовникова донеслось несколько слов:

— ...отмучилась грешная. Прибрал бог душу. Такая ласковая да добрая была...

Слова насторожили, заставили Николая приблизиться вплотную к ограде.

Говорила низенькая с живым, еще не дряблым лицом, старушка:

— Пройдет мимо, всегда поздоровается. Кое-кто называл беспутной, пальцем тыкал. Ну и что, что ребеночка родила? Видимо, богу было так угодно, и душе хотелось материнское счастье испытать...

Садовников, все еще не понимая, о ком говорит старушка, но уже чего-то боясь, прислушивался к разговору.

— ...Только вишь, как случилось: родила и тут же умерла. Сама круглой сиротой росла, и ребеночку та же участь, — старушка покачала головой и наклонилась. Видимо, слезы вытерла.

Садовников, все еще надеясь, что говорят не о Саше, прислушивался к неторопливому разговору. Одна из старушек, согнувшаяся над палкой, с трудом приподняла голову. Садовников поразился спокойствию, даже отрешенности от всего земного в ее взгляде. Голос был такой же безучастный, тихий:

— Бог знает, что делает. Как бы ей воспитывать дите? Сама с костылями по дому чуть ходила. Так все и есть, так все и есть... — и снова прижалась к палке.

Из дома вынесли гроб. Старушки закланялись, закрестились. Садовников качнулся в их сторону. Сознанием Садовников был там, рядом с ней, лежащей среди цветов, но тело, чужое, одеревенелое, не слушалось его.

Около гроба хлопотала женщина, у которой жила девушка и которая взяла тело из больницы, чтобы похоронить по-человечески. Садовников не сразу узнал женщину, но когда случайно встретился с ней взглядом, вздрогнул от неожиданности — вспомнил встречу у церкви, ее спокойные глаза. Женщина, как и год назад, какое-то мгновение вглядывалась в Садовникова, но тут же отвернулась и более не обращала на него внимания. Гроб накрыли крышкой, толкнули в машину, и не совсем аккуратно. Он подпрыгнул и стал наискосок. Один из мужчин хлопнул по крышке кулаком, вгоняя его на место.

Садовников, не в силах пошевелиться, смотрел на происходящее. Когда машина тронулась, он медленно пошел за ней и по мере увеличения скорости прибавлял шаг. Он не заметил, как побежал, но не догнал и остановился в растерянности посреди дороги.

Непонятная тяжесть опустилась ему на плечи. Ссутулившись, он шел, ничего не видя перед собой. Все звуки заглохли, и Садовникова окружил странный молчаливый мир.

Очнулся Николай у реки. Небо еще светилось последними лучами уходящего солнца, но здесь, у воды, уже стемнело. Садовников, более не сдерживая себя, заплакал. Он упал на землю, обнял руками траву и затих, временами негромко всхлипывая. До его слуха доносился плеск воды, шорох листвы над головой, поскрипывание уключин плывущей ниже по течению запоздалой лодки, и все эти звуки постепенно слились в его сознании в отдаленный детский лепет. Ему показалось, что его кто-то зовет детским плачущим криком. Тогда он встал и побежал в темноту, откуда все призывнее и горче раздавался детский крик...

«САЛТЫКОВКА» ЗАПРАШИВАЕТ

Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) — одно из богатейших книжных собраний страны. Каких редкостей здесь только нет! Действительно, каких? В ответ на этот отнюдь не риторический вопрос сотрудники «Салтыковки» составили список литературы, которая не значится в фондах библиотеки. Пока. Потому что издания эти должны отыскаться, — надеются служители книги. Наступили ведь благословенные времена, когда открываются двери спецхранов, а библиофилы безбоязненно несут в «бук» стенографические отчеты конференций, докладов, сборники статей политических деятелей, изданные в первые десятилетия после Октября. Охотно приобретают эту «нелегальную» литературу библиотеки.

Мы публикуем список, который прислала в редакцию заведующая отделом комплектования библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина И. Ф. Григорьева, в чаянии помочь «Салтыковке» пополнить свои фонды. Нет ли, уважаемые библиофилы, в ваших собраниях хотя бы одной из названных книг? Есть? Тогда, пожалуйста, сообщите об этом сотрудникам библиотеки, а заодно и редакции «Слова». Мы готовы предоставить страницы журнала для наиболее интересных материалов.

И еще. Надеемся, что перечень внимательно изучат издатели... Тогда, может статься, кое-что из этих редкостей станет доступным читателям даже рядовой районной библиотеки.

1. **Алексеев Н. Н.**
Введение в изучение права. — М.: Изд-во Моск. просветит. комис., 1918. — 184 с. [Автор подходит к теме не как юрист или социолог, а как философ, которого своеобразная природа правовых институтов привлекает как один из прекраснейших плодов человеческого духа: Рец. Ильинский И. Д. — «Право и жизнь», 1922, № 3, с. 77—78]. Источник: Теория государства и права. М.: 1969, с. 298.

2. **Ангаретис З.**
Литовские большевики в период мировой войны. / Ком. партия Литвы /. — Смоленск, 1921. — 24 с. 3000 экз. Источник: Книга в 1921—1922 гг. М.: 1923, с. 41, № 664.

3. **Вирановский Г.**
Наболевшие мысли по поводу проигранной кампании. — Одесса, 1911. — 15 с. — [Причины поражения России в русско-японской войне].
Источник: Лучинин В. Русско-японская война 1904—1905 гг. Библиогр. указатель. М.: 1939, с. 121, № 1111.

4. **Вольский А.** (Махайский Ян Вацлав).
Умственный рабочий. — Женева, 1904—1905. — Ч. 3. Вып. 1, 2. — [Автор книги Махайский Иван (Ян Вацлав) Константинович (литературные псевдонимы А. Вольский, Махаев) является отцом одного из течений рабочей мысли начала века — «махаевщины»; книга «Умственный рабочий» — своего рода «евангелие» махаевщины, посвящена подробному разбору тактики социал-демократии, целей и методов «подлинного» рабочего движения; ч. 3 отпечатана нелегально в Женеве.]
Источники: Сыркин Л. Н. Махаевщина. М.—Л.: 1931, с. 5. Философская энциклопедия. М.: 1964, т. 3, с. 370.

5. **За рабоче-крестьянское** дело: Сборник. — Б. м.: Изд. Политотдела отд. кавалерийской бригады, 1923.
Источник: Кадишев А. Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М.: Воениздат, 1960, с. 452.

6. **Протоколы заседаний Второго Западно-Сибирского съезда крестьянских депутатов в г. Омске** (16—23 июня 1917 г.) — Омск, 1917. — 63 с.
Источник: Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и гражданской войны (март 1917—1920 гг.). Новосибирск, 1973, с. 87, № 985.

7. **Ильинский Н. М.**
Из истории коммунальных идей и движений. — Кострома: Губ. отд. земледелия, 1919. — 160 с.
Источник: Дурденевский В. Берцинский С. Опыт библиографии общественных наук за революционное трехлетие: 1918—1920. М. — Л.: 1925. Разд. II. Кооперация. 1919 г., с. 88.

8. **Макарий** (архимандрит). Горькая правда о Западнорусском крае (2-й съезд представителей западнорусских православных братств в г. Вильне). — Минск. 1902. — 22 с.
Источник: Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии. Минск, 1978, с. 113, № 1160.

9. **Материалы к изучению поземельного устройства на Урале.** — Спб., 1905.
Источник: Урал в революции 1905—1907 гг. Свердловск. 1985. с. 73. сн. 2.

10. **Нейман Г.**
Через красное единство к власти: Словарь / Сост. И. Горкина и Э. Эрлих. — М.: Изд. т-ва иностр. раб. в СССР, 1932. — 96 с.

11. **Октябрь 1917—1921:** Сб. статей. — Харьков: Агитотдел Харьковс. губпарткома, 1921.

12. От слов к делу (С прилож. Устава социал-революц. максималистской организации. — (Пг.). (1917). — 15 с. (Петроград. и Кронштад. организ. социалистов-революционеров максималистов).
Источник: Добраницкий М. Систематический указатель литературы по истории русской революции. М.—Л.: 1926, с. 141.

13. **Позднеев Д. М.**
Лекции по истории Китая: 1897—1898. — Спб., 1898. — 293 с. (Литогр.).
Источник: Скачков П. Е. Библиография Китая. М.: 1960, с. 77, № 1699.

14. РКП и трудовая повинность: Сб. материалов. — М. Глав. ком. по всеобщ. труд. повинности, (1920). — 28 с.
Источник: Добраницкий М. Систематический указатель литературы по истории русской революции. М.—Л.: 1928, с. 128.

15. **Рубакин Н. А., Тонин А.**
Россия в цифрах: Несправедливое устройство русского государства, показанное цифрами. Бедность. Малоземелье. Податное бремя. — Спб., 1907. — 144 с.
Источник: Записки отдела рукописей ГБЛ, 1963, т. 26, с. 181.

16. **Сборник заявлений и рекомендаций члена Союзного Совета для Японии от СССР.** — М.: МИД, 1949. — 77 с.
Источник: Библиография Японии. Лит., изданная в Советском Союзе на русском языке с 1917 по 1958 г. М.: 1960, с. 213, № 4583.

17. **Секретный доклад о деятельности Морского министерства за 1916 г.** — Пб., (1917). — Общее заглавие: Всеподданнейший доклад по Морскому министерству за... 1910—1916 годы. Спб., 1911—1917.
[Содержит список корабельного состава флота по классам со статистическими данными: список строящихся кораблей с указанием степени готовности, сведения о личном составе офицерского корпуса и матросах, состав морской авиации, данные о других структурных частях министерства и морского ведомства в целом.]
Источник: Справочники по истории дореволюционной России. М.: 1978, с. 326—327, № 2479.



ВАСИЛЕВСКИЙ Борис Александрович родился в 1939 году в Москве. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Прозаик, член Союза писателей СССР, автор очерковых книг, книг рассказов и повестей «Где Север?» (1974), «Цвет и линия Севера» (1978), «Весна на железной дороге» (1979), «Окна» (1981), «Для дерева есть надежда» (1983), «Отчет» (1983), «Конечная земля» (1988) и других, посвященных современности.

«Парадоксальные заметки» Б. Василевского продолжают одну из давних традиций русской литературы. В своих размышлениях, в полемике с самим собой и общественным мнением писатель стремится понять суть сложных процессов, которые происходят сегодня в нашей общественной жизни, в политике, идеологии, культуре. Такие раздумья, порой горькие, такие «сердца горестные заметы» естественны для писателя, которому небезразлична судьба и будущее народа. Слишком дорогой ценой платим мы за наши и чужие заблуждения и ошибки не только в прошлом, но и в настоящем.

парадоксальные заметки

БОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ

КАК ДУША БУДЕТ ЖИТЬ

Не знаю, как теперь, а до недавнего времени все мы были ужасные исторические себялюбцы. Во всей предшествующей отечественной истории, да и чуть ли не в мировой, собственной самоценной жизни не было, а было только развитие — ради нас, чтобы осуществиться, наконец, нам, нашему «первому в мире» государству, нашему строю.

*

Все боимся (или делаем вид, что боимся?), что «распалась связь времен». Призываем «не забывать», «хранить» и т. п. Но ведь забываем, и не храним, и многое — коллективно, всем «миром» — вытесняем из памяти, ибо хотим жить. Помним избирательно, и нам даже нужно, необходимо просто для жизни, чтоб постоянно «распадалась связь времен».

*

С утра из газет такой заряд бодрости, что хватает на целый день. Что «политика перестройки подготовлена всем о б ъ е к т и в н ы м ходом развития страны...» То есть полный развал всего был, оказывается, просто необходим, чтобы «подготовить перестройку».

*

И с неизменностью, всегда: как только в политике обостряются вопросы мирового порядка — сегодня это «быть или не быть нашей планете, всему человечеству?» — значит, с вопросами внутренними завал! А смысл таков: потерпите, мол, граждане, вот решим сейчас неотложный мировой вопрос, тогда и за собственные дела примемся. Но с неудачей в мировом вопросе, с объяснением этой неудачи проще в том смысле, что всегда можно сослаться на противоборствующие силы, на «происки», на «коекого за океаном» и т. д. В решении же внутренних — не зависит от тебя самого. Но и тут можно свалить на отвлекающий мировой вопрос...

*

— И лично я теперь — против «гласности»! Тем более против «п о л и т и к и гласности». Я — за правду.

*

«Народ безмолвствует...» — это гениальное определение Пушкина, и отнести его можно, наверное, только к нашему народу. В этом безмолвии всегда какая-то загадка, тайна. Каждый приходящий правитель, должно быть, чуть не физически начинает ощущать скрытую угрозу подобного безмолвия. Крики — проще, понятней, безопаснее. Не отсюда ли «гласность»?

*

«Правда» от 13 января 1988 года. «То, что осознали в политическом руководстве, в передовой части нашего народа, должно быть теперь осознано всем нашим народом...»

Еще раз. Сознание немногих определяет не только бытие, но и сознание всех. Нет, не совсем так. Не в той последовательности. Чтобы определить бытие всех, сначала надо определить сознание всех.

Далее, там же: «...на вопрос, есть ли у гласности, критики, демократии пределы, мы отвечаем твердо: если гласность, критика, демократия в интересах социализма — они беспредельны! Вот критерий...».

Это-то понятно. Но кто будет определять, в чьих интересах, допустим, выступление, статья такого-то? Или хотя бы вот эти мои отдельные соображения? Как выражались пораньше: «На чью мельницу льют воду данные товарищи?» Разумеется, не «такой-то» и не я будем это определять.

*

Нынешние газеты и журналы мы читаем с любопытством не столько даже узнать, ч т о б ы л о — потому что о многом и в главном мы и так уже слышали, догадывались — сколько с еще большим любопытством: а что еще д о з в о л е н о сказать?

*

— И вот опасаются, не прекратится ли вдруг в какой-то момент гласность. А чего опасаться-то? Прекратится, конечно. И слава богу!.. Ибо гласность у нас, как все о р г а н и ч е с к и и и с т о р и ч е с к и нам не свойственное — с нездоровым оттенком и ведет куда-то не

туда. Наша гласность не изначальна, она не причина, а следствие.

*

Памятник жертвам сталинских репрессий. Слыхал я об одном матером энкавэдэшнике, в высоком чине, начинал еще при Менжинском, состоял затем при Ягоде, Ежове. Как «ежовец» и сел. В середине 50-х был реабилитирован.

Что ж, и ему памятник?

*

Реабилитирован Бухарин и все, кто привлекался вместе с ним по «правотроцкистскому блоку». «За отсутствием в их действиях состава преступления». Кроме Ягоды. «Протест в отношении Г. Г. Ягоды, проходившего по этому делу, Прокуратурой СССР не приносился». В «Правде» (7 февраля 1988 года) в «заметках с пленума Верховного суда СССР» есть и такие строчки: «Идет разговор на языке права. В этом зале никто не поддается эмоциям»... Я, конечно, не юрист и не знаю всех тонкостей закона, я даже основных положений в нашем судопроизводстве не знаю, но считаю, что в отношении Ягоды поступили неправильно. Не несправедливо, но неправильно. Нелогично. Именно «поддались эмоциям». Если никто не виноват по этому делу, если дело было сфабриковано, значит, не виноват и он, оправдайте и его. Оговорите, что повинен в своих отдельных злодеяниях, а в умыслах так называемого «правотроцкистского блока» — нет. Вот это действительно будет «на языке права». А то ведь если логически помыслить, коли остался хоть один осужденный по «правотроцкистскому блоку» — следовательно, был «правотроцкистский блок»?!

Более того: «на языке права» выходит, что, если Ягоду оставили неоправданным в преступлениях вымышленных, его тем самым как бы реабилитировали в преступлениях действительных, за которые его, как известно, не судили... Может быть, я рассуждаю примитивно, может быть, вовсе неверно, но... Вот, допустим, несколько человек осудили за кражу коровы. Потом выяснилось, что все они — честные люди, коровы не крали, да и не было никакой коровы. Людей этих отпускают — всех, кроме одного, потому что обнаружилось, что человек этот — убийца. И вот за то, что он убийца, его оставляют досиживать за кражу несуществовавшей коровы.

*

— Спрашивают, видите ли, где гарантия, что не повторится. Но это не поиск истинной гарантии, а как бы мечта, как бы заклинание, чтоб им вот подтвердили, что не повторится. И бог с ними, с доказательствами — главное, чтоб пообещали, еще раз заверили. И можно быть спокойным... А я бы им отвечал, что никакой гарантии, что «не повторится», нет, а вот наоборот — признаков, что «повторится», сколько угодно! И «повторится», обязательно «повторится», можете быть уверены и тоже успокоиться! Лично меня, например, все это успокаивает, как ни странно. Любая, пусть мрачная определенность лучше самых радужных, но шатких надежд.

*

Выступает по ТВ некий чиновник, юрист. Интервью.

— И вот сейчас мы должны принять законы, чтобы Советы действовали, так сказать, на законных основаниях...

— Но ведь и раньше были законы, много всяких законов?

— Да, но это были законы, так сказать, застойного периода, отражавшие недостатки времени, когда были приняты. А сейчас мы должны принять новые законы...

Народ, верящий, что прежде он жил плохо, потому что законы были плохие, а теперь вот примет новые, хорошие, и начнет жить по ним хорошо, — такой народ по меньшей мере наивен.

Да народ и не верит...

*

Вот что пишется в редакционной статье «Принципы перестройки: революционность мышления и действий» («Правда», 5 апреля 1988 года): «Азбука марксизма: идеи и интерес — категории взаимосвязанные. Любой интерес выражается в каких-то идеях. За любыми идеями непременно стоит тот или иной интерес».

До чего же бедная азбука! Отдает рынком. А высокие идеи? А бескорыстное им служение? Все это мы позабыли, что ли?

*

Читал о проблемах Байкала, о повороте северных рек. И, как всегда в таких случаях, — недоумение. Ну вот они, конкретные виновники: Воропаев, Жаворонков. Так что же с ними делать? Сажать, стрелять? Но возведение карательных мер в принцип добром не оборачивается. Потому что сажали и стреляли всегда других, таких, как Вавилов, Чаянов...

*

А на вопрос, с которым сейчас все носятся: «Так что же с нами, дескать, происходит?», можно ответить: «Как всегда — что-то ненормальное». У нас ведь всегда было ненормально. Недавно ненормально молчали. Теперь ненормально орем. Когда-то ненормально боялись. Теперь — ничего не боимся, но это тоже...

*

Прекрасно и, как в сегодняшний день глядел, сказал В. Розанов: «Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у «оппозиции» есть только лакейская озлобленность и мука о своем ужасном положении».

*

Все эти экономические прозападные проекты, хоть и умны, но не принимают во внимание нашу исконную суть. У нас ведь ни одно начинание до конца никогда не доводилось. Последовательности не было и нет. А эти теоретики полагают, что, изменив нашу экономику, мы и нашу суть изменим.

*

И чудится мне, довольно скоро повернут говорить, что никакого особенного «застоя» и не было, то есть, может быть, был отдельный, небольшой застой в верхах, а энтузиазм масс, молодежи, ехавшей на целину, в тайгу, на стройки коммунизма, на БАМ, «стройку века»?.. Может быть, я же первый, сам испытавший некогда этот энтузиазм, и начну так говорить.

Например: «О, прекрасное и даже еще дозастойное время! Школа была напрочь оторвана от жизни, из нее выходили сплошь романтики и рыцари дальних дорог. Из нашего выпуска только один пошел в официанты, вызвав всеобщее недоумение и жалость. А теперь все поголовно хотят в продавцы...»

*

«Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не жизнь была...».

Это еще Бунин заметил. Но и до сих пор — правда, с той лишь разницей, что заседают и протестуют теперь «интеллигенты» не по поводу народных бедствий, но «кричат и пишут» исключительно о себе.

*

В статье, которую некогда написал К. Леонтьев, об интеллигентской правде и философской истине доказывалось, насколько мелка первая в сравнении со второй. Вот то, что сейчас происходит, и есть всплеск «интеллигентской правды». Больше, чем на «правду», интеллигенция вообще не способна. Но если раньше она тихонько шуршала по углам, то теперь — всплеск. Крики «ура!», «победа!».

*

«Права человека, — говорят, — права человека...». А бьются над «правами гражданина». А права человека — вовсе иные. Права человека, если уже на то пошло, — это его внутренние обязанности...

*

Слово «перестройка» употреблено было вначале, видимо, как рабочее — без мысли, что станет термином. Если б это предвидели, приискали бы, наверное, другое слово. Ибо в добром хозяйстве «пере-строек» не бывает. Ну, достраивают, доделывают, совершенствуют, но не перестраивают...

*

*

Фильм по ТВ — из зала суда: о разбирательстве иска Шеховцова против Адамовича. Что Шекспир, что Достоевский? Какие страсти, характеры! Особенно этот Шеховцов. И был по-своему убедителен. Эти — Адамович, Карякин, Поликарпов — на эмоциях, а он логичен. Стоит на своем, и все... В конце невнятно, но Адамович вроде даже с протянутой рукой к нему кинулся — уважать за твердость. Кто-то вроде даже воскликнул: «Да зачем вы к нему с рукой-то?!»

А вообще-то Шеховцов, при всей бросающейся в глаза одиозности своей фигуры, больше работает на правовое государство, на идею правового государства, чем прекраснодушные, убедительно прижимающие руки к груди Адамович и Карякин. «Нет доказательств, не было суда — не имеете права обвинять!»...

*

Но как реанимировался в нашем сознании Короленко с его письмами к Луначарскому! Ведь что у нас с ним связывалось! Трогательные «Дети подземелья», скучная «История современника». А тут вдруг такая проницательность, анализ, предсказание!

И уже тогда, на заре существования «самого демократического государства», совчиновник (даже из «самого интеллигентного правительства в мире») считал ниже своего достоинства отвечать какому-то там писателю.

*

При Хрущеве был реабилитирован бывший кандидат в Политбюро товарищ Эйхе. В письме Сталину из тюрьмы 1 октября 1939 года он писал, что обвинение против него было «делом рук действительных троцкистов, аресты которых он санкционировал в качестве первого секретаря партийного комитета Западно-Сибирского края и которые составили заговор с целью отомстить ему...».

Сам, следовательно, «санкционировал». Так почему же реабилитирован? А «действительным троцкистом», как рассказывал мне один энкавэдэшник, считался тогда всякий, у кого при обыске находилась «троцкистская литература». Сочинениями Троцкого, легально изданными сочинениями, была наводнена тогда вся страна. Это все равно, как если бы кого-то теперь, у кого завалялась забытая брошюра с брежневской речью, считать «сторонником застоя»...

*

Сейчас мы занимаемся тем, что устраиваем для народа громоотводы. Громоотводы же, как известно, не способствуют накапливанию энергии, они помогают тому, чтобы энергия неотвратимо утекала в пустоту.

*

Показали по ТВ в «Пятом колесе» адвентиста, ректора духовной семинарии. Построили они ее в Тульской области, в селе Заокском на средства общины. Роскошное здание, моленная, современная импортная аппаратура. Предусмотрен кафетерий — для жителей поселка, которые захотят прийти. Мечтают также, если позволят им, построить здесь же, на свои деньги, детский реанимационный центр, пригласить Дикуля. Государство не построило, а они построят! Какая это будет реклама — тому же адвентизму! И, конечно же, к ним пойдут, поедут со всей страны. Это будет реальная благотворительность, это будет та самая запрещенная прежде «социальная активность религиозных обществ». Законом запрещена она и теперь. И несколько лет назад этого ректора просто бы посадили. Можно и теперь посадить, ибо новый Закон о свободе совести пока не принят. Но все это теперь разрешено, ибо теперь — новые веяния. Мы — не правовое государство, мы государство веяний. Каждый раз — все новых и новых веяний...

*

У Сталина, при всей ужасности его фигуры, было одно несомненное принципиальное качество в сравнении с другими нашими лидерами: он всегда претворял в жизнь то, что намечал. Захотел истребить цвет крестьянства, загнать мужика в колхоз — и сделал. Захотел обезглавить армию — и обезглавил. Решил уничтожить цвет интеллигенции — и уничтожил.

И вот вопрос: если ему с таким успехом удавались его злые дела, отчего ж мы свои добрые-то довести до конца не умеем?!

*

— Говорят теперь вроде, что кончается время митингов, наступает пора практических действий... Вот откуда это они всегда знают: когда что кончается, когда что начинается?..

*

Короленковские письма Луначарскому можно сравнить по силе с толстовским «Не могу молчать!». Только не в условиях «прогнившего» царизма, а в условиях беспощадного террора. И оттого они еще героичнее.

*

Как упоены мы этими простыми истинами — о свободе совести, демократии, гласности и т. д., к которым нам разрешили прийти, как убедительно и с иронией в адрес прежнего непонимания мы их теперь высказываем.

*

Что такое сделал Булгаков? Он что — представил нам «энциклопедию российской действительности»? Отразил существенные экономические и социальные процессы своего времени? Нет, он вместе со своим Мастером исследовал один всего маленький вопросик из обширной нравственной сферы — о трусости. Но мы оттого так полюбили этот роман, так мучительно прикипели к нему, что вопрос этот оказался для нашего общества главным! Не бедность наша, не неумелость в делах, не так называемый «застой», а трусость и вытекающая из нее несвобода — вот наше до сих пор самое больное место.

*

Отравил Сталин Горького, не отравил — это сейчас вряд ли докажешь. Но и не в каком-то из этих двух утверждений истина. А истина в том, что мы знаем: спокойно мог отравить! И с этой истиной нам не нужно другой, окончательной: «отравил» — «не отравил». Ситуация, когда наличествующее предположение полностью заменяет собой точное знание.

*

С таксистом, пока ехали, говорили. Все понимает и формулирует не хуже наших ведущих публицистов. «Семьдесят лет народ давили, руки ему обрубали, душу вытряхивали, а теперь хотят какой-то активности, веры!».

И с кем ни поговоришь — все сходятся. Прежде объединялись в вере, теперь объединились в неверии.

*

Литературное, книжное, газетное обозрение. Почему все так дружно поднялись, когда подписку хотели сократить? Потому что наступили бы — будни, прекратилось бы зрелище. Ведь читать, что сотворил Сталин, что замышлял Берия, что думал себе Хрущев, — это для нас то же зрелище. Проходящее, так сказать, перед «умственным взором». И в нашем случае тот исторический давний крик несколько трансформируется: «Не хлеба, так зрелищ!».

*

Говорят: каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Но правительство никогда не опирается на народ в целом, оно, как мы учили из истории, приходя к власти, всегда опирается на слои. На какие-то отдельные части народа. На обедневшее дворянство, на передовую буржуазию и т. д. При подчинении остальной массы своей воле. И в таком случае я заменил бы «заслуживает» на «желает».

Да, были какие-то слои (из очень уж вчера угнетенных, заклейменных проклятьем, а сегодня возжелавших «стать всем», самим распоряжаться и угнетать), которые захотели Сталина. И они его получили, он явился. А тыкать Сталиным всему народу — как он, мол, его допустил?! — неправильно. Несправедливо. Не примерно ли это имел в виду и Герцен, когда писал: «Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование — в этом его единственная вина».

*

— Умирает очередной лидер, и начинают его пинать. И это называется — «партия нашла в себе мужество сказать народу правду». Нет! Мужество будет, если ты сам ошибся и сам признал. Но ни один лидер пока, кроме Ленина, что-то так не сделал...

*

•

— Мы ведь теперь в правовое государство играем. Игра такая — в правовое. Вот Чурбанов и К°... А их, может быть, как порождение застойного времени, и судить надо было еще «по-застойному». Инкриминировали же диссидентам черт-те что, чтоб засадить. Вот и Чурбанову... Подыскать «свидетелей» побойчее, в глаза его не видавших, — соорудить, в общем. Может быть, и с нарушением «прав», зато справедливо...

•

— Раньше слушать «голоса» было проще, легче. Мы твердили, что у нас все хорошо, а у них все плохо, «они» уверяли, что нет, это у них все хорошо, а у нас плохо, и создавалось какое-то равновесие. А теперь и мы орем, как у нас все плохо, и признаем, что у них-то, оказывается, «хорошо», и «они» нам подтверждают: да, у нас хорошо, а у вас плохо — и вот послушаешь все это, и вообще тоска!

•

По ленинградскому ТВ — яростные дебаты о смертной казни. Отменять ее или не отменять? Как будто если мы эту смертную казнь отменим, то сразу выбьемся в гуманное общество.

А начальник, доведший до инфаркта подчиненного, — это не смертная казнь? А анонимщик-кляузник, загнавший в гроб честного человека, — это не смертная казнь? А врач-разгильдяй, зарезавший больного на операционном столе, — это не смертная казнь?.. А сошедшие с рельсов поезда, а сталкивающиеся пароходы, а взорвавшийся чернобыльский реактор, а рухнувшие в Армении девятиэтажки, а недавняя катастрофа в Башкирии — все это не смертные казни? Причем не преступников, а ни в чем не повинных людей...

Один из неотразимых доводов сторонников отмены: «А вы лично могли бы привести приговор в исполнение?» Но кто же устраивает все эти смертные казни? Мы и устраиваем. Лично.

•

«Благодаря даровому крестьянскому труду, каждая новая потребность помещичьего хозяйства удовлетворялась простым наложением новой работы на крестьян, — пишет В. О. Ключевский. — Потому помещик не имел побуждения копить оборотный капитал, изобретать новые источники дохода посредством лучшей эксплуатации своего имения. Отсюда развились главные недостатки помещичьего хозяйства, существовавшие до самой отмены крепостного права: отсутствие бережливости, предприимчивости, предусмотрительности, равнодушие к усовершенствованным приемам земледелия, к техническим изобретениям в сельском хозяйстве других стран. Простор власти, возможность получить все даром, посредством простого приказа из конторы, заменяли оборотный капитал и сельскохозяйственные знания».

Заменить здесь некоторые слова: «имение», «помещик» — на другие: «колхоз», «сельхозуправление» и т. д. — и выйдет, что мы опять при крепостном праве?

•

— Позавлекали, позавлекали народ в течение нескольких десятилетий мечтой и иллюзией, а потом сказали ему: «Ничего у тебя нет и нескоро будет!»

•

— И опять его призывают терпеть и строить, опять ему обещают жизнь — впереди.

•

— А «не сметь командовать!» — что это, как не команда?

•

— «По капле», значит, выдавливаете? Долгонько же придется выдавливать!

•

И еще чувствую, что социально остервенел. Все мы — социально остервенели. Надоело, и устал от разгула информации. «Пресса толчет души, — заметил В. Розанов в «Опавших листьях». — Как душа будет жить, если ее что-то раздробляет со стороны?». Прекрасно также сказал один средневековый японский мудрец: «Мне по душе тот человек, который не знает даже того, что для всех стало старо».

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

ПИР НА ДАЧЕ

Перед нами первый современный русский роман о сумасшедшем доме — без кавычек (ранее более человечески называвшемся «домом скорби», а нынче на ученый лад «психиатрическою больницей»).

Да, мы слыхали о них, читали в «сам-» либо «тамиздате» статьи и книги прошедших через сей ад диссидентов. Наконец, в позапрошлом году сперва «Комсомолка», а затем 19 ноября 1988-го «Учительская газета» в статье «Исцелись, медицина» всенародно назвали и на Родине эту болезнь. Автор публикации — кандидат медицинских наук М. Буянов — прямо относит начало сатанинской этой практики еще к 1930-м годам.

Кстати, место действия романа Михаила Попова — пусть оно и не названо «в лоб», но вполне ясно для сколько-нибудь знающих Москву — то же, что и в документальной повести Г. Шиманова «Записки из Красного дома», созданной на полтора десятилетия ранее. Это известная «Канатчикова дача», получившая первое свое имя от владевшего имением в XIX веке купца, — отсюда и эпиграф романа, пушкинское «Гости съезжались на дачу...»

Завязка романа состоит в том, что юный студент-историк Иннокентий за три дня до свадьбы дает сам себе ложную телеграмму о смерти матери и бежит, словно догоняя Подколесина, от венца безо всяких как будто причин. Потрясение укладывает его даже в больницу, но затем он осенью возвращается в университет, где они вместе учатся с бывшей невестой у ее отца-профессора. Герой вновь начинает ходить кругом нее — и теперь уже помещается в клинику душ по весьма настоятельному ходатайству несбывшегося тестя. Далее — слово за читателем, мы же хотим обратить внимание на то, что перед нами случай, обратный по порядку в ряду прочих сегодняшних «стираний белых пятен». В отличие, скажем, от лагерной темы, где вперед художников двинулась сперва стая публицистов, выделившая затем целый легион «заменителей» Солженицына, — здесь все-таки опережает писатель. Причем убегающий «самых острых» поворотов в стремлении показать единую поверхность — как у загадочной «Мебиусовой ленты» — трагедии двух лежащих как будто по разные стороны действительности миров с-ума-сшедших и на-ум-нашедших. Кроме того, в качестве особой черты книги следует назвать еще и способность автора «взять слишком близко к жизни» и узнаваемым людям, что приносит любому автору, как правило, немалое число хлопот и неприятностей...

П. ПАЛАМАРЧУК

Попов М. ПИР: роман. — М.: Сов. писатель, 1988.

•

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Абрамов Ф. ИЗ КОЛЕНА АВВАКУМОВА: Повести, рассказы. — М.: Современник, 1989. — 560 с. — (Сел. б-ка Нечерноземья). — 2 р. 40 к. 300 000 экз.

Бальмонт К. СТИХОТВОРЕНИЯ: Репринтное воспроизведение изд. 1900, 1903 г. с прил. — М.: Книга, 1989. — 554 с., ил. — (Из лит. наследия). — 12 р. 30 000 экз.

Ходасевич В. СТИХОТВОРЕНИЯ / Вступ. ст. Н. А. Богомолова, Д. Б. Волчека. — Л.: Сов. писатель, 1989. — 463 с. — (Б-ка поэта. Большая серия). — 5 р. 100 000 экз.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ УКРАИНЫ: Антология / Пер. с укр.; Сост. В. Крикуненко. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 159 с. — 60 к. 10 000 экз.

СЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ / Пер. со словац.; Под ред. И. Ивановой; Сост. П. Г. Богатырева; Худож. А. М. Максимов. — М.: Худож. лит., 1989. — 430 с., ил. — 1 р. 60 к. 15 000 экз.

Куняев С. ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ...: Кн. критич. и публицист. ст. о лит., культуре и искусстве. — М.: Сов. Россия, 1989. — 301 с. — (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького). — 95 к. 25 000 экз.

Семенов В. АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН. — М.: Современник, 1989. — 384 с. — (Любителям рос. словесности). — 1 р. 20 к. 50 000 экз.

Боков В. ВЕСЕННИЕ ЗВОНЫ: Новая кн. стихов. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 238 с. — 65 к. 10 000 экз.

Лихоносов В. НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ: Ненаписанные воспоминания. Роман. — М.: Сов. писатель, 1989. — 608 с. — 3 р. 200 000 экз.

Сорокин В. ХОЧУ БЫТЬ ВЕТРОМ: Стихотворения, поэмы. — М.: Сов. Россия, 1989. — 191 с. — (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького). — 65 к. 25 000 экз.

Оруэлл Д. «1984» И ЭССЕ РАЗНЫХ ЛЕТ: Роман и худож. публицистика / Пер. с англ.; Сост. В. С. Муравьев. — М.: Прогресс, 1989. — 378 с., ил. — (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза). — 2 р. 10 к. 200 000 экз.

ИСТОРИЯ

Воспоминания. Очерки. Письма.

Наша последняя публикация «Окаянных дней» Ивана Бунина. стр. 66.

Пером очевидца

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛЫМЫ ЗА СУХАРЕВУ БАШНЮ

ЭТАП

В вагон нас грузили без разбора статей, так что мы, «политические», оказались вместе с «бытовиками», среди которых были воры, убийцы и прочие социально опасные элементы (СОЭ). Среди бытовиков особую прослойку составляли люди, осужденные за какие-либо административные преступления. Это был своего рода буфер между нами и уголовниками, но при разделении лагерей этот буфер всегда был на стороне последних. Так само собой произошло и в вагоне.

В вагоне были двухъярусные нары с обеих сторон от входа. Мы заняли одну, бытовики — другую половину. Парашная дыра находилась в середине. Как отверстие для возможного побега она не годилась, санитарное же ее значение мы вскоре оценили: в вагоне никогда не было зловония.

Издавна сложившаяся и малообъяснимая нелюбовь бытовиков, особенно блатарей к нам, фраерам, хорошо известна, в какой-то степени она носила и «классовый» оттенок. Ведь в отличие от нас, «врагов народа», они себя считали вроде как бы его друзьями. Хотя среди них встречались закоренелые антисоветчики. Так или иначе, но в вагоне эти противоположности не выливались в явную враждебность, блатари вели себя пристойно. Вероятно, сказывалось осознание общей судьбы, перед тревожной перспективой которой мелкие страсти утихали. Не бушевали блатари и между собой, их сплачивала, вероятно, давно выработанная система своих внутренних законов. В отношениях между «лагерями» можно было заметить и своего рода диффузию, когда кто-либо из нас, фраеров, приобретал расположение блатарей, например, за умение рассказывать мелодраматические «романы» (их особенно любили эти, казалось бы, бездушные люди) или за душещипательные песни. Среди нас был один татарин, кандидат каких-то наук, обладающий красивым тенором. Так

Окончание. Начало в № 10.

он почти весь этап провел на половине бытовиков, блаженствовал там, лежа в нижнем белье (мы не раздевались), и пел протяжные песни. Особенно хорошо у него получалась песня «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село». Она и нас волновала до спазмы в горле. Блатные проводили время, главным образом, за картежной игрой. Карты делались из чудом доставаемой бумаги, утолщаемой в несколько слоев хлебным клеем. Меня поразил профессионализм, с каким все это производилось. Игра никогда не доходила до драк. Что же касается ругани, то именно в вагоне я познал такое искусство матерщины, о котором и не подозревал. Ругательства составлялись в несколько «этажей», и, чем больше было этих «этажей», тем выше ценилось искусство ругани. Я заметил, за этой формальной изощренностью уже терялся грязный смысл матерщины, она превращалась в своего рода абстрактный формализм, нисколько не затрагивающий глубин, как не затрагивает их и абстрактный формализм в искусстве. Песни татарин и его подголоски распевали самые различные, я их не помню. А вот самую знаменитую из блатных песен — «Ванинский порт» я услышал позднее, только на Колыме. Текст этой по-своему талантливой песни-гимна воспроизведен в автобиографической повести А. Жигулина «Черные камни».

Кормление этапа составляло длительную и трудоемкую процедуру. Я не говорю об изготовлении пищи, это было вне нашего внимания. Но раздача ее требовала остановки эшелона на несколько часов. Обычно это делалось в отдалении от населенных пунктов. Сначала раздавались хлебные пайки (600 г), которые по счету принимал староста вагона, затем приносили большой жбан с овсяным супом с горбушей и в мисках раздавали его по нарам. Никаких недоразумений при раздаче не было, в этом отношении в вагоне царила жесткая дисциплина. Я удивлялся, как охрана этапа справлялась с этой громоздкой задачей. Ведь в эшелоне было не менее 500 человек.

Из дорожных впечатлений мне запомнились два: побег из этапа и Байкал. Побег был совершен ночью, когда поезд медленно переваливал через Уральский хребет. Была сильная гроза, хлестал ливень, поезд остановился, и мы слышали, как вдоль состава забегали охранники с собаками. Раздавались и выстрелы, и громкий стук деревянными молотами по стенам вагонов — это проверяли, не выпилены ли где-либо доски. С такими же молотами охранники бегали и стучали по крышам. После этого случая проверка вагонов ударами деревянного молота производилась регулярно. Беглецов, как разнесся слух, поймали, и их ждала жестокая расправа. Ведь за каждого непойманного беглеца охране угрожало особое наказание.

О красоте Байкала все люди наслышаны чуть ли не с детства. Надо же было так случиться, что эту красоту я смог увидеть в течение нескольких минут (у окошка была очередь) из товарного арестантского вагона! Но и в такой обстановке впечатление было огромным. Может быть, даже более сильным, чем в вольных условиях, так как острее ощущался контраст между величием свободной Природы и ничтожеством покоряющего ее Человека. Байкал в тот день был удивительно спокоен, ему ведь было наплевать на то, что куда-то везут полтысячи бесправных людей, из которых в будущем могут выйти и те, кто преступно замахнется на чистоту его вод. С Байкалом совсем прочно оставалась сзади Россия. Ни Забайкалье, ни Приморье у меня не вызвали никаких ассоциаций с Родиной. Даже широченный Амур. Хотя из Колымы все эти места будут восприниматься как благословенный «материк». Так, примерно через месяц, мы дотащились до Владивостока.

Сейчас мне трудно вспомнить, в каком месте по отношению к городу находилась знаменитая пересылка. При выгрузке из вагона мне бросилось в глаза множество подъездных путей с такими же, как и наш, красноваргонными товарными составами. Неужели все они привезли сюда «живой товар»? Ведь по пути на Восток бывало, что мы либо обгоняли, либо стояли на станциях рядом с вереницей вагонов, из зарешеченных окошек которых выглядывали бритые головы. В надежде, что кто-либо из местных жителей пройдет по местам этих остановок, мы бросали за окно краткие дорожные письма, заклеенные в виде треугольников. Одно из таких моих писем благодаря сердобольности подобравшей его женщины (я уверен, что это именно женщина) дошло до Москвы. Об этом я узнал, конечно, много-много позже.

Построив колонну, проверив еще раз уже сотни раз проверенный ее состав, охранники с собаками (я полагаю, что их кормили всю дорогу лучше нас) повели нас в сторону целого городка бараков и палаток, громоздящихся по пологому склону сопки. Куда бы я ни бросил взгляд (кроме стороны моря и города, конечно) — всюду виднелись палатки и бараки, бараки и палатки, разделенные на участки колючей проволокой. Это и был Владивостокский пересыльный пункт.

Где-то внизу угадывался большой город. За его крышами расстилалась голубая водная гладь бухты Золотой Рог (как в Константинополе). На горизонте вода и небо сливались, и казалось, что море уходит в поднебесье. По нежным краскам картина напоминала прославленные полотна художника Айвазовского. И не случайно. Ведь Владивосток находился на широте Севастополя. Я забыл об этом, а может быть и не знал, поэтому находился под солнцем без кепки (которую у меня по прибытии на пересылку тут же выменял за пайку хлеба какой-то блатарь). И был наказан. Я вдруг очутился без сознания на земле. Со мной приключился солнечный удар. К счастью, он был несильным, а я еще не превратился в дистрофика, так что все обошлось. Хорошо, что я удержался от промена своего пальто. На него тоже зарились блатари, но я отдавал себе отчет, что впереди меня ожидают еще неизвестные невзгоды. Обмен вещами производился через проволоку, все это было похоже на какой-то барахольный базар, отчего атмосфера легендарности как-то скрадывалась. Но колючие проволоки напоминали о себе очень реально. Мы были похожи на загнанное стадо, которое ждет поочередный убой. И на самом деле, вскоре начался медицинский осмотр, определяющий степень годности того или другого к колымским работам. Женщина-врач, внимательно прочитавшая мою «путевку», что-то тихо сказала другому врачу о моих легких. Но слово «годен» прозвучало безапелляционно. Ну что ж, хорошо хоть, что я к чему-то годен. И даже не к чему-то, а к суровым колымским условиям.

Не помню, ночевали ли мы на пересылке. Было настолько тепло, что в бараки мы не заходили, валялись тут же в проволочных загонах. Это скрадывало чередование дня и ночи, казалось, что длится один день. Кажется все же, что в первую же ночь нас стали опять грузить в машины и отправлять к причалам, где нас перегружали в баржу, подвозившую к маячившему на рейде грузовому судну. Это был голландского производства сухогруз под любопытным названием «Кулу». Позднее я узнал, что такое название носит одна из колымских рек.

«Кулу» вмещал в свои трюмы с трехэтажными нарами до 3000 человек. Когда дошла моя очередь вступить на этот «корабль верующих» и неверующих, то все нары были битком набиты, так что не оставалось ничего иного, как разостлать свое пальто прямо в проходе по железному днищу «Кулу», по которому текла грязная вода. Вот она, предусмотрительность моей мамы! Мысли о ней и угнетали, и укрепляли меня. Нет, я обязательно выдержу все и вернусь. Иначе зачем бороться за существование? С такими мыслями я заснул под журчание текущей воды. Задавленная мысль освобождала меня от снов...

Проснулся я от весьма ощутимой качки и глухих ударов волн в борта «Кулу». Пока я спал, наш транспорт потихоньку, по-воровски снялся с якоря и уже приближался к проливу Лаперуза между Сахалином и Японией. Ночь выдалась ветреная, большие волны ходили ходуном, хлестал холодный дождь. На «Кулу», естественно, не было туалетов, по нужде надо было вылезать на палубу и пользоваться подвешенными к бортам деревянными уборными. Придумано остроумно, не надо никаких уборщиков, все поглощало море. Но добраться до уборных во время качки, а главное, находиться в них, требовало своего рода акробатического искусства. По всей палубе, громко гремя, катались бочки, видимо, сорвавшиеся с креплений, а, может быть, по российскому «авось» и вовсе не закрепленные. Можно было легко попасть под катившуюся бочку, а они были не пустыми. Сквозь кромешную темень где-то справа мелькали огоньки японского поселка. Во тьме я разглядывал какой-то серый силуэт морского судна. Японец? Да, это был один из сторожевых японских судов, в задачу которого, вероятно, входила проверка, какой груз везет советский транспорт. Проверка была формальная, свелась к непонятным мне крикам. Я понял, почему «Кулу» вышел из Золотого Рога потихоньку и шел без всяких огней. Но что могла дать настоящая, неформальная проверка? Абсолютно ничего! Советский транспорт не содержал оружия, а до остального японцам не было дела.

От Охотского моря у меня не осталось особых впечатлений. Оно было похоже на расплавленный и мерно колышущийся свинец, с белыми гребнями громадных волн. А ведь я впервые видел море, с которым с детства связывались поэтические картины, усвоенные по рассказам Станюковича. Под влиянием этих рассказов я даже одно время готовился стать моряком! Вот тебе и «моряк» поневоле. На старых сухогрузах морская работа выглядела грязной и до предела прозаической. Кто составлял команду «Кулу»? Вероятно, тоже люди НКВД? Не позавидуешь им.

В бухту Нагаево «Кулу» стал входить только на пятые сутки. Приближение к Магадану живо напомнило мне рассказ В. Короленко «Без языка», в котором с изумительной наглядностью описано, как постепенно из воды вырастают американские небоскребы, вырастают все больше и больше, пока не открылся весь Нью-Йорк. У нас роль этих небоскребов играли прибрежные скалистые острова. Они сначала появились, медленно оставались сзади, а «Кулу» все шел и шел, пока впереди не обрисовалась цепь сопок. «Кулу» подошел к невзрачному тогда причалу, и мы вступили на колымскую землю. Неприглядная это была земля, все камень, камень и камень. На сопках — мхи. Дорога к магаданской пересылке вела в гору, и наше унылое шествие было очень похоже на «шествие на Голгофу», запечатленное кистью многих великих художников. Вместо деревянного креста разве не несли мы крест мысленный? Но наше шествие никто не рисовал и не фотографировал, хотя это могло бы очень пригодиться для постановок будущих антифашистских фильмов. И весьма предусмотрительно не запечатлевали: теперь кое-кто может говорить, что этого вовсе не было, даже если и было!

Так, водворением нас на Магаданский пересыльный пункт, закончился рязанский этап. Впереди нас ожидало распределение на золотые прииски. Шел август 1937 года.

На пересылке мы, как и во Владивостоке, оказались в разливанном море разностатейных арестантов. Никакого разделения между ними не было. Внутри зоны люди бродили свободно, обменивались шмотками, воровали. У меня в первые же часы украли рюкзак со всем содержимым. Особенно жалко было набора посуды, без которой трудно обходиться в любых обстоятельствах. Впрочем, я вскоре понял, что лучше вообще не иметь никакой собственности (кроме одежды, да и то плохой), все равно блатарями будет украдено или отнято. Я даже не знаю, к какой социальной категории нас можно было отнести. К люмпен-пролетариату? Нет, у него хоть что-то было. У нас же не было никакого «что-то», даже собственной миски.

Как художник, я все же не мог не обратить внимания на специфику окружающего. Тайга почти вся была вырублена, оставались маленькие кусочки. Сопки покрыты главным образом мхами, которые в августе приобретают разный цвет, так что сопки становятся похожими на персидский ковер. Это радовало глаз, хотя низко спускающиеся над сопками сизые тучи выглядели угрюмо. По склону сопки паслись латерные лошади. Меня поразило, что это были не местные маленькие «якуты», а мощные, дородные, упитанные кони, вероятно, специально отобранные для тяжелых условий Колымы. Какая оплошность! Как раз именно эти европейские красавцы чрезвычайно плохо переносили морозы, и мне пришлось видеть такие картины, на которые хотелось закрыть глаза. Ведь коню ничем не мог себе помочь...

Сам Магадан в 1937 году представлял маленький поселок из деревянных домиков и бараков. Лагерная баня была в каком-то миниатюрном бревенчатом срубе. Конечно, о настоящей санобработке и здесь нечего было думать. А тело так просило воды, воды, воды...

Вскоре нас стали партиями погружать в полуторки и отправлять в глубь Колымы.

В ГЛУБЬ КОЛЫМЫ

Колыма от Магадана до поселка Сусуман тогда прорезывалась неплохим шоссе, проложенным с юга на север сквозь горы, долины и даже скалы. Это было грандиозное шоссе, строительство которого хорошо описано в книге И. И. Лукина. До Сусумана насчитывалось 600 километров, кроме того было немало ответвлений в разные стороны. Колымские водители отличались лихачеством, и подчас их смелые виражи у скал рядом с пропастью заставляли нас по-звериному прижиматься друг к другу. Как будто это могло спасти. В каждой машине утрамбовывалось 25 человек. На переднем (около кабины) сиденье находились два красноармейца с винтовками. Смелому блатарю, конечно, можно было убежать от их бдительного взгляда, сразу нырнув в гущу кустарника, а местами и тайги. Но куда бежать? Без еды... Без пункта «назначения»... Ведь не мог же служить таким пунктом Магадан. А больше деваться было некуда. Зверю было свободнее.

Где-то на 250-м километре сделали остановку на обед. Его давали в кое-как сколоченной у шоссе фанерной палатке, что никак не связывалось с рассказами о богатой золотой Колыме. Не связывалась с этим и пшенная похлебка, густо сдобренная томатной пастой. Чего-чего, а этой томатной пасты, вероятно, было завезено на Колыму столько, что ее вкус уже вызывал отвращение. И вот Сусуман. Рядом протекает речка Берелех, так что вся широкая долина носит это название. Много-много позже я узнаю, что в долине Берелех в доисторическое время водились мохнатые мамонты, и один мамонтенок чуть ли не целиком, то есть со всеми потрохами и даже пищей в желудке, будет найден в мерзлоте именно здесь. Сусуманцы встретили нас радушно и стали бросать в нашу сторону (мы расположились на траве) банки разных консервов. Кое-кто из наших, сильно отощавших и с жадностью набросившихся на неожиданный дар, поплатился отравлением. А нам нужно было пешком добираться по берелехской долине на только что основанный прииск «Мальдяк». Отдохнув немного и оправившись от коварных консервов, мы тронулись в путь, сопровождаемые, конечно, непременным конвоем. Нас было 25 человек. Со мной были и Скорняков, и Виноградский, а вот Зубов застрял в Магадане. Естественно, мы старались держаться вместе. Шли по болотистой местности, перешагивая с кочки на кочку. Идти предстояло около 15 километров. И хотя груза у нас никакого не было, но все же эти 15 километров мы одолеть не могли. Пришлось заночевать.

Это была первая ночь в колымской тайге. Правда, тайга не выглядела так, как ее показывают в кино. Крупные деревья уже повырубали, росли в основном чахлые молодые лиственницы и кусты. В сосняке было суше (сосны любят песок), здесь мы и разбили ночевку, наломав сосновых лап для подстилки. Самое страшное — начали одолевать комары. Пришлось все время дымить костром, сон не шел, и с ранним утром мы снова двинулись в путь. Шли в белом густом тумане, шли понуро, вдруг где-то впереди сквозь туман прозвучал удар колокола. Это было потрясающе! Тайга, бездорожье, безлюдье, 600 километров от Магадана — и вдруг звон колокола. Совсем как в «Ночи на Лысой горе» Мусоргского. Конвойные объяснили, что мы подходим к стану «Мальдяк», на котором прозвучал утренний «подъем».

Стан — это еще не сам прииск «Мальдяк». От стана до «Мальдяка» еще 10 километров, но уже по другой, более таежной долине. Стан — приисковая база. Она, по-видимому, была заложена здесь еще до образования прииска, на речушке Мальдяк, извивающейся между довольно старых сосен. Бросались в глаза очень добротные строения складов и других домов. Вот только помещение кухни-столовой опять поразило своей карточной «архитектурой». Видно было, что эта столовая не для аборигенов, а для всякого проходящего арестантского люда. Так или иначе, а нас снова накормили досыта пшенным супом с томатом, причем здоровенный повар-блатарь приговаривал: «Ешьте, ешьте, братцы, от пуза. Колыма богатая, не скупится». Между тем в пшенном супе не было ни картофелин, ни лука, хотя сушеные россыпи и того и другого мы видели тут же, на разостланных брезентах. Этот пузатый повар сулил нам большие заработки, как будто он не знал, что Берзин, при котором некоторые категории колымчан действительно заполняли наволочки деньгами, смещен с поста начальника Колымы. О расстреле его не только повар, но и многие люди из начальства не знали. У нас же, «братцев-кроликов», появилось нечто вроде мечты вернуться с Колымы не бедными. Поразительно, до какой степени крепко в нас засела наивность, которая не выветрилась даже после этапа.

НА СЕНОКОСЕ

Мы готовились к отправке на прииск «Мальдяк», но нам объявили, что мы пойдем на сенокос, для чего тут же была сформирована бригада во главе с украинцем-бытовиком Клеменчуком. Бригада состояла из 10—12 человек, в нее попал Виноградский а Скорняков, подобно Зубову, «отсеялся». Потом мы узнали, что он попал на Кулу.

Сенокос! Это была самая любимая моя в детстве работа, к которой мы относились, как к своеобразному культу, празднику. Кто участвовал в сенокосе, тот знает, что это далеко не легкий труд, но тяжесть его искупается поэтической обстановкой, особенно когда сенокос ведется среди лесных полян и перелесков. Немало таких мест мы проходили на пути от Сусумана к стану «Мальдяк». Теперь нам предстояло вернуться на них, окашивать, метать стога, что временно оттягивало тяжелые работы на прииске. Житье у нас было, по колымским условиям, вольное, то есть без конвоя, что меня даже удивило. Ведь кругом тайга, беги, куда хочешь. Но уж какой раз мне приходится напоминать, что на побег может решиться только крайне неблагоразумный блатарь. Мне встретятся такие случаи, но об этом в своем месте.

Я умел косить, но выпало стать коневодом, что тоже приятно, так как я с детства любил лошадей и мог с ними обращаться. Мне поручили красивую европейскую лошадь, с которой, однако, вышло немало хлопот: она хорошо взбиралась на сопки (во время наших переходов с места на место), но совершенно не умела спускаться с них. Приходилось совершать с ней километровые крюки.

Любопытно, что, оставшись наедине с блатарями, ни я, ни Виноградский нисколько не подвергались никаким притеснениям. Наоборот, мне казалось, что они относятся к нам покровительственно, как к пострадавшим за правду. Может быть, это и не так. Может быть, их располагало то, что Виноградский, будучи филологом, развлекал их интересными рассказами, а я, будучи художником, рисовал им наколки в виде женщины, несомой в лапах когтистым орлом. Мне тогда в голову не приходило, что я работаю, в сущности говоря, на развращение блатной психики, за что приехавший десятник и сделал мне выговор. Мне он показался смешным. Нашли на чем морализировать с блатарями. Но больше заниматься я этим остерегался.

На сенокосе я впервые услышал слово «пахан» (отец). Так меня называли, вероятно, за мою отросшую черную бороду, хотя Клеменчук был старше меня. «Пахан» — это звучит миролюбиво. Три недели на сенокосе в конце августа — начале сентября 1937 года остались единственно светлыми в моих колымских воспоминаниях. Именно здесь, на сенокосе, я получил первое письмо от Али — моей будущей жены. Она писала о смерти матери и мужа, замужество за которым в свое время разлучило нас. Теперь я твердо знал, что вернусь именно к ней, к Але, с которой рос вместе и которую чуть было не потерял. Я воспринял это как предначертание Судьбы, в силу ее я все больше и больше уверовал.

НА ПРИИСКЕ «МАЛЬДЯК»

Прииск «Мальдяк» тогда представлял едва обжитое место. Стояло два-три рубленых дома для начальства и геологической службы да столько же или чуть больше брезентовых палаток. Нам предстояло построить каркасы для двух десятков палаток, установить столбы электроосвещения, прокопать водоотводную канаву со стороны сопки. Сами мы разместились в одной из существующих палаток да так в ней и остались на зиму. Пока сильные морозы не грянули, работа наша спорилась, так как Клеменчук был очень дельным бригадиром и умел все делать к выгоде бригады. Это был своего рода солженицынский Тюрин из «Одного дня Ивана Денисовича». Кстати сказать, этот рассказ до предела точен. Прочитав его (позже), я думал, что это описан колымский прииск, где я знал каждую деталь. С наступлением колымских морозов работа усложнилась. Земля стала, как бетон. Чтобы выкопать яму для столба, нужно долбить землю ломом с проходкой одного-двух сантиметров в час. А силы, немного накопленные за сенокос, стали быстро таять. Питание на прииске не шло ни в какое сравнение с тем сухим пайком, который выдавался нам на сенокосе. Жидкий овсяный суп с непременной горбушей, немного каши. И никаких овощей, не говоря уже о мясе. Получив пищу в самодельные (из консервных банок) котелки, мы бежали от кухни скорее в палатку, чтобы съесть обед теплым. Хлеб нормировали согласно выработке, от 900 г до 400 г штрафного пайка. Хлеб подчас настолько замерзал на складе, что мы распиливали буханки двуручной пилой.

Сейчас мне трудно представить, как это мы могли переносить морозы в 40—50 градусов в палатке из одного слоя брезента, «утепленной» изнутри только листами фанеры. Никакой прокладки мхом не было, да и откуда взять мох, когда снег покрыл землю уже на толщину более полуметра. Заранее же заготавливать его было еще некому. В палатке с нарами в два этажа стояли и круглосуточно топились две печки-бочки, пожиравшие несметное количество топлива. Сушняк был выбран с сопок еще в начале зимы. Теперь мы срубали полусухие лиственницы и стаскивали их вниз. А к концу зимы очередь дошла и до свежих лиственниц. Когда в мае 1938 года я покидал «Мальдяк», все сопки кругом были голые. Мертвая картина! А ведь прииску еще надо было существовать. И даже не один год. Ясно, что планирование энергетических ресурсов отставало от планов золотодобычи, за что Дальстрою в свое время пришлось жестоко расплачиваться. Но я залез уже не в свою сферу. Вернусь к нашей жизни на «Мальдяке». Впрочем, это была не жизнь, а медленное угасание.

Как и в этапном вагоне, в мальдякских палатках для заключенных не было войны между «врагами» и «друзьями» народа. К тому же в палатках не было разделения на половины «политическую» и «бытовую». Размещались на нарах побригадно, а бригады были смешанные. Относительно мирное существование объяснялось, видимо, тем, что все одинаково осознавали драматичность положения в тайге за 600 километров от главного начальства, когда малейшее нарушение баланса могло привести к общей гибели. И восстанавливать мир будет некому.

Мое положение больше ухудшилось с расформированием бригады Клеменчука, когда я попал на основные земляные работы. В зимнее время они состояли в так называемой вскрышке торфов, то есть в снятии пустой от золота породы и отвозе ее в сторону, на отвал. Эта пустая толща (торфа) достигала порой до 8 метров, будучи сцементированной морозом до крепости бетона. Простым кайлом такую породу не возьмешь, тем более, что норма выработки на одного человека была громадная, 6—8 кубометров! Для ускорения работ (торфа нужно было вскрыть к весенне-летнему промывочному сезону) применялись взрывы, а для зарядки бурок аммоналом нужно было пробуривать эти бурки. После взрыва нам надлежало дробить глыбы на более мелкие куски и отвозить торфа на отвал. Сначала вручную — на коробах-салазках, а позднее посредством электрической тяги. Особенно тяжело было в ночную смену при рабочем дне в 12 часов (во время войны — 16 часов). К утру силы иссякали, стоящие на бортах забоя охранники это видели и большей частью не кричали на нас. Упадок сил усугублялся постоянной борьбой с обморожением. При постоянном движении ватный бушлат, телогрейка под ним, ватные штаны, ватная шапка и рукавицы могли спасать. Но нельзя было спасти лицо и особенно нос. Закутывание лица шарфом или устройство защитного наносника не только не спасало, но ухудшало положение, так как под ними образовывался пар, который превращался в лед. У меня особенно страдал нос. Он и до сих пор мерзнет даже при небольшом морозе. Более же всего страдали южане и... европейские лошади. У моего напарника Гугулы Легошвили лицо было все в кровоподтеках. Он все время бормотал: «Пропал, совсем пропал». Пропал ли он? Это был молодой, красивый и физически очень крепкий (крепче меня) грузин.

Сначала я выполнял норму и не отставал от забойщиков. Я даже начал немного гордиться. Но вот что-то надорвалось, и я очутился в лагере на «больничном листке». Как больной, я был приставлен к легкой работе, помнится, собирал сухой хворост в ближайших зарослях. Зимой в лагерь провели радио, я машинально слушал какой-то говор, как неожиданно Рейзен запел мой любимый романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Впечатление от этого было, пожалуй, еще более сильное, чем от колокола в тумане. Я заплакал. Хорошо, что никто не видел моего расслабления, больше этого не повторялось. Как звон колокола в «Ночи на Лысой горе» ассоциируется у меня с туманом на стане «Мальдяк», так и романс Бородина всегда напоминает об этом страшном прииске.

Призрачным лучом света на «Мальдяке» была моя временная работа в геологической части в качестве чертежника-копировщика. Устроился я на эту прекрасную работу при помощи одного из бытовиков-чертежников. В полную противоположность страшным условиям жизни на прииске «Мальдяк», там собирались добрые, интеллигентные геологи, которые вникли в мое положение и пытались облегчить его. Они отвели рабочее место в самом теплом углу помещения, не критиковали за мои дрожащие линии горизонталей, даже немного подкармливали. Мне казалось, что я попал в рай. И геологи казались мне богами или ангелами. Но апостол Петр не смог защитить меня, когда нарядчик-блатарь, узнав о моем «припухании» у геологов, с бешенством изгнал меня из рая, и я очутился в... штрафной бригаде.

Бригада штрафников состояла из таких же, как я, «нарушителей» лагерного порядка, лиц разного возраста, разной «материковой» профессии, объединенных карточкой штрафников с 400 граммами хлеба и худшим, чем у остальных, обедом. Бригадир Морозов почему-то принял меня в бригаду без оскорблений и даже прислушивался к моим запасам знаний. В забое, где нам надлежало бурить бурки для зарядки их аммоналом, он даже иногда помогал мне или же посылал для передышки на сопку за дровами. Я долго не возвращался, и единственной репликой бригадира было: «Ну, Вагнер, тебя только за смертью посылать». Судя по поведению, Морозов был отпетый блатарь. Только такие, как он, способны были ответить матом на ругань начальства и ничего за это не получить. Так он наорал на начальника Дальстроя Павлова, приезжавшего на «Мальдяк» и пробовавшего угрозами расстрела поднять производительность труда. «Прежде чем кричать, людей кормить надо», — отрубил Павлову Морозов, снабдив это густым многоэтажным матом. И Павлов предпочел ретироваться. При Павлове жестокости доходили до того, что отказчиков от работы выводили в забой и ставили на мороз в одном нижнем белье. Конечно, это были блатари, народ вообще не только продувной, но и гордый в самозащите. Саморубами были они, а не «политические». В БУРах (бараках усиленного режима) сидели чаще всего они.

Штрафная категория питания делала свое дело. Я дошел до того, что не стыдился собирать отбросы на кухонной помойке, успокаивая себя тем, что все бактерии при 40 градусах мороза погибли. Начали пухнуть ноги. Слабел дух. Я начал постепенно превращаться в фитиля. За этим состоянием обычно следует смерть. И тут я вспомнил, что один из моих напарников по сенокосу Лапшин (как хорошо, что я запомнил его фамилию) при расставании (он был оставлен на стане «Мальдяк» при пекарне) сказал мне: «Будет туго — приходи, дам хлеба». И я решил пойти. До стана, как я уже упомянул, было около 10 километров. Туда и обратно — 20. Дойду ли? Стояли январские морозы, но не более 25 градусов. Это терпимо. В юности я совершал большие переходы и знал, как надо управлять телом, дыханием. Надо идти размеренно, не волнуясь, дышать в такт работе ног. И главное, все время верить в то, что я дойду, вернусь и все будет если и не хорошо, то и не плохо. Еще лучше, если думать о чем-то очень и очень светлом, радостном. Я дождался воскресенья (до войны по воскресеньям не работали) и, не торопясь, пошел. Не хочу кривить душой и рассказывать, о чем я думал в дороге. Этому можно не поверить. И я дошел туда и обратно. Дошел, не обморозившись. Правда, Лапшин хлеба дать мне не мог, но он дал целый противень подсушенных корок и кусков, издающих запах подсолнечного масла. Конечно, я поделился с Виноградским, но не скрою, большую часть оставил себе. За «переход» и за риск.

Но разве эти куски хлеба могли помочь при дистрофии? Однажды, возвращаясь с работы, Морозов предложил: «Хотите жрать мясо? Если хотите — так пойдем к сопке, там в распадке брошена туша лошади с ободранной кожей. Будь лошадь больная, заразная — так ее не бросили бы. Здоровая. Вероятно, пала от недоедания». Ни слова не говоря, мы повернули и пошли по его указанию. Нарезали себе разных кусков (вернее — нарубили) и пошли в лагерь. Теперь задача состояла в том, чтобы суметь незаметно пронести через вахту. Мясо — это такая вещь, происхождение которой заставляет задуматься. А задумываться вахтеры не захотят. Зачем им думать? Пусть думает начальство. Надо было перехитрить вахтеров, и кто-то из бригады не нашел ничего лучшего, как временно бросить мясо в окололагерный шурф, а потом при удобных случаях частями извлекать его оттуда. Но этому плану не дано было осуществиться. На вахте про шурф уже проведали, и, едва мы расположились на отдых, как нас стали таскать к начальству и угрожать расправой. Помню, какой-то офицерский чин стыдил меня, как это я, музейный работник (откуда он узнал это?), мог участвовать в этой грязной истории. Он намекал на возможность получить дополнительный срок, хотя это было очень страшно, я проговорил: «Мне теперь все равно». А мне вовсе не было все равно, надо было жить, чтобы вернуться домой.

Кому-то из морозовцев все же удалось пронести кусок конины. Мы варили ее в большой консервной банке, сладкий запах конины растекался по палатке. И тут вскоре произошло самое страшное в моей колымской жизни, поставившее меня между жизнью и смертью.

ВТОРОЙ АРЕСТ

Я продолжал работать в штрафной бригаде Морозова. Теперь ее поставили на подвозку воды и подноску дров для бойлеров. Работа не нормированная, но не допускающая перебоев. Вода, впрочем, давно уже была в реке исчерпана, можно было подвозить только лед. Гугула Легошвили был хорошим напарником, бойлеристы были нами довольны и позволяли в перерывах греться у «самовара», то есть бойлерного котла. Хуже было на заготовке дров. Как я уже отмечал, лес на сопках в течение зимы 1937—38 года был почти сведен, оставались жалкие одинокие деревья. Мы сваливали их, а затем стаскивали с сопки вниз, к бойлеру. Стаскивать было нетрудно, а вот взбираться на сопку 3 или 4 раза в день — это уже изводило последние силы. Нас пробовали стимулировать жареными пончиками, которые в бидоне приносили прямо на сопку. Но за это премиальное блюдо надо было платить по 15—20 копеек за штуку, а у меня не водилось даже копейки. Моя зарплата была со знаком минус. Чтобы не глядеть на жующих товарищей, я отправлялся к костру, неизменно разводимому в обеденный перерыв. Именно тогда на мальдякской сопке я вдруг понял, почему звери смотрят на огонь, как завороженные. Так же смотрели и мы. Это как бы отрешало нас от нашей истинной сущности, превращало в зверей.

Костер мы использовали и в санитарных целях. В больших консервных банках кипятили белье, выводя изнуряющих вшей. Лагерная «жарилка» не могла с этим справиться.

К весне 1938 года на прииске очень увеличилась смертность. Я не хочу безответственно приводить цифры, но умирало много. И хоронили без всяких гробов. Откуда на прииске доски? Вечно промерзлая земля была неплохим гробом.

Итак, все, казалось бы, шло своим чередом. К голодному состоянию я стал привыкать в том смысле, что терял надежду на лучшее. И вот однажды в ночь на 1 мая 1938 года нарядчик разбудил меня и велел идти на вахту. Такое было впервые со времен ночных вызовов в Рязани на очередной допрос. У вахты в ночной мгле уже стояло несколько человек, что меня еще больше насторожило. После короткой переклички нас вывели за зону и повели в сторону соседней сопки, по распадку. Уж не на расстрел ли? — мелькнуло у меня в голове. Не может быть. Без приговора все же не расстреливают. Увы, я и не подозревал, что нас ведут именно для того, чтобы состряпать такой приговор.

Дорога, вернее — тропа, уперлась в бревенчатый барак. Недалеко были два-три более добротных строения. Я ничего не знал об этом «таинственном хуторе», так как никогда не проходил мимо этого места. Между тем, это было не что иное, как мальдякское отделение НКВД, а деревянный барак — тюрьмой при нем.

В тот же день, 1 мая, меня повели на допрос. Я очутился в довольно просторном кабинете с большим столом, за которым сидел моложавый следователь в той же гимнастерке и с теми же портупеями, как у Ивана Назарова. И опять те же вопросы: почему занимался саботажем (не выполнял нормы); кто вместе со мной входил в лагерную эсеровско-меньшевистскую организацию, ставящую своей целью свержение (с помощью японцев!) Советской власти на Колыме?

Мне уже настолько приелись эти вопросы в Рязани, что я машинально отвечал: «саботажем не занимался», «в эсеровско-меньшевистскую организацию не входил» и т. д. Мне казалось, что следователь понял бесполезность допроса, и вскоре отправил меня обратно в тюрьму-барак. Добавлю, что никакого ордера на арест он не предъявил. Да и было бы бессмысленно его требовать. Я уже потерял веру в законность.

ХАТЫННАХ

Хатыннах — это не лагерь, а административный центр, в котором в 1938 году находилось Северное горно-промышленное управление Дальстроя (СГПУ). Тут же находился и районный центр НКВД. Нас ссадили с грузовика и сразу повели мимо поселка вверх по склону сопки. Шли по траншее, прокопанной чуть ли не в двухметровой толще снега. А ведь был уже май! Дошли до такого же барака-тюрьмы, как на «Мальдяке». Бревенчатое здание без окон, но с массивной дверью было обнесено колючей проволокой, у одного из углов ограды возвышалась деревянная вышка с мощным прожектором. Под ней громоздилась куча одежды — бушлаты, телогрейки, ватные брюки, разного рода обувь, шапки... Что это? Одежда расстрелянных заключенных? Воображение уже начало рисовать соответствующую картину, участниками которой должны были стать мы. Но возникший вопрос так и повис в воздухе, так как нам скомандовали: сбрасывай с себя все, кроме нижнего белья! Такого тоже нигде не встречалось. В вагоне блатари раздевались до белья, но это было добровольно и диктовалось духотой. Оказывается, и здесь раздеваться до белья было просто необходимо, иначе в переполненном помещении можно было умереть от жары и духоты. И опять же, несмотря на глубокий снег! Так мы, как живые покойники, втиснулись в новую, уже пятую для меня по счету (начиная с внутренней тюрьмы Рязанского НКВД) хатыннахскую барак-тюрьму. Продолжаю называть подобные «архитектурные объекты» именно так, так как другого слова не подберешь.

В хатыннахской бараке-тюрьме мы оказались снова с бытовиками. Они, как «друзья» народа, возлежали на нарах, охватывающих две стены. Мы же, «враги народа», частью сидели, частью стояли на остальном треугольнике пола. Стояли так тесно, что ступни все время попадали на чужие ступни, почему постоянно приходилось переступать ногами. Еду давали один раз в день, воды не хватало, так что нам приходилось во время оправки катать из снега шарики и запихивать их за пазуху, чтобы в камере потихоньку сосать. Ни это сосание снега, ни то, что мы выходили на снег босиком, не вызывало никаких заболеваний. Организм выработал силу сопротивления злу. Почти железную силу.

За три дня стояния в страшной духоте мои мозг помрачнел, я не могу вспомнить, как провел эти три дня, как спал. Через три дня меня вызвали на допрос, последний допрос на Колыме. Приказали одеться, но я, конечно, ничего не мог найти своего в этой мерзкой куче. Надел первое попавшееся, конечно, грязное и пошел вниз по той же траншее в снегу, как по окопу. Передо мной снова предстал молодой бравый следователь, чуть ли не тот самый, который допрашивал меня на «Мальдяке», с тем же наглым лицом. Как я и полагал, вопросы пошли те же самые, стандартные, мне не приходилось ничего соображать заново. Это злило следователя, он осыпал меня бранью. Нет, не матом, а такими эпитетами, как «эсеровский подонок», «белогвардейская сволочь» и т. п. Особенно его злило, что я выслушивал его филиппики равнодушно, стоя навытяжку, как он приказал. «Ты — белый офицер, — кричал он, — раз ты так стоишь по команде «смирно», то ты не иначе, как белый офицер!». Болван, он запамятовал, что по анкете мне во времена белогвардейщины было только 12—13 лет. Я даже заулыбался. Тогда он схватил со шкафа резиновую дубинку и начал меня бить. Он бил по шее слева и справа, потом по темени, так что у меня сразу вздулись шишки. Черепа проломить он, конечно, не мог, но за сотрясение мозга я немного побаивался. Я стоял не шелохнувшись. А что было делать? Уклоняться, так это еще больше разозлит негодяя. Дать ему хорошенько сдачи? Но разве у меня хватило бы сил? К тому же это был верный повод приписать мне террор. Тут бы, в Хатыннахе, мое бренное тело и осталось. А мама, отец, братья, Аля? Нет, я должен вернуться, а для этого нужно терпеть.

Ничего не добившись физическими приемами, следователь попытался деморализовать меня психически. Он приказал отвести меня в особую камеру, где уже находилось пять-шесть человек, видимо, тоже после допросов. Нам велено было только стоять. Сесть можно было на пять минут, когда приносили баланду. Поел сидя и снова стоять. За этим строго следил красноармеец, находившийся с винтовкой тут же в камере. Вот это стояние было почище всего, что до сих пор в отношении меня применялось. Я простоял четверо суток. Дремал, прислонившись (да и то украдкой) к стене. На отек лица и рук я не обращал внимания, а вот на свои ноги мне было смотреть страшно. Они стали толстыми, как у слона! Даже при разрешении сесть я уже не мог бы этого проделать. Брюки натянулись на ногах, как бинты. Может быть, это отчасти сдерживало распухание?

Следователи продолжали обрабатывать других заключенных. Я слышал, как истошно кричал Юра Скорняков. Он тоже ничего не подписал. Подписавших мы уже не видели в камере. Говорили, что им предоставлялась кровать и ресторанный (?) обед. Повторяю, ни в камере, где мы стояли, ни в бараке-тюрьме они не появлялись. Носился слух, что их отвезли на командировку в сопках под названием «Серпантинка», где расстреливали под звуки работающего трактора...

Хотя я и не подписал протокола, но ждал той же участи. Через четыре дня стояния меня снова повели по снежной траншее в барак-тюрьму. Теперь я шел (под конвоем, конечно) по снежной слякоти босиком, так как никакой обуви надеть на свои слоновые ноги не мог. Дома я непременно заболел бы воспалением легких и ангиной, а тут ничего! Ничего я не испытал, даже озноба. Вторично я поразился силе сопротивляемости организма. Вспомнилась история сорока христианских мучеников Севастии, простоявших ночь в ледяном озере. В наше время сходную историю с верующими украинками опишет в своих воспоминаниях Е. Гинзбург.

После пережитого я втиснулся в барак-тюрьму, как в родной дом. Меня положили на пол, и в тюремном тепле я испытал чувство блаженства...

Неизвестно, чем бы закончилась вся эта хатыннахская драма. Мы, конечно, ожидали самого худшего. Но вот однажды в конце мая двери тюрьмы-барака открылись, и нам было велено выходить. Не на оправку, а выходить совсем из тюрьмы. Что случилось? Опять никто ничего не знал. Опять поползли разные слухи. Говорили, что арестован полковник Гаранин, начальник колымских лагерей, арестован в связи с какими-то процессами, происходящими в Москве. Это было похоже на правду. Проверять слухи мы не могли, да и не было к тому никакой надобности. Главное, что что-то случилось, что-то произошло и произошло в лучшую для нас сторону. Обросших, одетых в самые различные лохмотья, нас повели куда-то по хатыннахской долине. Наступила весна, снег бурно таял, речка Хатыннах разлилась, и через нее начали строить, но так и не достроили, деревянный мост. На проложенные вдоль бревна еще не настелили доски: поэтому можно было либо идти по бревнам, балансируя как канатоходец, либо идти вброд. Балансировать я не мог, от резиновой дубинки у меня временно испортился вестибулярный аппарат. Вброд шлепать тоже было боязно. Теперь, немного расслабившись, я легко мог заболеть. И я пополз по бревнам, как таракан, вызывая добродушный смех товарищей по несчастью. Так добрели мы до лагеря Нижний Хатыннах.

Вероятно, это был очень старый лагерь. На его территории за мощной колючей проволокой виднелись очень добротные бревенчатые здания различного назначения: столовая, больница, клуб и бараки для заключенных. Я впервые увидел настоящие бревенчатые бараки, каких не было даже в Мага-

дане. Кроме сразу бросившихся в глаза зданий, в глубине лагеря нам открылся БУР — барак усиленного режима, в который нас и водворили под замок. Он был обнесен особым проволочным заграждением. И все это «адресовалось» нам, слабым доходягам, не могущим не только бежать, но и идти нормальным шагом. Поистине колымскому изуверству не было границ. Здесь, на Нижнем Хатыннахе, я пробыл до начала войны.

НИЖНИЙ ХАТЫННАХ

Удивительно устроен человек! Оставив позади тысячи километров, море, колымскую трассу, уже вкусив «прелести» лагерей, допросов, перенеся побои, он, человек, находясь даже за тремя рядами проволочного ограждения, смотрит на запроволочную Природу и говорит сам себе: а ведь здесь не так уж и страшно!

Из БУРа нас выводили на работу в забой, сначала под конвоем, и после работы снова запирали в барак. Но вскоре всех перевели в обычные бараки. Теперь вслед за Виноградским я потерял и Скорнякова, он застрял где-то в Хатыннахе. Началось противостояние злу в одиночку. Насколько бесполезны были одиночные меры протеста против этого зла, я смог наблюдать по судьбе трех лагерников, попытавшихся совершить побег из крепости Нижнего Хатыннаха. Их тут же поймали и, раздев до нижнего белья, подпихнули к натравленным овчаркам. Это было ужасное зрелище, я не хочу его описывать. Все белье беглецов было в клочьях и в крови... Вероятно, это был «показательный спектакль» для всех остальных.

Естественно, что у нас, штрафников, рабочая выработка была мизерной. Мы все же работали, так как полная обструкция (как на «Мальдяке») действительно пахла саботажем, а за этим не замедлили бы репрессии. Нужно было не столько «оправдать» штрафную пайку, сколько попытаться подняться хотя бы до 3-й категории. Это долго не удавалось, а силы все таяли и таяли. Наступило уже лето, началась жара, в которую при комарах работать было в несколько раз тяжелее. Стали более «привлекать» ночные смены. Но они уносили силы от недосыпания. Однажды, освобожденный по болезни от работы в забое, я по заданию старосты подметал территорию лагеря около бараков и чем-то обратил на себя внимание этого блюстителя порядка. Старосту (из бытовиков, конечно) звали патриархально: Иван Иванович. И вот этот Иван Иванович задает вопрос: «Кем был на воле?» Ответ мог означать многое. Я быстро сообразил (тогда я еще мог это делать, несмотря на резиновую дубинку) и ответил: «Художником». «Художником?» — обрадованно воскликнул староста. — Так что же, ты можешь срисовать меня?» «Могу, конечно, если в тюрьме не разучился». Снова староста: «Вот что. Бросай метлу и приходи в мою конторку. Что нужно для рисования? Бумагу? Карандаш? Приходи, все достану». Это было началом облегчения в моем положении. Старосту я, конечно, «срисовал», портрет получился сравнительно похожим. «Награду» я получил в виде большого (около килограмма!) ломтя черного хлеба. Светлая память моему рязанскому учителю рисования...

Уверовав в меня, староста решил разукрасить входную арку в лагерь, для чего освободил меня от общих работ еще на несколько дней. Я начал прилежно вырезать из фанеры какую-то фигуру забойщика и в первое же утро попался на глаза лагерному обходу. Участвовавший в обходе воспитатель лагеря В. К. Даркевич спросил меня, действительно ли я художник и могу ли оформлять стенгазеты? Получив утвердительный ответ, он спросил еще: «Какая статья?». Услышав, что не статья, а «КРД», он поморщился, но уже не отступал: «Ладно, приходи». Так я перешел из категории рабочего в так называемые «придурки». Было ли это нравственным отступлением? Сейчас, когда в периодической печати появляются воспоминания колымских лагерников, я с особой остротой чувствую необходимость задать хотя бы самому себе этот вопрос. Но это ведь такой придурок, которого без всякого предупреждения можно заставить копать могилу для умершего заключенного или послать грузчиком-разгрузчиком на конный двор. Могильщиком я выступал не однажды. Не менее пяти неизвестных мне мертвецов лежат в «моих» могилах... А копать могилу на колымской сопке — это не то, что на Ваганьковском кладбище. Сантиметров через сорок уже идет вечная мерзлота, которую, если не хочешь, чтобы покойник весной стал выглядывать из могилы, надо долбить с такой же скоростью проходки, с какой мы долбили ямы для столбов на «Мальдяке». Но В. К. Даркевич вызволял меня из этой мемориальной работы.

Владимир Карлович (как и я, по отчеству, а по имени — мой брат Володя!) был на редкость хороший человек. Член партии, он, видимо, сознавал перегибы и делал все возможное, чтобы смягчить наше положение. Он не произносил на утреннем разводе агитационных речей, но никого не подвергал дисциплинарным взысканиям, хотя имел на это право. Ко мне В. К. Даркевич был очень внимателен и уважителен, хотя и называл меня на «ты». Но это не было оскорбительным тыканьем. Он помог мне избежать этапа на «Эльген». «Эльген» считался сельскохозяйственным лагерем, многие из нас, по незнанию, стремились туда попасть. К тому же там были женщины. Я знал многих крепких мужчин Нижнего Хатыннаха, которые под выходной день (повторяю, до войны были выходные дни) совершали любовные походы на «Эльген», хотя до него было несколько десятков километров. И вот, из-за начавшегося у меня процесса цинготной отечности, я был «вызван на этап», то есть на «Эльген». Тут и вмешался В. К. Даркевич. Он пообещал полную свою поддержку мне, если я изъявлю желание остаться на Нижнем Хатыннахе. И я остался.

Нет, у меня не было никаких преимуществ в лагерном положении. Я жил в общем бараке, нес очередное дежурство (мытье пола и пр.), обедал в столовой из общего котла, правда, уже не по штрафной, а по 3-й категории (600 граммов хлеба). От чего я был освобожден, так это от вечерних проверок. Нарядчики были уверены, что я нахожусь «на месте».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я озаглавил свои воспоминания «Десять лет Колымы за Сухареву башню», а описал только пять лет и пять месяцев. Таков мой лагерный срок. Пять следующих лет я, как уже сказано, пробыл на вольнонаемном прииске имени Водопьянова. Конечно, вольнонаемный прииск — это совсем другое. Впрочем, и не так уж «совсем». Война создала чрезвычайно суровую обстановку и на вольнонаемном прииске. На золоте Колымы лежала вся тяжесть расплаты по ленд-лизу. И здесь выполнение плана не было свободно от угроз чуть ли не расстрелом. И здесь колымское начальство Дальстроя не делало особого исключения для прииска вольнонаемных, то есть вчерашних заключенных. Наконец, и здесь были карточки, авитаминоз и прочие «прелести» страшного военного времени. И именно в эти годы цинготные язвы на моей ноге, недолеченные в Ягодном, стали заметно ухудшаться, а общая слабость дошла до того, что я иногда засыпал на ходу. Но работать надо было чуть ли не круглосуточно. Меня очень поддерживал парторг прииска Николай Михайлович Аксенов, мой неожиданный земляк по Рязанщине. Это был такой же честный коммунист, как и В. К. Даркевич. Впрочем, почему «был»? Он жив-здоров, живет в Москве, и я поддерживаю с ним приятельские отношения. Добрым словом я всегда вспоминаю водопьяновских (хатыннахских) врачей, особенно Екатерину Петровну Дергачеву, которая в течение двух лет (!) настойчиво лечила мою цинготную ногу и в конце концов залечила отвратительные язвы. Черные пятна на моей ноге всегда напоминают об этой врачебной эпопее. Самым радикальным средством оказалась мазь, изготовленная из смеси концентрированной вытяжки стланика и простого шиповника. На «материк» я смог выехать только в 1947 году. Но об этих пяти годах работы на прииске имени Водопьянова надо говорить особо.

В заключение — один штрих. Будучи в середине 1950-х годов в одном из подмосковных домов отдыха, я встретил... прославленного летчика, имя которого носил наш прииск. Водопьянов, герой челюскинской эпопеи, и здесь! В рядовом доме отдыха?! Но я не мог ошибиться, так как неоднократно рисовал его мужественный профиль с черной повязкой через один глаз. Сказав ему, что я «колымский водопьяновец», я услышал сухой ответ: «Не советую вам снова попасть в те края»... Как в воду смотрел! Но об этом тоже особый разговор. Не десять, а пятнадцать лет отняла у меня Сухарева башня. Нет, я не хочу ее восстановления.

ИВАН БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ

27 Мая.

...Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нему народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсянико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, — бегут... Сообщение с Киевом совсем прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск...» Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастия, «новой, прекрасной жизни». Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно-богатой и со сказочной быстротой процветавшей! — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 Мая.

Часто не досыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Чичерин протестует...» Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский — комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 Мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... Революция в Индии ширится...»

Фрагменты из 2-й части «Окаянных дней» (Одесса, 1919 г.)

Окончание. Начало в №№ 7—8.

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 р. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уже кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакомого моряка): «Завтра в 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глупо, но шел домой как пьяный.

31 Мая.

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов... Энергично преследуется панически бегущий неприятель... Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Царицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе — день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в «Одес. Ком.» статья: «шапки долой!»

Десяток яиц стоит уже 35 р., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». Взяты на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно». Часы переведены еще на час вперед — сейчас по моим десять утра, а «по-советски» половина второго дня.

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, — «Одесса переусердствовала», — пожимает плечами, разводит руками, кое-что «смягчает»...

Статейка «Терновый венец»: «Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух: «Матьяша убили!» Гневно сжимались мозолистые руки и уже хрипло доносились крики: «Око за око! Мстить!»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие... Следственная комиссия установила, что он осознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» Оказалось кроме того — «легкое опьянение».

2 Июня.

Сводка — заячьи следы. Одно проступает — успехи Деникина продолжаются.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «роль Богоматери» или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» — «Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать — и плачет...» И крокодилы, говорю, плачут...

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе — в Красном переулке, против театра «имени Свердлова» и над входом в театр. И опять этот страшный плакат — голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 Июня.

Год тому назад приехал в Одессу. Странно подумать — год! И сколько перемен, и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 Июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 Июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше, и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди застрелят. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

— А Перемышль генералы за десять тысяч продали, — говорит один, — я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 Июня.

В газетах все то же — «Деникин хочет взять в свои лапы очаг» — и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещания прощения красноармейцам) и глумятся над ней: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился, как пораженный молнией.

Одно из древнейших дикарских верований:

— Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав совершенный подлец перед прежним.

И еще одна библейская строка:

— Честь унизится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколения будет собачье...

И еще одна, всем известная:

— Вкусите — и станете как боги...

Не раз вкушали — и все напрасно.

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению... Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова, — столь оправдавшиеся на Наполеоне, — принадлежат певцу «Колокола».

А сам Наполеон сказал:

— Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!

Ленотр о Кутоне:

— Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент-Онорэ. «Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменилось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон-Неф. В 1794 году он наконец основался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя *носить* в Конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр — и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

— Когда мы явились к Кутону, рассказывает провинциал, я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. — «Чем могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит

смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута — и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны», которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа...

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1889 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано — «и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. «Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции — все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, «чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: «сторонись!» — а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, которое вызывало одно его имя!»

«Стихийность» революции:

В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

— Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще несуществующего совета!

Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был между прочим Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе — и мы, «доверием и державной волей народа облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть...

Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

—Эх, распошел,
Ты, мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

10 Июня.

Журналисты из «Русс. Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Бупе» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается; убито между прочим еще несколько профессоров: среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» — всегда «экстренное!» — заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «Довольно, надоело! Хлеба!»

— «Ах, вот как! — завопил Фельдман. — Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил: «Я крикнул!» — и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, — «граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей:

— Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким.

— Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий сфинктор; почти сплошь золотые зубы; на цыплячьем теле — гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи,

на тонких, как у скелета, ногах — развратнейшие пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги, на крестце — смехотворно громадный браунинг.

В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

— Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

— Двадцатого! Я *вам* раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей жидов».

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин однако осталось, по слухам, мало: почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый: сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из кармашка которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь, на свободе, а теперь хлеб с солью берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

— Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем *кандрак* составлять, будем *осуждать*, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должóн теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованьем в этой думе!

— Да то-то и дело, говорю я, что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысяча номеров через мои руки

прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много более меня? Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом, «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужичкам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж, понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно...

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилуют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну и чудна ты, старуха! Ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей глупой головой, разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего. Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет...

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

— Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

— Сорок не сорок, а правда, везут.

— И кормить их будем?

— А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

— Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «обывательщина». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 Июня.

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

— Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына. Палач Колчак идет на соединение с Деникиным...

И вдруг:

— Угнетатель рабочих Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина, Гришин-Алмазов застрелился.

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск...

Четыре часа.

Мир с немцами подписан, Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с даорником Фомой. Но он пессимист:

— Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

— А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

— Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь изо всех пор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: «Два часа с половиной». — «Как, мать твою душу: как два с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режиму?» — Вырвет часы и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет: одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит, — все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало.

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. ⟨...⟩ (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай).

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешенных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *антисоциальностью*, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж дивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брынские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность*.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая *долголетняя* борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: «всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстно́е пение:

— Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью оруших дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

13 Июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: «Ратуйте, хто в Бога вирує!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 Июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен... Пусть же гудит набат! Не время *калякать!*»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 Июня.

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина... Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство...»

Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной «литературы?» Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове...

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 Июня.

На Дерибасовской улице плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца. подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который *равнодушно* сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40.000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове — все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу иемцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?»

18 Июня.

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного вороньяа все громче!» — и так далее.

В Киеве доклад Раковского о международном положении: «Революция охватила весь мир... Хищники дерутся из-за добычи... Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!» И дальше: «Позор! В Харькове *четыре* деникинца произвели неописуемую панику среди наших *многочисленных эшелонов!*» И как венец всего: «Падение Курска будет гибелью мировой революции!»

Только что был на базаре! Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» — Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 Июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щ. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу ! июля, в 1 ч. 35 м. из Киева — радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 вер. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до одной: «Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, — ну что ж, «слухи пока не подтверждаются», и прекрасно...

20 Июня.

«На западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор... Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление... Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контр-революционные *гады* на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», долженствующей «раздавить *гады*», уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят бродячей бандой... Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов... Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... Противник оттеснил нас западнее Царицына... Мы гоним Колчака, который в панике... Румынск. правительство мечется в предсмертной агонии... В Германии разгар революции... В Дании революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

Товарищи, кольцо сомкнулось уже!
Кто верен нам, беритесь за оружье!
Дом горит, дом горит!
Братец, весь в огне дом,
Брось горшок с обедом!
До жранья ль, товарищ!
Гибнет кров родимый!
Эй, набат, гуди, мой!

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где куски гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сеичас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, — вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, кадение. все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этим, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

редкая книга

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

ТЮРЬМА

В конце марта 1920 года я возвращалась в Москву из Ясной Поляны в скотском вагоне. Я простояла около суток в страшной давке. Ноги болели, плечи резало от тяжелого мешка с мукой, белье липло к грязному телу, и по мне ползали вши, горели глаза и хотелось спать. Я предвкушала ванну, сон, и, казалось, сил хватит ровно настолько, чтобы втащить вещи во второй этаж.

Теперь часто приходилось испытывать это чувство. Думаешь: вот-вот упадешь, силы иссякли, но напрягаешь волю, еще немного, и оказывалось, что силы есть. Нет предела терпению — все можно вынести, ко всему привыкнуть!

На дверях квартиры была печать ВЧК.

Что это могло значить?

Я свалила вещи и пошла к соседям звонить по телефону: «Кремль! Секретаря ВЦИК! Говорит комиссар Ясной Поляны!»

Я знала секретаря ВЦИКа Енукидзе лично и начала с возмущением говорить ему, что я только что приехала из Ясной Поляны, устала и прошу его распорядиться, чтобы ВЧК немедленно сделала у меня обыск и распечатала бы квартиру.

Политикой я не занималась, ничего запрещенного у меня не было, и я была уверена, что это ошибка.

— Подождите, сейчас наведу справки и позвоню!

Он вызвал меня минут через пятнадцать:

— Сотрудники ВЧК сейчас у вас будут.

— Да? Но почему же все-таки запечатана квартира? В чем дело?

— Не знаю. Говорят, что имеют на это серьезные основания.

Меня поразила сухость в тоне любезного грузина. Я села на чемодан у дверей квартиры и стала ждать.

Чекисты приехали минут через двадцать: двое в военной форме, а третий — тщедушный молодой человек, в бархатной куртке, с бледным лицом, томными глазами и каштановыми, вьющимися по плечам длинными волосами. Было что-то нездоровое, ненормальное в облике этого человека...

— Вы...

— С ними, — кивнул он головой на военных, — художник-футурист.

— И... чекист?

— Да, и сотрудник ЧК.

— Пожалуйста, делайте поскорей обыск, — сказала я, отпирая все шифоньерки, письменный стол, комоды, шкафы, — ищите!

Они искали долго, но ничего не нашли.

— Собирайте вещи!

— Зачем?

— Вы арестованы.

— Арестована?! За что? Ведь вы же ничего не нашли!

— Есть ордер на ваш арест.

— Не может быть! — воскликнула я. — За что меня арестовывать! Я комиссар Ясной Поляны! Я не принимала участия в политике! Это недоразумение!

— Потрудитесь собирать вещи!

— Ни за что! Это нелепость какая-то. Никуда я не поеду. Справьтесь! Это ошибка!

Чекисты заколебались и, оставив меня под присмотром художника-футуриста, пошли говорить с начальством по телефону.

— Вас приказано немедленно арестовать, — сказали они, вернувшись.

— Но у меня на руках казенные деньги, отчеты, документы. Я должна их сдать, привести все в порядок. Дайте мне три часа, раньше я не поеду.

Снова чекисты ушли разговаривать с начальством.

— Делайте, что вам нужно, только скорее!

Мои друзья и племянница, пришедшие меня встретить, развели самовар. Художник-футурист с наслаждением уплетал мои яснополянские припасы: мед. белый хлеб, масло, варенье.

Прошло около двух часов. Я приняла ванну, надела чистое белье, собрала вещи, сдала бумаги и деньги племяннице, напилась чаю.

Было уже девять, когда меня привезли на Лубянку, 2, и ввели в комендатуру. Мелькала передо мной громадная фигура рыжего коменданта Попова. Я сидела на стуле и клевала носом. В первом часу ночи допросили, и я узнала, за что арестована.

Больше года тому назад друзья просили меня предоставить им квартиру Толстовского Товарищества для совещаний, что я охотно сделала. Я знала, что совещания эти были политического характера, но не знала, что у меня на квартире собиралась головка «Тактического Центра».

Я не принимала участия в совещаниях. Раза два ставила самовар и поила их чаем. Иногда меня вызывали по телефону, и, когда я входила в комнату, все замолкали. Об этих собраниях я давно забыла, но теперь, узнав, за что арестована, поняла, что мое дело серьезно.

Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

— Товарищ! Дайте воды, пожалуйста, — попросила я надзирателя.

— Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений наступала реакция, и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила: в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось, вся камера была полна крысами.

«Только бы на койку не влезли», — подумала я, и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали

Продолжение. Начало в № 9.

по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

— Что за шум, гражданка? В карцер захотели? — крикнул в волчок надзиратель.

— Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

— Не полагается! — он захлопнул волчок. Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела я сомкнуть глаза, как снова ожила камера. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте, с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесах», опять удар, «да святится...» и когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: «И остави нам долги наши...» Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра.

Утром повели в уборную. Только начала мыться — стучат.

— Гражданка! Кончайте! Уступайте место другим!

Делать нечего. У меня был с собой эмалированный тазик. Наполнила его водой и решила окончить умывание в камере.

Полутьма, ни книг, ни бумаги, ни карандаша нет. Отняли. Делать нечего. За стеной скребутся крысы. Днем я их не боюсь, но с ужасом думаю о ночи.

— Собирайте вещи, — и на мой вопросительный взгляд, — переводят в общую.

В одной руке понесла вещи, в другой таз с водой, боясь расплескать.

Надзиратель отпер угловую камеру, в конце коридора. За столом сидела компания женщин. Увидели меня с тазом — и рассмеялись.

— Вы — Толстая? — спросила меня одна из них, постарше, с маленькими острыми глазами и нервным, чуть дергающимся лицом.

— Да.

Странно, почему она знает?

— А мы вот карты делаем из папиросных коробок, — сказала она мне, — вот тут устраивайтесь, — и указала мне пустую койку у дверей.

Комната была длинная и неправильная, суживающаяся в конце. С двух сторон по окну с решетками и матовыми стеклами. Койки стояли почти вплотную по стенам. Слева у окна тяжелый ломберный стол, два стула, вот и все.

— Я доктор медицины, Петровская, — сказала мне пожилая женщина.

— По Петербургскому делу, — сейчас же добавила она, — Юденича ждали...

— Madame parle francais, n'est ce pas? — обратилась ко мне соседка по койке. И по великолепному воображению, по тонкому гриму на лице и особому шику в одежде, свойственному только парижанкам и не утерянному даже здесь, я сразу определила ее национальность.

— Oh! Madameiselle la princesse parle aussi, — кивнула она на высокую девушку лет восемнадцати с тонким аристократическим лицом.

— Ее арестовали в связи с делом брата, — кивнула на княжну белокурая красивая женщина лет под тридцать.

— А зачем у вас таз с водой? — спросила девица с большими томными глазами. — Очень это смешно!

— Мыться. А крысы у вас есть?

— Есть, но немного.

Мне хотелось спать. И я стала стелить постель. Койка — три сбитые неотесанные тесины. Между каждой тесиной три-четыре пальца. Жидко набитый стружками тюфяк провалился в щели, и тесины краями врезывались в тело. Я положила под бок сумочку, под голову пальто, закрылась пледом и заснула, как убитая.

Проснулась я только на следующее утро.

— Будет вам курить, доктор! Всю камеру прокурили, дышать нечем! — ворчала белокурая флегматичная девица, по профессии машинистка, лениво ворочаясь на кровати. — И что вы ходите взад и вперед, как маятник!

— Не сердитесь, голубушка! Сил нет! Места себе не найду!

— Господи! И чего волноваться. Этим не поможешь. Ведь вот не волнуюсь же я.

— Вам-то чего волноваться? Ведь вы же в деле не участвовали?

Машинистка промолчала.

— Ах, да разве я за себя! У меня сын, дочь, муж! Моя жизнь кончена. Вы представьте себе только, можно ли быть спокойной, когда их всех могут расстрелять из-за меня, всех, всех!

— Да ведь вы говорите, что сына вашего помиловали...

— Боже мой! Да разве можно кому-нибудь верить! Сегодня помиловали, а завтра расстреляют, — и докторша хваталась дрожащими руками за книжечку, отрывала листочек папиросной бумаги, крутила папиросу и снова нервно закуривала.

— Знаете, — вступила француженка, — вы когда следователь говорит, немножко с ним coquette, немножко руж, немножко blanc, я смеюсь, он смеюсь...

— А вы смеялись, помните, когда вас ночью с вещами потребовали?

— Oh! Mon Dieu! — ниет, не смеял, я плакайть, плакайть. Я думал, меня стрелять!

— Да, жуткое было время, — начала Петровская, — то и дело на расстрел выводили. Пришли за ней ночью, велят собирать вещи. С ней истерика — плачет, хохочет. Вдруг упала на колени: «Доктор, — кричит, — молитесь на моя грешная душа». Я с ней с ума было сошла. А утром привели.

— Куда же водили?

— На допрос.

— Нарочно пугают, — сказала девица с томными глазами, — своего рода пытка. Запугивают, думают, что человек больше расскажет.

— Oh! Ma pauvre mére, mon pauvre Henri! Ils ne sauront jamais ce que j'ai souffert.

— Жених у нее во Франции, — продолжала докторша, — а обвиняют ее в шпионстве. Сошлась с каким-то негодяем...

— Mais non, docteur! Меня принимайт за шпион, ce monsieur меня спасайт. Я его не любил, ce monsieur, oh, non, comprenda ca! Я пошел с ним только по благодарству.

— Не поймешь их. Слушаю их разговоры целый месяц. А кто за что арестован, ничего не могу понять, — и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнее.

— Ах, я вам все расскажу, — нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачным перегаром, — подходил Юденич. В Петербурге во главе организации стоял англичанин, красавец собой, смелый... Я была готова пожертвовать жизнью...

Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила, как заученный урок, как будто она много раз повторяла свою историю.

Хотелось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физического отвращения к женщине, к ее любви к англичанину.

— Пасынка приговорили к расстрелу, сына, может быть, помилуют. Дочь в тюрьме.

— И они участвовали в заговоре?

— Да, да, и я, я одна виновата... Боже мой, Боже мой... — докторша истерически рыдала.

Я не находила слов утешения, и мне было с ней неловко. А она все говорила, говорила...

По утрам я ввела гимнастику по Мюллеру. Открыв форточку, поскольку позволяли железные решетки, мы раздевались почти донага, становились в ряд и делали всевозможные движения руками, ногами и туловищем.

Я сказала, что гимнастика помогает сохранять молодость и красоту. Француженка, раскрашенная, в папильотках, старалась больше всех: «Un, deux, trois! Un, deux, trois!» — приговаривала она, махая руками. Слабые мускулы ее не привыкли к усилию. Каждый раз, когда надо было медленно опускаться на корточки, она падала навзничь и не могла встать. Поднимался такой смех, что вмешивался надзиратель.

— Тише, дьяволы, что у вас тут такое?!

Доктор Петровская в одной денной рубашке, с замотанной вокруг головы фальшивой косой, желтая, тощая, вызывала чувство брезгливой жалости. И никто не смеялся, когда она, как и француженка, садилась на пол, вместо того, чтобы подниматься с корточек...

Один раз кто-то обратил внимание на отопительные трубы, проходящие в соседнюю камеру. Я села на пол и стала расковыривать известку железной шпилькой. Щель была замазана плохо, и известка легко осыпалась.

— Станьте у двери, караульте надзирателя, — шепнула я товаркам.

Доктор Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный пост.

— Щепочкой, щепочкой, — шептала она, — от коробки отломайте.

И вдруг я услыхала с той стороны шорох, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувствовала, что ее вытягивают. Она вся ушла и через минуту снова показалась с привязанной к ней записочкой: «Кто у вас в камере? У нас сидят такие-то и такие-то». Записка была подписана пятью, один из них был знакомый, заседавший у меня в квартире.

Мы ответили. Завязалась переписка. Мне было важно узнать, как вести себя на допросах. «Скрывать что-либо бесполезно, ВЧК все известно», — был ответ.

Наивно просовывая щепочку в соседнюю камеру, мы и не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована, что доктор Петровская — наседка, передающая из камеры следователям ЧК все наши разговоры. Недаром ее так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель — Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря Виноградскому: из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического Центра происходили у меня на квартире, и тотчас же донес об этом следователю.

ЛАТЫШКА

Каждое утро около восьми часов быстро открывалась дверь, на секунду показывалась высокая костлявая фигура с красным лицом, кудельками на лбу, и около двери стукалось ведро с такой силой, что вода, налитая до половины, расплескивалась вокруг. Дверь с силой захлопывалась, а мы спорили о том, кому достанется мыть пол. Это было одно из самых больших развлечений.

Через полчаса дверь снова раскрывалась, опять показывалась молчаливая фигура, красная большая рука хватала ведро и снова исчезала.

Таким же резким движением она швыряла молча нам в камеру чайник с кипятком, обед, ужин. Если она и говорила с нами, то всегда отрывисто, грубо, не глядя на нас, точно считала для себя унизительным обращаться к нам.

Придет за ведром, а мы еще не кончили мыть пол.

— Ну! Скорее! — крикнет и сильно стукнет дверью.

Казалось, в ней ничего не было человеческого — деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения.

«Неужели эта машина может плакать, любить?» — думала я. И я смотрела на нее с ужасом, она возбуждала во мне страх, больший страх, чем самоё заключение, тюремные решетки. Каждый раз, как она входила в камеру, я вздрагивала и сжималась. А у нее на лице самодовольство, сознание исполненного долга, она со всей тупостью своей натуры поняла, что здесь, в ЧК, от нее требуют одного — потери человеческого образа, превращения в машину, и она в совершенстве этого достигла.

Мы пробовали с ней заговорить, она не только не отвечала нам, но и бровью не вела, наши слова были обращены не к ней.

Продолжение следует

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

В ВЕСЕННЮЮ МЕТЕЛЬ

В книге представлены романы трех латышских прозаиков — лауреатов литературных премий МВД СССР и Латвийской ССР: Андриса Колбергса, Миервалдиса Стейги и Гунара Цирулиса, произведения которых издавались на многих языках в нашей стране и за рубежом.

Роман А. Колбергса «Ничего же не случилось» — психологически выверенное полотно жизни периода застоя, рассказ о том, как разветвленная система беззаконий толкает многих на преступный путь. «Маленький» незащищенный человек сталкивается с могущественным и богатым монстром преступного мира...

«Последняя индульгенция» М. Стейги. Здесь цепь событий начинается с дорожного происшествия: машиной сбита женщина. Случайно в руках следователя оказывается ниточка запутанного клубка преступлений...

«Магнолия» в весеннюю метель» Г. Цирулиса — иронический детектив. Вместо опытного сыщика — шесть выпускников высшей школы милиции заняты сыском в Доме отдыха, куда им выделили путевки. Правда, они ищут не убийцу, а пропавшую докторскую диссертацию под грифом «Секретно».

Новая работа издательства «Лиесма» вызовет, без сомнения, большой интерес многочисленных любителей детективного жанра не только Латвии, но и за пределами республики.

Б. ХАВКИН

Латышский детектив. Рига: Лиесма, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

ВЫСТРЕЛ В СЕРДЦЕ РЕВОЛЮЦИИ / Ред.-сост. Н. Д. Костин. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1989. — 285 с. — 55 к. 100 000 экз. — О злодейском покушении эсеров на В. И. Ленина 30 авг. 1918 г.

Копылов Д. И. ЕРМАК. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. — 239 с. — (Замечат. люди Сибири). — 90 к. 50 000 экз.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 1939—194: Фотоальбом / Сост., текст Т. Бушуевой, А. Другова, А. Савина; Худож. Н. Пьяных. — М.: Планета, 1989. — 415 с., ил. — 11 р. 40 к. 38 000 экз.

РАССКАЗЫ О ДРЕВНЕЙ РУСИ / Худож. С. Бойко. — М.: Дет. лит., 1989. — 96 с., ил. — 30 к. 100 000 экз.

Васюков В. С. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 1916 — ФЕВРАЛЬ 1917 Г. — М.: Наука, 1989. — 309 с. — 3 р. 3000 экз.

РЕЖИМ ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА. К истории формирования / Под ред. Ю. С. Кукушкина. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 158 с. — 60 к. 40 000 экз.

Слассер Р. СТАЛИН В 1917 ГОДУ: Человек, оставшийся вне революции / Пер. с англ.; Общ. ред., послесл. В. Т. Логинова. — М.: Прогресс, 1989. — 314 с. — 1 р. 30 к. 50 000 экз.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: Факты, проблемы, люди / Под общ. ред. А. Т. Кинкулькина; Сост. Г. В. Клокова и др. — М.: Политиздат, 1989. — 447 с. — 1 р. 60 к. 540 000 экз.

Чибиряев С. А. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ РЕФОРМАТОР: Жизнь, деятельность, полит. взгляды М. М. Сперанского. — М.: Наука, 1989. — 215 с. — 1 р. 10 000 экз.

ЗА СТЕНОЙ КАВКАЗА: Н. А. Задонский. Жизнь Муравьева: Роман; Документы и воспоминания / Сост., предисл., коммент. В. А. Георгиева, А. В. Георгиева. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 559 с. — (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XIX). 2 р. 30 к. 200 000 экз.

Крупская Н. К. ПИСЬМА ИЗ УФЫ. 1900—1901 гг. / Предисл., коммент., сост. Г. Ф. Павлюченков. — Уфа: Баш. кн. изд-во, 1989. — 127 с., ил. — (Башкирская Лениниана). — 55 к. 10 000 экз.

Коэн С. БУХАРИН: Полит. биогр. 1888—1938 / Пер. с англ.; Общ. ред., послесл. И. Е. Горелова. — М.: Прогресс, Минск: Беларусь, 1989. — 572 с., ил. — 4 р. 50 000 экз.

ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVII ВЕКА / Ж. В. Андреева и др. — М.: Наука, 1989. — 375 с. — (История Дальнего Востока СССР от эпохи первобытного об-ва до 80-х гг. XX в.). — 3 р. 50 к. 3900 экз.

ПЛАНЕТА

Путешествия.
Книги.
Кумиры.



Экслибрис


ФОТО К. КОРНИШОВ

ОЛЕГ ИВАНОВ, ВАЛЕРИАН НЕСТЕРОВ

ПЕВЕЦ ЖИВОЙ СТИХИИ

графика Рокуэлла Кента

ИВАНОВ Олег Тимофеевич, родился в 1933 году. Окончил отделение журналистики Ленинградского государственного университета, профессиональную деятельность начал в печати Латвийской ССР. В 1966—1969 гг. — собственным корреспондентом «Правды» по Латвии. В 1969 году переезжает в Москву, работает членом редколлегии «Комсомольской правды». С 1971 по 1986 год — в отделе культуры ЦК КПСС, заведует сектором изобразительного искусства. С августа 1986 года — первый заместитель главного редактора газеты «Советская культура». Автор статей, посвященных проблемам изобразительного искусства, монографических исследований, посвященных творчеству Кукрыниксов, латышских живописцев Эд. Калныньша и И. Зариня.

НЕСТЕРОВ Валериан Сергеевич, родился в 1929 году, учился в специальной артиллерийской школе, потом окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат юридических наук. Работал в системе Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Являлся первым секретарем советского посольства в Великобритании и советником нашего посольства в Вашингтоне. Во время пребывания в США (1969—1973 гг.) неоднократно встречался с Рокуэллом Кентом и его женой Салли, переписывался с великим художником. Работал в аппарате ЦК КПСС. В настоящее время является начальником управления внешних связей Госкино СССР. Автор книг и исследования по советскому и зарубежному кино.

Если кто-нибудь поставит графику Кента выше его живописи, то спорить с ним не стоит — книжные иллюстрации художника — выдающееся явление в истории не только американского, но и мирового искусства. Именно графика сделала имя Кента известным.

...Долгие годы Кента «кормили» книжная иллюстрация, рекламный и архитектурный рисунок, карикатура. Часто эта работа казалась ему поденщиной, раздражала своей каторжностью, была нестерпимой, поскольку отдаляла от недоступной подчас и такой желанной живописи. К ней, тончайшей и изысканнейшей богине искусства, Кент как бы возносился, сменив фартук типографа на сверкающие ризы высокого артиста. Но живопись в Америке и по сие время — одна из тех богинь, что требует жертв, ничего не давая взамен. И, бросив на ее алтарь свои скудные сбережения, Кент с чувством досады вновь отправлялся в редакции журналов, в конторы издательств — за поденной графической работой.

Этой работе он отдал много времени и сил. Ему часто, вероятно, она казалась лишенной какого-либо смысла, кроме самого непосредственного и потому низменного — гонорарного. Но прошли годы, и имя Кента встало вровень с именами величайших художников-иллюстраторов, оно неразрывно с произведениями литературы, давно ставшими классическими.

Поясним нашу мысль. Говоря о «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле, мы непременно вспомним гениального иллюстратора этого шедевра французской литературы — Г. Доре, помянув «Мертвые души» Н. В. Гоголя, не обойдем и А. А. Агина, а «Дама с собачкой» А. П. Чехова уже неотделима в нашем сознании от проникновенных рисунков Кукрыниксов. Это слияние литературного текста и графического образа — дело нечастое, случай редкой удачи.

Высшим взлетом таланта Рокуэлла Кента стала сюита из 200 рисунков к полуреальному-полуфантастическому повествованию Германа Мелвилла об охоте на Белого Кита, на Моби Дика. И кто бы отныне ни брался вновь за карандаш, чтобы представить свою версию гонки под парусами за гигантским кашалотом, ему нужно будет побороться с образами, созданными рукой Кента... Что-то не слышно пока, что кто-нибудь победил его, хотя попытки сделать это были.

Что же лежало в основе успехов Рокуэлла? Во-первых, художник был завзятым книгочеем, тонко разбирающимся в назначении того или иного тома. Во-вторых, он был еще и архитектором. Причем, практическим. Он возводил и виллы, и семейные дома, и хижины, и шалаши. Он понимал, что такое фасад и торец, знал цену пространству и конструкции. Процесс создания книги во многом сходен со строительством — это формирование целостного, функционально правильно построенного и композиционно четко сложенного организма, отвечающего и утилитарным, и духовным потребностям человека, в котором все «сообразно и соразмерно». И в изобразительном искусстве Кент не выносил современного ему модернизма, он знал цену и целому, и яркой детали.

Наконец. Художник был общественно активной, прогрессивно мыслящей личностью. Он видел в книге один из тех социально-психологических инструментов в духовной жизни народа, который способен формировать нравственные идеалы и убеждения. В связи с этим он полагал, что книге необходима иллюстрация, ибо именно она подталкивает размышления читателя, приводит его к сомнению или стойкой вере. Иллюстратор представлялся ему посредником между читателем и писателем, между классиком и прогрессивным воззрением современности. За искусством книги Кент видел искусство значительной моральной и воспитующей роли, большой силы в формировании современного ему гуманистического идеала. Что, собственно, и сближало его с неизвестными ему собратьями по профессии в Советском Союзе.

И еще, Кент, приступая к разговорам с заказчиками оформления, хоть и нуждался в деньгах, однако стремился исходить из того, насколько авторский текст дает ему возможность рисовать то, что ему нравится.

Однажды ему невероятно повезло. В тот достопамятный день 1928 года Уильям Киттредж, представитель чикагской фирмы «Лэйксайд пресс», обратился с предложением оформить и проиллюстрировать одну из книг американских авторов. Издательство наметило выпустить серию лучших книг, созданных писателями Нового Света.

Фирма хотела создать шедевр книгопечатания XX века. В ее серии должно было соединиться все, чем располагали книгоиздатели Соединенных Штатов той поры: произведения всемирно известных авторов-американцев, оформление наиболее талантливых графиков, лучшие бумагу и материалы, наиболее технически совершенное полиграфическое исполнение.

Надо оговориться. Сам замысел «Лэйксайд пресс» не отличается оригинальностью. В истории книгопечатания имеются честолюбивые предшественники Уильяма Киттреджа. Их немало в Германии, Англии. Есть они и у нас, в России. Книгой, собравшей в себе все умение петербургских книжников, стало роскошное издание о византийских древностях, собранных в Эрмитаже.

Но книги, выпущенные чикагскими книгоиздателями, не затерялись среди «роскошных» библиофильских изданий первой половины XX века. В значительной мере этому помогло счастливое для фирмы обращение к Рокуэллу Кенту. Оно не было случайным. Репутация Кента-графика была в кругу понимающих людей очень высока. В середине 20-х годов, после освежающих путешествий на Аляску и на крайний юг континента, им был создан ряд замечательных произведений. В это время он с головой уходит в работу над станковой графикой, а затем и над иллюстрацией.

Краткий перечень этих работ хочется начать с листа, в высшей степени характерного для творчества Кента. Это гравюра «Негибнущая» (1927 г.) — олицетворение неистребимой морской романтики, никогда не покидавшей художника.

В черной ночи луч света выхватил из темноты носовую часть старинного парусника, наскочившего на прибрежные камни многие годы назад. Время обнажило


Из иллюстрации к роману
Германа Мелвилла «Моби Дик».

всю конструкцию корабля, сломанным палашом торчит разваливающийся бушприт. Под ним — носовая фигура — морская дева со спокойно сложенными под грудью руками. В тишине ночи, под сверкающими звездами, она смотрит вперед по курсу, как смотрела в те времена, когда над ее гордой головой громоздились полотняные облака расправленных попутным ветром парусов...

Когда смотришь эстампы Кента, возникает мысль об органической близости его художнического дара американской поэзии и, прежде всего, Уолту Уитмену.

В 1928 году с рисунками Кента был выпущен в свет вольтеровский «Кандид», а в 1929-м — пушкинская «Гаврилиада». Оба цикла иллюстраций — изящные перовые рисунки, своеобразный и чуть стилизаторский аккомпанемент к знаменитым текстам.

Авторы статьи о книжной графике Рокуэлла Кента готовят для издательства «Молодая гвардия» жизнеописание знаменитого художника, общественного деятеля, писателя и путешественника. Статья в основе своей представляет собою главу из рукописи этой книги.



Рокуэлл Кент

Три рисунка к «Гавриилиаде» — прелестны, они относятся к числу самых значительных иллюстраций, сделанных к Пушкину за пределами нашей страны.

Слова «болдинская осень» — давно уже литературоведческий термин, означающий удивительно вдохновенный и поразительно плодотворный творческий период мастера. Конец 20-х — начало 30-х годов были для Рокуэлла-графика «болдинскими годами». Бурный взрыв его созидательной энергии породил иллюстрации к целой веренице книг, изящные и остроумные рекламные листы, целый рой экслибрисов, торговых марок, гравюрных миниатюр и литографий, рисунков к журналу «Адвенчур».

Но главным, монументальным произведением той поры и всей жизни Кента был и остается «Моби Дик».

Следует сказать о том, как появился замысел этой гигантской работы. Ведь Уильям Киттредж сначала предложил Рокуэллу приняться за иллюстрирование другой книги — «Два года на палубе» Ричарда Генри Дана.

— Давайте, делайте эту работу, старина! У вас получится — вы же моряк!

В 1986 году эта книга появилась на свет на русском языке. «Два года» — повествование известного в свое время адвоката, питомца Гарвардского университета, о двухгодичном пребывании матросом на американских торговых судах. Эта книга, правдивая и честная, произвела в свое время впечатление в образованном обществе. Она была опубликована в 1940 году.

Дан открыл путь в литературу другому морскому волку. По его следам шел Герман Мелвилл, проплававший значительно больше Дана, с которым был знаком и дружен, совершивший побег, живший среди полинезийцев, принявший участие в бунте команды и сумевший, естественно, глубже заглянуть в природу добра и зла. Он в своих книгах органически сплавляет авантюрно-морскую линию с мотивами социального и морального протеста.

Кенту нравилась предложенная книга. Но еще больше ему нравилась другая. И он сказал, стараясь сдержать внезапно забившееся сердце:

— Послушайте, Уильям! Это прекрасная мысль. Но, может быть, лучше — «Моби Дик»?

Это была мечта. И чикагские издатели почувствовали, что они могут получить, если пойдут навстречу художнику, исподволь готовившемуся к своему главному делу. Они пошли навстречу и получили около трехсот рисунков самого высокого достоинства. Это заставило их издать эпопею Мелвилла в двух томах, заключив их в алюминиевый футляр. Весь ансамбль в целом, а именно так хочется сказать об этом двухтомнике, производит огромное впечатление мастерством исполнения — настоящая инкунабула нашего века.

Затем издательство «Рэндом хауз» сделало Рокуэллу выгодное предложение: издать книгу массово, в одном томе. Печатать новый тираж взялась «Лэйксайд пресс», в связи с чем вернула художнику право распоряжаться рисунками к «Моби Дику». Распространение однотомника взял на себя «Клуб лучшей книги месяца». Иллюстрации к роману Германа Мелвилла много лет служили источником дохода.

У нас однотомник с рисунками Кента был издан в 1961 году и давно превратился в библиографическую редкость.

С предвкушением необычного открываем первый том первого издания. Черный лист титульного листа. На глубоком черном фоне словно горят белые литеры названия. В центре скупыми линиями обозначен пловец, выбравшийся на берег после кораблекрушения — парафраз «уитменовской» гравюры. А дальше — первые неожиданности Мелвилла и Кента, двух художников, талантом достойных друг друга. Посвящение Натаниэлю Готорну и фантастическая голова белого кита в заставке, этимология слова «кит», извлечение из древних текстов, мемуаров, стихов, поэм, романсов, речей и научных трудов — своеобразное предисловие к цетологии (cetus — кит, по-латыни) Мелвилла. Наконец, первые строки исповеди Исмаила и первые рисунки Кента...

В Моби Дике символически воплотились силы зла, и их битва означает борьбу человечества с враждебными силами, закрывающими людям путь к счастью, свободе, благоденствию. В этом один из важнейших аспектов книги, особо — ибо это обозначено хоть и в яркой, но общей форме — сложной для иллюстратора. Легче и привычней были другие ее планы — цетологический и бытоописательский.

Однако Кент блистательно справился со всеми загадками, которые задала ему трехлетняя работа.

Перевернем еще одну страницу книги и выскажем догадку. Посмотрим на одну из первых иллюстраций цикла, изображающую «смертного, погруженного в созерцание океана». Горожанин в картузе забрался на сваю или пал, охватил бревна ногами и с тоской смотрит вдаль, туда, куда стремится парусник, уходящий за горизонт. Профиль — нос, небольшой подбородок — напоминают утку, которая собирается закрякать. Именно так и определяла, помнится, матушка Рокуэлла особенности его внешности.

Что ж, весьма возможно, что художник в известной мере отождествлял себя с героем эпопеи Мелвилла. Ведь Исмаил в библейской легенде — изгнанник, бродящий в пустыне. В «Моби Дике» — это рассказчик, уходящий в океан, поскольку испытывает отвращение к современной жизни соотечественников.

Кент мог считать себя изгоем своего класса, к которому принадлежал по рождению. Не раз, движимый чувствами, сходными с чувствами литературного героя, он бросал все к черту и отправлялся куда глаза глядят от смердящих городов и прелестей гарднеровской и кулиджевской демократии. И если бы Ахав предложил ему отправиться промышлять Белого кита, он, не задумываясь, согласился бы, как внутренне согласился прервать работу для чикагских издателей ради безумного для среднего сорокалетнего американца поступка — похода на боте «Дирекшн» к берегам Гренландии. Вот сколь сильно звучал в Кенте голос моря.

Из Гренландии Кент попадает в Данию. Оттуда он дает жене телеграмму с просьбой немедленно выслать ему все, что необходимо для завершения работы над книгой о легендарном ките. Таким образом, в иллюстрациях к «Моби Дику» нашли воплощение самые свежие морские впечатления мастера.

Мелвилл писал о китобоях, профессии почти исчезнувшей и, уже во всяком случае, видоизменившейся. Раньше, во времена автора «Моби Дика», погоня за китом была единоборством с могучим животным. Кашалота, голубого, гренландского серого кита, финвала, сейвала или горбача догоняли на узких вельботах сильные и выносливые гребцы; гнулись весла, звенели борта от бегущей мимо соленой воды, сокращалась дистанция, и вот на носу лодки с тяжелым гарпуном в руке поднимался самый смелый моряк, обладающий отвагой, глазомером и недюжинной физической силой. Бросок гарпуна означал обычно самый драматический эпизод схватки, но отнюдь не ее завершение. Кит мог уйти, а мог из преследуемого превратиться в преследователя.

Существовал ли реально Моби Дик? Очевидно, нечто близкое белому киту промышленники встречали. Китобои отличали от собратьев старых, одиноких самцов, они имели собственные имена и излюбленные места пребывания в океане. «Новозеландец Том» остался непобежденным, хотя его преследовала эскадра вельботов с нескольких судов. Том напал на них сам. В 1920 году китобоец «Эссекс» был потоплен огромным кашалотом. Гигант проломил дубовый борт и добил судно ударом в носовую часть. В хрониках этого старинного промысла описано немало таких случаев.

В наш век судьба китов волнует многих. Их стада уменьшаются, сокращаются ареалы обитания. Некоторые виды занесены в Красную книгу, и человек искренне горюет, когда его океанскому родственнику что-либо угрожает. И если киты выбрасываются — еще одна неразгаданная задача, сотни добровольцев пытаются помочь колоссам, оказавшимся на мели, вновь вернуться в родную стихию.

Но главное — китобои. Безумный Ахав, тонкий, интеллигентный романтик Исмаил, устрашающий Квикег, долговязый, серьезный помощник капитана Старбек и другие действующие лица, удостоенные замечательных по убедительности портретов. Особенно шкипер на костяной ноге. Все они жаждали настичь Моби Дика, о жестокой мощи которого ходили самые ужасные слухи.

Из иллюстраций к книге «Саламина».



Изображения кита не менее замечательны, чем портреты моряков. Здесь талант Кента разворачивается с совершенно неожиданной стороны. Он создает удивительные изображения, которые в равной мере удовлетворяют как естествоиспытателя, так и искусствоведа. Художник в совершенстве изучил веретенообразное тело кашалота. Эта живая океанская подлодка внушительна и красива. Замечателен белый кит, выскакивающий из глубин океана, внушителен его движитель, двулопастный хвост. Беспощадна крутолобая голова, челюсти, хрустящие вельботами смельчаков, увлекающие их в пучину океана.

Работая над «Моби Диком», Кент сделал немалый вклад в маринистику. Его изображение судов и воды — главных героев этого вида искусства — считается классическим. К числу лучших можно отнести несколько страничных иллюстраций. Представьте. Носовая или баковая часть китобойца с фигурой вперед смотрящего, увидевшего, вероятно, фонтан, пущенный китом несколько правее курса «Пекода». Судно идет прямо на недавно вставшую луну, и узкий, изящно вытянутый кливер или стаксель режет пополам диск светила. Мерно дышит ночной океан, и кажется, можно услышать, как мелодично шумит вода, разрезаемая зубовым корпусом «Пекода».

Поразительную наблюдательность проявил художник, изображая океан в разных состояниях. Помнится, И. К. Айвазовский требовал от своих учеников живой и действенной памяти. Его биограф передает нам слова мастера:

— Человек, не одаренный памятью, сохраняющей впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником — никогда. Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натуры. Для этого художник и должен запомнить их и этими случайностями, равно, как эффектами света и теней, обставлять свою картину.

Кент прекрасно улавливал это «движение стихий». Причем, что любопытно, не только в живописи, как это свойственно обычно крупным маринистам, а более всего в графике. Издавна текучая субстанция масла, темперы, а тем более водяных красок — акварели, гуаши, казалось, больше подходит для изображения состояний воды и воздуха. И это блестяще доказали и голландцы, и венецианцы, и, разумеется, англосаксонские живописцы, творчество которых прекрасно знал Рокуэлл (такие блестящие знатоки моря, как Дэвид Кокс, Джозеф Тернер, Джон Констебл, Джеймс Уистлер; особняком, полагаем, стоял Уинслоу Хомер).

В связи с этим обратимся к некоторым фактам истории американской маринистики, этим примечательным и внутренне сходным с маринистикой русской явлениям. Для нее характерно спокойное и глубокое почитание корабля, моря и моряков. Новый Свет европейцы увидели из «вороньего гнезда» на мачте парусника. И его ветрила нет-нет, да появляются на первых примитивных пейзажах, украшающих жилища американских поселенцев. Наиболее зажиточные заказывают изображения своих плантаций. И часто мимо усадебного дома, хозяйственных строений и возделанных нив величественно проплывает трехмачтовый фрегат.

Но на развитие маринистики влияли не только мирные занятия земледельцев или купцов. США вели войны, и, естественно, конгресс довольно быстро принял решение о строительстве боевых кораблей. В 1797 году в Новой Англии было спущено на воду два знаменитых фрегата — «Констеллейшн» и «Конститьюшн». Они участвовали во многих войнах, одерживали победы в артиллерийских дуэлях и абордажных схватках, преследовали работорговцев и дожили до наших дней.

Кент, однако, не одобрял войны и прославляющего их искусства. Его больше прельщали картины мирной

жизни, разворачивающейся на лоне вод или на фоне морских и океанских просторов.

Подобные сюжеты были близки и Уинслоу Хомеру. У нас этот замечательный художник мало известен. Впрочем, нью-йоркский музей Метрополитен, демонстрируя в СССР сто шедевров живописи из своей коллекции, показал рядом с прославленными творениями знаменитых европейцев и ряд произведений американской школы, где была и картина Хомера «Гольфстрим». Это полотно насыщено бурной жизнью океана. Вокруг крохотного суденышка без мачты совершают свой устрашающий танец акулы, ощущается движение масс теплой воды, нагретой в экваториальной зоне. Поверхность океана как бы расчерчена на планы тенями проходящих в вышине туч. Только что, видно, прошел шквал, вдали темнеет крутящийся столб смерча, а еще дальше, как бы тенью — паруса трехмачтового барка, пересекающего океанскую реку. На палубе суденышка — негр, вглядывающийся в горизонт. Рядом — несколько стволов сахарного тростника. Многозначительная деталь... Уж не раб ли, вверивший свою жизнь мощному течению, влекущему разбитый бот на север?

Уинслоу Хомер активно занимался графикой. Он рисовал море углем и белым мелком. Его работы не переводились в деревянное клише для журнала «Харпер уикли», где он сотрудничал. Хомер и сам делал прекрасные гравюры. Рокуэлл Кент переняв эту эстафету и сделал шаг вперед в изображении моря черным и белым цветами.

Рокуэллу Кенту удалось убедительно передать образ морской, даже океанской стихии в графике, причем в изображении волны — труднейшего элемента — вряд ли кто с ним сравняется. Даже наши отечественные виртуозы В. И. Бибиков или Н. Т. Куников ему, пожалуй, проигрывают — они воспроизводят волнение «хляби» средствами, близкими к тоновой гравюре, ориентировавшейся на воспроизведении живописных приемов.

Американец же волну рисует, то есть строит, мысленно видит ее насквозь, предугадывает (и передает) все капризы стихии. По-настоящему Кенту это стало удаваться в работе над «Курс N by E», и, если бы не было книги о погоне за белым китом, «Курс...» оказался бы самым «морским» из того, что было сделано им в иллюстрации. Представляется, что чтение дневниковых записей как бы подстегивало память и фантазию, и рука безупречно передавала все особенности борьбы «Дирекшн» со стихией... Вот вал почти догнал судно с кормы, и вода либо зальет кокпит, либо скользнет как ни в чем не бывало под днище. А вот бот под одним штормовым кливером форсирует встречную волну. Сейчас она, судя по изображению, должна взлететь над скулой левого борта и обдать холодными, колючими потоками рулевого...

Чувствуется, что волну Кент воспринимает, как говорят ныне театральные режиссеры, «органично», то есть знает, что же можно от нее ожидать. В старые времена маринистами становились те, кто прекрасно знал природу моря, ремесло мореплавания — можно предположить, что существовал некий негласный комитет, следивший за качеством живописи, за точностью в исполнении на полотне бегущего или стоячего такелажа и прочими важными для моряков деталями... И. К. Айвазовский и А. П. Боголюбов, А. К. Беггров участвовали в практических плаваниях и по праву были назначены в свое время художниками при Главном морском штабе русского флота. Кент также стал маринистом «по-честному».

Испросив у читателя прощения за эти отступления, вновь откроем самые избранные и любимые рисунки, посвященные стихии. Строго и вдохновенно следуют они за постепенно разворачивающейся трагедией. Действующие лица подобны героям Эсхила, они ведомы роком, их действия сопровождает хор. Это волны, ветер, это голос бессмертного Океана. И величие Ахава, и его безумие, и действия команды, беспрекословно подчинившейся цели похода — всему этому мощно и внушительно аккомпанирует океан, его тайная и явная жизнь. Ахава, впрочем, ничто не смущает, и, когда помощник предлагает ему убавить паруса, он, как античный герой, отвергает этот компромисс.

И в снасти, установленные на китобойце «Пекод» Германом Мелвиллом, засвистали, взвыли, забурчали ветры, поднятые Рокуэллом Кентом.

Он многое открывает в поведении воды для сухопутного человека. Великий Океан выгибается в дугу, колеблется, разверзает пучины и вдруг прикидывается, что он-де кроток, «как голубица». Вот это и рисовал Кент.

Высокая культура репродукционной гравюры ощутима и в других графических работах Кента, предназначаемых книге. Прекрасно зная все секреты и возможности современной ему полиграфии, он осмысленно занимает «старомодные» (в сущности, глубоко реалистические) позиции. Твердая рука, четкий штрих, добротный рисунок и образная наполненность — этими свойствами отмечены прежде всего иллюстрации к классическим произведениям, работой над которыми Кент занимался в 1930—1941 годах, не прерывая ее даже во время гренландских экспедиций. Он углубленно трудился над самыми подчас сложными, емкими и престижными произведениями мировой и американской классической литературы. В них живет дух великой традиции, дух эпоса.

Кент сумел почувствовать дух Чосера и Шекспира, греческих мифов и исландских саг как человек XX века. Снова хочется сказать о глубоком влиянии великого северного острова, его истории и его природы на художественный мир Рокуэлла. Он жил среди народа, в среде которого были реально живы мифологические представления. Острова, фьорды, скалы были населены духами — инца — хозяевами и хранителями их.

Кент иллюстрировал самые различные книги. Но, надо сказать, особый успех выпадал на его долю, когда в основе литературного повествования лежала определенная сумма народных тем и образов. Именно она составляла основу книги Эстер Шеппард «Поль Бэньян» (1941 г.), написанной по мотивам американского фольклора и посвященной доброму, простосердечному силачу-великану.

Были ли у Кента-иллюстратора неудачи? Пожалуй, только одна работа среди того круга книг мастера, который, впрочем, нам известен. Вслед за профессором А. Д. Чегодаевым мы не можем считать вершиной иллюстрации к «Фаусту» Гете. Это несколько неожиданно. Ведь Кент прекрасно знал язык, да и саму немецкую культуру. Однако в его рисунках на первый план выступало нечто сказочно-завлекательное, а не то возвышенно-интеллектуальное, что и составляет существо гениальной книги немецкого поэта...

Но будем помнить, что Кент удивительно чувствовал и умел четким и ясным штрихом передать сложную жизнь морской стихии, он оказался, может быть, самым выдающимся графиком-маринистом. Восприняв эстафету от ныне почти безвестных европейских и американских граверов конца XVIII — начала XIX века, Кент на основе собственных наблюдений развил возможности черно-белого изображения изменчивой водной природы.



C

Ведут Павел БОНДАРОВСКИЙ, Александр НА[illegible]ЕВ

Eric Clapton
Эрик Клэптон

Английский гитарист, композитор, певец.
Настоящее имя: Eric Patrick Clapp. 30.III.1945, Ripley, Surrey.

Учился в Кингстонском художественном колледже (Kingston Art College), но был исключен за неуспеваемость. Виной тому были пластинки с записями Чака Берри (Chuck Berry), Мадди Уотерса (Muddy Waters), Роберта Джонсона [Robert Johnson), Билла Брунзи (Big Bill Broonzy), Скипа Джеймса (Skip James), которые Эрик слушал все свободное время, осваивая технику игры выдающихся американских блюзовых гитаристов. В марте 1962 года в Лондоне открылся клуб любителей ритм-энд-блюза «Илинг» («The Ealing Club»); Клэптон стал одним из его завсегдатаев и как вокалист нередко подменял Мика Джеггера (Mick Jagger) в ансамбле «Alexis Korner's Blues Incorporated». Карьеру профессионального гитариста начал в 1963 году в группе «The Roosters», куда его пригласил Tom McGuinness; через полгода оба перешли в «Casey Jones and The Engineers», однако спустя всего две недели, в октябре 1963-го, записав с коллективом Кэйси Джонса сингл «One Way Ticket» (фирма «Columbia Records»), Клэптон сменил в ансамбле «The Yardbirds» соло-гитариста Тони Топэма (Anthony «Top» Topham). «Ярдбердз» выступали в ричмондском (Richmond) клубе «Crawdaddy», где до них основной группой была «The Rolling Stones». Эрик Клэптон записал с «Ярдбёрдз» три сингла («I Wish You Would», «Good Morning Little School-girl» и «For Your Love»), один мини-альбом и концертный диск «Five Live Yardbirds» (1964, фирма «Columbia Records»). Второй сингл в ноябре 1964-го вышел в число 50 лучших национальной таблицы популярности, а третий в марте 1965-го занял третье место. Когда это произошло, Клэптон уже покинул ансамбль. «For Your Love» (автор — Graham Gouldman) являлась для своего времени во многом новаторской композицией (усложненная ритмика, акцент на звучании клавесина), но это была коммерческая поп-музыка, а Эрик чем дальше, тем больше тяготел к блюзу. В составе «Ярдбёрдз» он аккомпанировал приехавшему на гастроли американскому блюзовому певцу Санни Бой Уильямсону (Sonny Boy Williamson), участвовал в записи его альбома «Sonny Boy Williamson and The Yardbirds» (1964, фирма «Fontana Records»). Расставшись с ансамблем, в котором играл 14 месяцев, Клэптон на время покинул сцену и поступил рабочим на стройку. Но вскоре ему позвонил Джон Мэйелл (John Mayall) и пригласил в свою группу «The Bluesbreakers». В биографии Эрика Клэптона это был переломный момент. С «Блюзбрейкерз» он выступал с апреля по август 1965-го и, после поездки на [illegible] в Грецию, с ноября по июль следующего года. Блестящие сольные партии в инструментальных композициях «Steppin' Out» и «Hideaway», в песнях Джона Мэйелла принесли ему славу лучшего блюзового гитариста страны. Неизвестно, кто первым «украсил» стену одной из станций лондонской «подземки» надписью «Clapton Is God» («Клэптон — Бог»), но уже через несколько дней эта фраза появилась на фасадах тысяч домов в столице и провинции. Шестой состав «Блюзбрейкерз», куда входили Клэптон, Мэйелл, John McVie и Hughie Flint, выпустил только один альбом — «Blues Breakers — John Mayall with Eric Clapton» (1966, фирма «Decca Records»), — но он сразу попал в первую десятку национального хит-парада и навсегда останется в числе красивейших блюзовых дисков, когда-либо записанных белыми исполнителями. Играя в «Блюзбрейкерз», Клэптон находил время и для сотрудничества с другим музыкантами. С Джимми Пейджем (Jimmy Page) сделал серию записей, позднее включенных в антологии британского блюза; с Джеком Брюсом (Jack Bruce; в 1962-м — начале 1963-го играл в «Блюз Инкорпорэйтид», летом и осенью 1965-го — в «Блюзбрейкерз») и Стиви Уинвудом (Stevie Winwood) записал демонстрационный диск «What's Shakin'», исполнив ведущую вокальную партию в песне Роберта Джонсона «Crossroads Blues». В ходе этой работы у Клэптона родилась идея попробовать себя в синтезе блюза и рока. В июле 1966 года он расстался с Джоном Мэйеллом и образовал с Джеком Брюсом и Джинджером Бейкером (Ginger Baker) трио «Cream». Музыканты намеревались играть в небольших клубах и кафе, но дебютное выступление на Виндзорском фестивале джаза и блюза (Windsor Jazz and Blues Festival, 1966) вызвало у публики такой восторг, что каждый невольно начал импровизировать, демонстрируя максимум своих возможностей. Этот стиль и стал традиционным для группы. В 1967 году она почти постоянно работала в Америке. Концерты трио по-прежнему имели огромный успех, но сольные импровизации все больше строились на отработанных штампах, и когда в журнале «Rolling Stone» Клэптона назвали «мастером клише», он понял, что сбился с пути. На одном из концертов он решил проверить, заметят ли Брюс и Бейкер его отсутствие, и в середине композиции перестал играть. Они не заметили и благополучно доиграли вдвоем — настолько каждый был увлечен своей партией. В 1968-м трио распалось. Но еще раньше Клэптон начал сотрудничать с другими рок-звездами. Особенно тесные контакты установились у него с Джорджем Харрисоном (George Harrison) и Джоном Ленноном (John Lennon) из квартета «The Beatles». Он исполнил сложнейшую партию соло в песне Харрисона «While My Guitar Gently Weeps» (двойной альбом «The Beatles», 1968), после чего подарил свою новую гитару (вишневый «Gibson») автору. Джордж использовал ее в работе над дисками «Let It Be» (1970) и «Abbey Road» (1969). В благодарность Харрисон посвятил другу песню «Savoy Truffle», а в октябре 1968-го принял участие в записи группой «Крим» песни «Badge», сочиненной им в соавторстве с Клэптоном под впечатлением от альбома «Music From Big Pink» (1968) ансамбля «The Band». Песня вошла в последний диск трио, «Goodbye» (28.II.1969), затем выдержала два издания как сингл (5.IV и 21.IX.1969) и была включена в антологию лучших композиций года «Hits '69» (29.XI.1969)... В начале 1969 года Эрик Клэптон основал новую супергруппу, «Blind Faith», в состав которой вошли Джинджер Бейкер, Стиви Уинвуд (экс-«Traffic») и Rick Grech (экс-«Family»). Биография этого квартета — как вспышка магния — в равной мере яркая и короткая. В июне он дебютировал в лондонском Гайд-парке (Hyde Park), где присутствовало более ста тысяч человек. Единственный альбом, «Blind Faith» (1969), возглавил таблицы популярности по обе стороны Атлантики. Самой удачной критики признали композицию Клэптона «Presence Of The Lord». Осенью квартет отправился в продолжительную гастрольную поездку по США, где его выступления предварял ансамбль «Delaney and Bonnie and Friends» (дуэт «Делани энд Бонни» и его аккомпанирующая группа в составе: Leon Russell — гитара, клавишные, вокал, Jerry McGee — гитара, Bobby Whitlock — гитара, клавишные, вокал, Garl Radle — бас-гитара, Jim Gordon — ударные, Bobby Keyes — саксофон, Jim Price — труба, Rita Coolidge — вокал). Вскоре после начала турне суперквартет «Блайнд Фейт» распался, и Эрик Клэптон решил выступать с «Делани энд Бонни». («Они играли музыку для души», — позднее объяснил он свой шаг.) Проехав с концертами по гастрольному маршруту, намеченному для «Блайнд Фейт», коллектив после небольшого перерыва совершил европейское турне; в его английских выступлениях (2—7 декабря) участвовал Джордж Харрисон. Сделанные на концертах записи составили материал альбома «Delaney and Bonnie and Friends with Eric Clapton Live On Tour» (7.IV.1970 — U. S., 19.VI.1970 — U. K.). (В перерыве между американским и европейским турне Эрик Клэптон в составе ансамбля «The Plastic Ono Band» участвовал в организованном Джоном Ленноном концерте «Toronto Rock'n'Roll Revival» на стадионе «Varsity», проходившем в рамках антивоенного фестиваля «Toronto Peace Festival» 13 сентября 1969 го-

да в Торонто, Канада, а 30 сентября как гитарист той же группы аккомпанировал Леннону при записи сингла «Cold Turkey». Сотрудничество с «Делани энд Бонни» продолжилось в работе над первым сольным диском Клэптона, «Eric Clapton» (1970). Delaney Bramlett выступил как его продюсер, а участники вккомпанирующей группы дуэта — как сешн-музыканты. Лучшая песня пластинки, «After Midnight» (интерпретация композиции Джн Джи Кейла — J. J. Cale), в декабре 1970-го попала в американский хит-парад. В том же месяце вышел новый, двойной альбом Клэптона — «Layla (And Other Assorted Love Songs)». Его фамилии на конверте нет, но есть название группы — «Derek and The Dominos», — под которым скрываются он сам (Derek) и трое музыкантов из «Делани энд Бонни...» — Бобби Уитлок, Карл Рэдл и Джим Гордон. (Немногим раньше эти же инструменталисты помогали Джорджу Харрисону записывать один из лучших его альбомов, «All Things Must Pass», 1970.) В создании альбома также участвовал соло-гитарист Dubne Allman из ансамбля «The Allman Brothers Band». Заглавная композиция, «Laylв», посвященная жене Джорджа Харрисона — Пэтти (Pattie Boyd, 17.III.1945; Эрик был влюблен в нее на протяжении многих лет, и в 1979-м она все-таки вышла за него замуж), — завоевала огромную популярность и по сей день фигурирует в списке лучших произведений рок-музыки всех времен. Тираж альбома в США составил 1.265 тысяч экземпляров, хотя критика признала его в целом неудачным, высоко оценив только песню «Layla». «Дерек энд Доминос» совершили гастрольную поездку в Англию, в ходе которой записали концертный диск «Derek and The Dominos Live», но вскоре ансамбль распался, а пластинка увидела свет лишь в 1973-м. В 1971—1972 годах Клэптон жил в полном уединении у себя дома в Риппли. За этот период он только трижды выходил на сцену: 1 августа 1971-го участвовал в обоих концертах знаменитой акции Джорджа Харрисона «The Concert For Bangla Desh» (зал «Madison Square Garden», Нью-Йорк), а затем — в шоу-программе Леона Расселла (зал «Rainbow Theatre», Лондон). В январе 1973-го Pete Townshend, Steve Winwood, Ron Wood и Jim Capaldi организовали его сольный концерт в зале «Rainbow», а сами выступили как аккомпаниаторы. Альбом с записью выступления («Eric Clapton's Rainbow Concert», 1973) свидетельствовал о том, что Клэптон отнюдь не в лучшей форме (он проходил курс лечения от наркомании). Лишь в конце года Эрик ощутил в себе достаточно сил, чтобы начать подготовку материала для нового студийного альбома. Летом 1974-го он сообщил своему менеджеру Роберту Стигвуду (Robert Stigwood), что готов к работе, и через несколько дней вылетел в Майами (Miami, США, штат Флорида). В название диска он вынес адрес дома, в котором остановился: «461 Ocean Boulevard». Пластинка состояла из десяти композиции, выдержанных в новом для Клэптона стиле — кантри-энд-блюз. В дальнейшем он стал типичным для музыканта. 17 августа альбом возглавил американскую таблицу популярности, а 14 сентября одна из его песен, «I Shot The Sheriff» (обработка композиции Боба Марли — Bob Mвrley), как сингл заняла первое место в США и вошла в десятку лучших в Англии. В записи принимали участие George Terry (гитара), Dick Sims (клавишные), Jamie Oldaker (ударные), Carl Radle (бас-гитара) и певица Yvonne Ellimвn. С ними Клэптон совершил продолжительное турне по США и Западной Европе. В дальнейшем при записи пластинок он сотрудничал с такими звездами, как Tina Turner, Phil Collins, Tom Dowd, Mark Knopfler, Marcy Levy. В свою очередь, Эрик участвовал в создании альбома Джорджа Харрисона «Dark Horse» (1974), сочинил песню для сольного диска Ринго Старра (Ringo Starr) «Ringo's Rotogrвvure» (1976). Его собственный альбом «Slowhand» (1977) обнаруживает растущую увлеченность музыкой кантри, и особенно творчеством певца и гитариста Дона Уильямса (Don Williams), чьи песни составляют основу пластинки. В американский хит-парад, однвко, вошли оригинальные композиции Клэптона — «Wonderful Tonight» и «Lay Down Sally» (18.III.1978 — № 4; написана в соввторстве с Марси Леви). В 1980 году он дал серию концертов в пригороде японской столицы Будокане (Budokan); исполненные там песни представлены на альбоме «Just One Night» (1980, 2LP). Весной 1987-го в двадцатку лучших попал в США очередной диск Эрика «August» (1986); включенные в него композиции музыкант чуть раньше, в январе, с большим успехом сыграл и спел на концерте в лондонском зале «Royal Albert Hall». Не менее активно работал он и в дальнейшем. Особенно удачным оказалось его сотрудничество с ансамблями «Dire Straits», «The Robert Cray Band». В 1988 году вышел его сборник «Cross Roads» — ретроспекция 25-летней творческой деятельности.

Дискография: Eric Clapton (1970, Polydor Rec.); Delaney and Bonnie вnd Friends with Eric Clapton Live On Tour (1970, Atlantic Rec.); Laylв/And Other Assorted Love Songs (1970, Polydor, 2LP); History Of Eric Clapton (1972, Polydor, hits); Eric Clapton At His Best (1973, Polydor, hits); Eric Clapton Rainbow Concert (1973, RSO Rec., live); Derek and The Dominos Live (1973, Polydor/RSO); 461 Ocean Boulevard (1974, RSO); There's One In Every Crowd (1975, RSO); The Blues World Of Eric Clapton (1975, London Rec./Decca Rec., hits); E. C. Was Here (1976, RSO, live), No Reason To Cry (1976, RSO); Slowhand (1977, RSO); Backless (1978, RSO); Just One Night (1980, RSO, 2LP, live); Another Ticket (1981, RSO); Time Pieces (1982, RSO); Money And Cigarettes (1983, RSO); Time Pieces, vol. 2 (1983, RSO); Behind The Sun (1984, RSO); August (1986, Warner Brothers Rec.); Cross Roads (1988, Warner Bros.).

The Dave Clark Five
Дэйв Кларк Файв

Английский ансамбль. 1960—1970. **Начальный состав:** Dave Clark (15.XII.1942, Tottenham, London) — ударные, Rick Huxley (5.VIII.1942, Dвrtford, Kent) — бас-гитара, Lenny Davidson (30.V. 1944, Enfield, Middlesex) — гитара, вокал, Mike Smith (6.XII.1943, Edmonton, London) — клавишные, вокал, Denny Payton (11.VIII.1943, Walthamstow, London) — тенор-саксофон, гитара, кларнет.

Свой первый ансамбль Дэйв Кларк образовал в 1958 году, когда больше увлекался футболом, чем музыкой. Любительская футбольная команда, в которой он играл, нуждалась в средствах для поездки на юношеский чемпионат в Голландию, и Кларк решил заработать их выступлениями на танцах. В состав скиффл-квинтета вошли Рик Хаксли (гитара), Chris Walls (гитара), Mick Ryan (гитара) и Stan Saxon (вокал, свксофон). Необходимую сумму коллектив собрал всего за четыре концерта, после чего распался. Футболисты одержали в Голландии победу, но Кларк по возвращении расстался со спортом, чтобы продолжить музыкальную карьеру. В 1960-м он сформировал новый, стабильный состав квинтета, стилистическим кредо которого являлся ливерпульский мерси-бит (mersey beat) с подчеркнуто танцевальной ритмикой. Дебютный сингл группы, «Chaquita» (инструментальная композиция), выпущенный фирмой «Piccadilly Records» (филиал фирмы «Pye Records»), успеха не имел. В этот период музыканты выступали и репетировали только по вечерам, поскольку днем Дэйв Кларк работал каскадером в кинокомпании, Майк Смит — рассыльным в банке, Ленни Дэвидсон — клерком, Дэнни Пэйтон — радиотехником, Рик Хаксли — электромехаником. Тем не менее популярность ансамбля у лондонской публики быстро росла, а вскоре он стал известен и за пределами столицы. В 1962 году владельцы зала «Mecca Locarno» (город Basildon, графство Essex) вручили группе «золотой кубок» как лучшему из выступавших у них коллективов. В 1963-м на концерте в лондонском зале «Tottenham Royal» музыканты привлекли внимание представителя фирмы грампластинок «Columbia Records». В конце лета того же года произошло два важных для ансамбля события: он выступил в Букингемском дворце (Buckingham Palace) и заключил контракт с «Columbia

Records». В октябре квинтет выпустил сразу два сингла — «Mulberry Bush» и «Do You Love Me», — последний из которых попал в тридцатку лучших национального хит-парада. Третий сингл, «Glad All Over», 16 января 1964-го вышел на первое место в Англии, а чуть позднее — на 6-е в США. По количеству распроданных экземпляров эта пластинка уступала только двум синглам квартета «The Beatles» (данные на 1 января 1964 года) — «She Loves You» и «I Want To Hold Your Hand». Имея на своем счету четыре новых хит-композиции («Bits And Pieces», «Can't You See That She's Mine», «Thinking Of You Baby» и «Anyway You Want It»), группа отправилась на гастроли в Америку, где имела огромный успех. 30 мая коллектив дебютировал в престижнейшем нью-йоркском зале «Carnegie Hall», а на следующий день — в телепрограмме «Ed Sullivan Show». Как один из участников так назыааемого «британского вторжения» на американский рок-музыкальный рынок, ансамбль «Дэйв Кларк Файв» также уступал только группе «Битлз», причем получил за океаном даже большее признание, чем у себя на родине. 15 августа 1964 года американская кинокомпания «MGM» заключила с квинтетом контракт на съемки музыкального фильма «Having A Wild Weekend» (режиссер — John Boorman). В 1965-м в хит-парады по обе стороны Атлантики попали синглы «Reelin' And Rockin'», «Come Home», «Catch Us If You Can» (последняя композиция — из одноименного второго музыкального фильма с участием ансамбля «Дэйв Кларк Файв»). 25 декабря записанная группой песня «Over And Over» (обработка шлягера 1958 года, автор — Robert Byrd) возглавила национальную таблицу популярности США (в Англии заняла лишь 45-е место). В напряженной гастрольной и студийной работе прошел и 1966 год. В хит-парадах фигурировали синглы «At The Scene», «Try Too Hard» и др. Вскоре, однако, ансамбль изменил стиль. Сохранив характерные элементы прежнего звучания, музыканты стали создавать композиции в традициях некоммерческого рока с использованием приемов и инструментов, присущих симфонической музыке. На сингле «Everybody Knows» (1967) основу бэкграунда впервые составила струнная секция (скрипки, виолончель, альт). В творческом плане это было шагом вперед, но — в сторону от массового успеха. В дальнейшем лишь немногие песни квинтета попадали в списки лучших — «Red Balloon» (1968), «Good Old Rock'n'Roll» (1969), «Everybody Get Together» (1970)... В августе 1970-го Дэйв Кларк официально заявил о том, что ансамбль завершает карьеру. В 1972 году он вместе с Майком Смитом и группой сешн-музыкантов записал альбом «Dave Clark вnd Friends». В 1976 Смит образовал дуэт с певцом и гитаристом Майком д'Або (Mike d'Abo, прежде играл в ансамбле Манфреда Мэнна — Manfred Mann), затем стал сешн-музыкантом. Дэйв Кларк покинул сцену, приобрел в собственность знаменитую британскую телепрограмму «Ready, Steady, Go!»; выступал как продюсер и постановщик музыкальных фильмов и видеоклипов, реже — как автор и исполнитель новых песен. Остальные участники квинтета занялись разными видами торговли: Дэнни Пэйтон — недвижимостью, Рик Хаксли — музыкальной электроаппаратурой, Ленни Дэвидсон — антиквариатом. Вышедший в 1977 году сборник лучших композиций «Twenty Thumping Great Hits» снова вынес название квинтета к высоким позициям в английском и американском хит-парадах.

Дискография: Glad All Over (1964, Columbia/Epic Rec.); Session With The Five (1964, Columbiв/Epic); American Tour (1964, Columbia/Epic, live); Dave Clark 5 Return (1964, Columbia/Epic); Dave Clark 5 — Coast To Coast (1965, Columbia/Epic); Having A Wild Weekend (1965, Columbia/Epic); Catch Us If You Can (1966, Columbia/Epic); I Like It Like That (1966, Columbia/Epic); Try Too Hard (1966, Columbia/Epic); Satisfied With You (1966, Columbia/Epic); Greatest Hits (1966, Columbia/Epic); More Greatest Hits (1966, Columbia/Epic); 5 By 5 (1967, Columbia/Epic); You Got What It Takes (1967, Columbia/Epic); Everybody Knows (1968, Columbia/Epic); Weekend In London (1968, Columbia/Epic); Somebody Loves You (1971, Columbia/Epic); Dave Clark and Friends (1972, Columbiв/Epic); Twenty Thumping Great Hits (1977, Columbia/Epic).

The Clash
Клэш

Английский ансамбль. 1976—1985. **Начальный состав:** Joe Strummer (21.VIII.1952) — гитара, вокал, Mick Jones (26.VI.1956) — гитара, вокал, Keith Levene — гитара, Paul Simonon — бас-гитара, Terry «Tory Crimes» Chimes — ударные.

Группу образовали в мае 1976 года лондонские безработные Мик Джонс, Кит Левин, Пол Саймонон и Терри Чаймс. В июле к ним присоединился Джо Страммер, начинавший профессиональную карьеру в сентябре 1974-го в столичной паб-группе «The 101'ers», исполнявшей ритм-энд-блюз; записав всего один сингл, «Keys To Your Heart» (1975, фирма «Andalucia Records»), этот коллектив распался (в 1981 году его нереализованные концертные и студийные фонограммы составили альбом «Elgin Avenue Breakdown», выпущенный той же фирмой). 13 августа 1976-го квинтет «Клэш» дебютировал в одном из лондонских панк-клубов. В конце года группу покинул Кит Левин (с лета 1978-го — в ансамбле «Public Image Ltd.»). Как квартет «Клэш» впервые выступил 1 января 1977 года в столичном клубе «Roxy». Коллектив быстро завоевал популярность у поклонников панк-рока. Менеджером группы стал Bernie Rhodes, добившийся для музыкантов контракта с фирмой «CBS Records». 18 марта 1977-го появился дебютный сингл, «White Riot», а 4 апреля — альбом «The Clash» (продюсер — Micky Foote). Обе пластинки пользовались большим успехом, причем диск, первоначально выпущенный только для британского рынка, вскоре был импортирован торговыми фирмами США и разошелся в Америке тиражом свыше 100 тысяч экземпляров. (26 июля 1979-го он вышел и на американской фирме «Epic Records»; тираж — 371 тысяча экземпляров. Содержание пластинки было частично изменено; кроме того, к ней прилагался сингл «Groovy Times/Gates Of The West».) Одна из самых удачный композиции альбома, «Police And Thieves», вызвала недоумение у поклонников «Клэш» как группы жесткого панк-рока, поскольку была выдержана в стиле регги (автор — ямайский продюсер Lee «Scratch» Perry). В апреле 1977 года квартет совершил турне по городам Англии с программой под названием «White Riot», в которой также участвовали ансамбли «The Buzzcocks», «The Slits», «The Subway Sect», «The Jam». Летом музыканты побывали на Ямайке, где обсудили с Ли Перри планы дальнейшего сотрудничества. 23 сентября группа выпустила сингл с записью еще одной регги-композиции, «Complete Control». 30 апреля 1978 года коллектив выступил на концерте-митинге «Рок против расизма» («Rock Against Racism»), вновь продемонстрировав свои растущие симпатии к стилю регги. Летом того же года группу покинул Терри Чаймс. Новый ударник, Nicky «Topper» Headon, вошел в состав ансамбля за несколько дней до отъезда «Клэш» в США. В Нью-Йорке квартет записал свой второй альбом, «Give 'Em Enough Rope» (продюсер — Sandy Pearlman), вышедший 10 ноября в Великобритании, а в декабре — в Соединенных Штатах. В английском хит-параде диск занял второе место, крупный успех имел и в Америке. В музыкальном отношении пластинка свидетельствовала об окончательном отходе коллектива от канонов панк-рока, лидером которого он поначалу являлся. В аранжировках теперь преобладали элементы хард-рока с акцентом на усложненно-изысканных партиях соло-гитары и ударных. Лучшими не только на диске, но и вообще в творчестве «Клэш» были признаны композиции «Tommy Gun», «English Civil War», «Stay Free», «All The Young Punks», «Safe European Home». 24 января 1979 года фирма «Epic Records» выпустила только для американского рынка сингл «I Fought The Low» с версией песни из репертуара группы «The Bobby

С

Fuller Four», а 17 февраля концертом в нью-йоркском зале «Palladium» началось первое турне квартета по Соединенным Штатам. Публике музыкантов представил Bo Diddley. Активно гастролируя, ансамбль поэтапно записывал один из сложнейших своих альбомов, «London Calling» (двойной; продюсер — Guy Stevens; тираж в США — 625 тысяч экземпляров). В аранжировках композиций сильнее, чем прежде, ощущается влияние традиции американской рок-музыки, особенно в интерпретациях заимствованных песен («Brand New Cadillac», «Wrong 'Em Boyo», «Revolution Rock»), где отчетливы элементы стилей рокабилли, реггей, блюз, бибоп, музыки соул. В аналогичном ключе выдержаны собственные работы Джо Страммера и Кита Джонса — «Jimmy Jazz», «The Card Cheat», «The Right Profile»). «Американизация» звучания «Клэш» еще более очевидна в композициях следующего, тройного альбома, «Sandinista!», представлявшего собой синтез стилей реггей, ритм-энд-блюз и соул-фанк. В создании альбома принимал участие ямайский музыкант и певец Mickey Dread. 8—9 сентября 1979-го квартет выступил на рок-фестивале «The Second Annual Tribal Stomp» (США), а 22 и 27 декабря — на двух из четырех концертов, организованных в лондонском зале «Hammersmith Odeon» с целью сбора средств в фонд помощи Кампучии. (Сделанные на концертах записи составили двойной альбом «Concerts For The People Of Kampuchea», выпущенный в апреле 1981 года фирмой «Atlantic Records».) 15 марта 1980 года в Лондоне состоялась премьера музыкально-игрового фильма «Rude Boy», в основе сюжета которого — гастроли ансамбля «Клэш». 24 мая 1982-го группу покинул Ники Хедон; его заменил вернувшийся Терри Чаймс. 25 мая появился очередной альбом квартета, «Combat Rock» (продюсер — Glyn Johns), имевший большой успех и попавший в американскую десятку лучших. Соавтором ряда композиций пластинки явился поэт Allen Ginsberg. Музыканты впервые использовали в аранжировках стилистику музыки рэп и фанк, что заметно расширило аудиторию «Клэш»: альбом вскоре стал «золотым», а затем и «платиновым». Особой популярностью пользовалась песня Ники Хедона «Rock The Casbah». 12 октября ансамбль дал на стадионе «Shea» (Нью-Йорк) совместный концерт с группой «The Who», а 25—27 ноября принял участие в грандиозном фестивале «Jamaica World Music Festival», состоявшемся в Центре имени Боба Марли (The Bob Marley Performing Center) на Ямайке. В июле 1983 года снова ушел Терри Чаймс (основал группу «The Cherry Bombz»); новым ударником стал Pete Howard. 1 сентября в результате конфликта группу покинул Мик Джонс. Эту потерю коллективу компенсировать не удалось, и в 1985-м, выпустив еще один диск, ансамбль «Клэш» распался. Наиболее удачно самостоятельная карьера сложилась у Мика Джонса. Как сешн-музыкант он еще в 1984 году участвовал а записи альбома «...All The Rage» группы «General Public», а в 1985-м, расставшись с «Клэш», основал собственный ансамбль, «Big Audio Dynamite», в состав которого вошли Don Letts (ударные, клавишные) и Leo Williams (бас-гитара). Композиции коллектива представляли собой оригинальный синтез музыки рэп, фанк и реггей. Продюсером и соавтором ряда песен второго альбома трио, «10, Upping Street» (1986), являлся Джо Страммер.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В этом номере мы завершаем серию публикаций «Рок-энциклопедии», которая была начата полтора года назад (№ 6, 1988 г.) иаи своеобразный эксперимент по «обкатке» в журнале возможного варианта концепции книги-справочника. Но прежде, чем раздраженные подписчики из числа поклонников рока примутся вновь забрасывать редакцию гневными письмами и атаковать телефонными звонками, просим выслушать нас до конца.

Что подразумевалось под «экспериментом», — редакция объясняла читателям трижды: первый раз, когда приступала к напечатанию «Рок-энциклопедии», второй — в № 6 за 1989 г. (стр. 88), третий — в № 9 за 1989 г. (стр. 87), и, стало быть, нет никакого резона повторять, почему мы с полным на то основанием считаем эксперимент удавшимся. Вместе с тем, одно пояснение все же, как нам кажется, необходимо.

Затевая журнальный вариант «Рок-энциклопедии», основатели и ведущие этой рубрики Павел Бондаровский и Александр Налоев явно рассчитывали, что она привлечет внимание какого-либо издательства, которое возьмется выпустить энциклопедию «Кто есть ито в зарубежной рок-музыке» отдельной, богато иллюстрированной, книгой. Спустя некоторое время они смогли подписать такой договор с издательством «Книжная палата».

Как уже сообщалось, мы, со своей стороны, готовы продолжать эксперимент и публиковать «Рок-энциклопедию» в оговоренных объемах, тем самым выполняя взятые на себя перед читателями обязательства. Но, к сожалению, Павел Бондаровсиий и Александр Налоев, сославшись на занятость, в одностороннем порядке разорвали с редакцией «Слова» деловые отношения и отиазались с 1990 г. вести этот раздел.

Нам остается лишь принести свои извинения поклонникам рока, подписавшимся на журнал на следующий год, однако мы надеемся, что многие другие материалы, объявленные в Афише (№ 9, 1989) и вызвавшие, судя по редакционной почте, интерес читателей, в том числе и любителей рока, в какой-то степени компенсируют огорчение меломанов, вызванное отсутствием рубрики «Кто есть кто в зарубежной рои-музыке».

А теперь главное!

В настоящее время с издательством «Книжная палата» ведутся переговоры, цель которых обеспечить **каждого** подписчика журнала «Слово» сборниками-приложениями, в которых литературно-художественные, исторические, философсиие и другие произведения (согласно нашим рубрикам: «Историческая повесть», «Русская мысль», «Классики зарубежной литературы», «Пером очевидца», «Из первых уст», «По страницам эмигрантских изданий», «Таинства магии», «Редкая книга», «Истоки», «Духовники», «От Февраля до Оитября» и т. д.), увидевшие свет в журнале «Слово» фрагментарно, в отрывках, — предстанут в полном объеме. А первой книгой, с которой мы хотели бы начать выпуск специальных приложений, по многочисленным просьбам наших читателей, может стать «Рок-энциклопедия».

Как все это будет сделано технически, если такая договоренность осуществится? Скорее всего, через предприятия «Книга — почтой» по предъявлении подписной квитанции на 1990 г. и отрывного талона, который будет напечатан в одном из номеров.

Мы очень рассчитываем, что в этой весьма важной акции, направленной на удовлетворение духовных потребностей наших читателей, социальную справедливость и преодоление книжного дефицита, нам окажет содействие и руководство Госкомпечати СССР.

Следите за нашими объявлениями!

С Новым годом!

РЕДАКЦИЯ

ГОЛОСА ВРЕМЕН

из семейных книжных собраний

Передо мной маленькая книжечка, которая иазывается: «Республиканский национальный алфавит. Пособие для чтения». Издана она, как явствует из выходных данных, в 1790 году, в Блуа. Книжка, разумеется, на французском, и примечательна, по крайней мере, тремя обстоятельствами: как одио из посланий, дошедших до нас из времен Великой французской революции, двухсотлетие начала которой широко отмечалось в нынешнем году; как свидетельство республикаиских устремлений в стране, которая даже в первой революционной конституции 1791 года объявлялась еще коиституционной монархией; и наконец тем, что, усвоив из нее буквы, обучающийся чтению мог по слогам здесь же прочесть ставшие зиаменитыми слова: «Смерть ти-ра-нам. Мир хи-жи-нам. Война двор-цам».

Именно эти слова в 1792 году несли на своих знаменах революционные армии уже Французской республики.

Историки свидетельствуют, что события Великой французской революции быстро нашли широкий отклик в образованной части русского общества. Петербургские и московские книгопродавцы получали из Парижа демократические левые газеты «Парижские революции», «Революции Франции и Брабанта» и другие, а также насыщенные грозовой атмосферой тех дней книги, брошюры, политические плакаты, которые мгновенно раскупались...

И вот эти самые издания, сохранившиеся в семейных собраниях ряда современников событий, и можно было видеть на выставке «Книги, рожденные Великой французской революцией, в русских личных библиотеках XVIII—XX веков», оргаиизованной Всесоюзным обществом кииголюбов в здании Московского государственного университета на Моховой. На стендах первоиздания ндейных провозвестников революции — Вольтера, Моитескье, Руссо; книги, рассказывающие о кануне революции, такие, как «Мемуары» мадам Кампан или принцессы де Ламбаль; книги, представляющие деятелей революции: «Воспоминания Мирабо», памфлет Марата «Цепи рабства» (1789); «Мемуары Шарлотты Робеспьер о двух ее братьях»; «История заговора Луи-Филиппа-Жозефа Орлеанского» (1796)...

Ряд витрин последовательно представили издания, отражающие ход и перипетии революционных событий. Здесь экспонировались газеты Прюдома и Демулена, «Друг народа» Марата, «Журналь де Пари» за 1791 год. А вот названия еще нескольких книг: «Подлиииные исторические мемуары о Бастилии» (1789); Сулави Ж. Л. «Картины истории и упадка французской монархии» (1803); «Преступления Робеспьера и его главных сообщников» (1802); Рабо Ж. П. «Исторический альманах французской революции на 1792 г.»; «Подлинные письма, которыми обменивались эмигранты, или эмигранты в собственном изображении» (1793); «Сборник приговоров революционного трибунала»; «Мемуары генерала Дюмурье» (1794); текст «Французской конституции 1791 г.»; «Декларация прав человека и гражданина и конституция 1793 г.». И тот самый «Революционный алфавит», с которого начаты эти заметки.

Нет, эти витрины со старинными изданиями отнюдь не были немы. Замершие в них голоса времен как бы снова начинали звучать в этом благородно-торжественном купольном университетском зале, рассказывая не только о треволнениях далекой эпохи, но как будто и о наших сегодняшних тревогах и заботах.

Вот речь Робеспьера о свободе печати и цитата из нее по-русски: «Повиноваться закоиам — обязанность каждого гражданина. Свободно же публиковать свое мнение относительно недостатков или слабости законов есть право всякого человека, и этого же требует интерес всего общества».

Или раскрытый на одиой из страниц том собрания сочинений Монтескье издания 1795 года. Здесь на полях возле слов автора «Свобода есть право делать все, что разрешают законы» — рукою декабриста Никиты Муравьева сделана по-французски такая запись: «Я считаю подобное определение недостаточным. Разве я свободен, если закон налагает на меия притязания? Разве я могу считать себя свободным, если все, что я делаю, только согласовано с разрешением властей, если другие пользуются преимуществами, в которых мне отказано, если без моего согласия могут распоряжаться даже моей личностью? При таком определении русский крестьянин свободен: он имеет право вступать в брак и так далее».

Здесь уместно назвать и владельцев представленных на выставке книг. Имена известные в российской истории: братья А. И. и Н. И. Тургеневы, братья М. Н. и Н. Н. Муравьевы, генерал А. П. Ермолов, историк Т. Н. Грановский, социолог М. М. Ковалевский... Вот он, так сказать, персонифицированный интерес русской интеллигенции конца XVIII—XIX вв. к событиям во Франции.

По словам одного из организаторов выставки кандидата исторических наук И. В. Поздеевой, никто не верил, что можно показать Французскую революцию через книгу имеино в личной, семейной библиотеке. С теми собраииями, которые возиикли в прошлом веке и сохранились в составе государствеиных — понятио. Устроителей же выставки чрезвычайно занимал вопрос: а есть ли в библиотеках наших современников не отдельные названия, а более или менее представительные коллекции издаиий эпохи Французской революции?

Энтузиазм и энергия И. В. Поздеевой привели к замечательному результату, который нельзя было предположить однозначно. На выставке появились замечательные собрания таких книг из библиотек нынешних библиофилов-энтузиастов П. С. Романова и В. В. Марьяша, в чьих коллекциях есть, по отзывам специалистов, издания просто редчайшие. Принцип задуманной выставки был, таким образом, успешно реализован.

Это может показаться каким-то внешним обстоятельством, средством, способом организации единства экспозиции. Но нет, вовсе не из композиционных соображений организаторы вполие определенно формулировали тему выставки. Тут был как бы двойной и равновесный ракурс: книги Французской революции в России — эти киигн в личных библиотеках. Было намерение вновь подчеркнуть культурное значеиие книгособирательства, еще раз напомнить, что столь иеобходимое для жизни наличие исторической памяти, надежная преемственность отечественной и всечеловеческой культуры зависят от всех нас вместе и каждого в отдельности. Что личная библиотека, даже если она ие общественная читальня, явление глубоко общественное. Что библиофильство — не милое чудачество и приятное хоббн, а добровольно взятый на себя человеком труд — и труд творческий — по сбережению и в конечном счете умиожению общих наших богатста, а если хотите — и сохранение через книгу существеиных черт ушедших эпох.

Вот такой еще серьезиый смысл был у той экспозиции (необходимо, конечно, издание ее каталога). И думается, что у выставок книг из личных собраний, организуемых ВОКом, его отделениями иа местах, большое будущее. Ведь сколько бесценных экземпляров уникальнейших изданий, которых порой нет даже в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, находится в собственности частных лиц. Сделать их достоянием широкой общественности — благородная задача.

Б. ПЕТРОВ

АФИША ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЫСЛЬ»

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

Еще не так давно книги с маркой «МЫСЛЬ» спрашивал в магазинах, в основном, читатель-специалист: ученый-историк, географ, философ... Сегодня в издательских планах все больше литературы, рассчитанной на самые широкие круги читателей. В этом номере журнала издательство «МЫСЛЬ» представляет свои новинки.

СТЕЙНБЕК Д. РУССКИЙ ДНЕВНИК. 10 л., 3 р., 50 000 экз.
Книга известного американского писателя Джона Стейнбека «Русский дневник» написана в 1947 году после его путешествия по Советскому Союзу. Очень точно, с деталями быта и подробностями встреч и бесед писатель описывает свое путешествие по стране (Москва, Сталинград, Украина, Грузия).
Эта вполне доброжелательная книга не могла дойти до советского читателя по понятной причине — ироничного, скептического отношения автора к Сталину, к культу личности.

КРОПОТКИН П. А. ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА. 35 л., 3 р., 50 000 экз.
Воспоминания П. А. Кропоткина, видного революционера и известного ученого, — это своеобразная энциклопедия русского революционного движения последней трети XIX века. Автор был свидетелем многих выдающихся событий в России и Европе и с большим мастерством сумел запечатлеть пережитое в своей книге.

НИЦШЕ Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. I — 55 л., 12 р. Т. II — 55 л., 12 р., 100 000 экз.
Ницше, прочитанный по-новому, денацифицированный Ницше — такова цель настоящего издания. Прошло полвека с того момента, когда архив философа усилиями его сестры и некоторых идеологов нацизма был насильственно втиснут в арсенал мировоззренческих средств нацистской идеологии — путем подлогов, монтажа, мистификации. Восстановление доброго имени философа, симптоматолога глубочайших кризисов буржуазного сознания, началось после войны, особенно вслед за классическими изданиями Шлехты и Колли-Монтинари. Настоящий двухтомник, подготовленный на основе указанных классических изданий, восполняет пробел в отечественной философской литературе.

ГУМИЛЕВ Л. Н. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ. 42 л., 5 р., 20 000 экз.
В книге известного советского историка и географа освещаются проблемы этнических контактов древней Руси с восточными и западными соседями в IX—XIV вв. и преображение раздробленной древней Руси в монолитную Россию, впоследствии объединившую все этносы Великой степи и Сибири.

ХАГГАРД Р. ДОЧЬ МОНТЕСУМЫ. 23 л., 3 р., 100 000 экз.
Произведение английского писателя Хаггарда; оно посвящено одному из самых драматических моментов в истории Мексики: борьбе ее древнего населения, ацтеков, с испанскими завоевателями — конкистадорами, возглавляемыми Э. Кортесом. Используя богатый документальный исторический, историко-географический и этнографический материал, автор нарисовал красочную картину быта и культуры ацтеков.

И вновь — наш конкурс. На этот раз журнал «Слово» и издательство «Мысль» предлагают вам ответить на следующие вопросы:

1. Слова томат, табак, шоколад **бытуют в европейских языках. А из какого языка они пришли!**
2. Джон Стейнбек не отправлялся в странствие без спутника. Кто сопровождал писателя в его поездке по Америке, давшей материал еще одной книге путешествий!
3. Хотя личность П. А. Кропоткина современный читатель (благодаря книгам, публикациям) открыл для себя недавно, имя этого деятеля международного революционного движения давно увековечено в географических названиях. Назовите, в каких.

Традиционные семь призов ждут тех, кто даст наиболее точные и обстоятельные ответы на наши вопросы.

«МЫСЛЬ»

ИТОГИ НАШИХ КОНКУРСОВ

Уважаемые читатели!

Ну, кажется, те несколько писем, что принесла недавно почта, — последние капли того потока откликов, которые получала редакция в ответ на задания сразу двух конкурсов, объявленных в № 7 «Слова». Дождавшись весточек из самых укромных уголков страны, подводим итоги.

Конкурс первый. Письма на вопросы о творчестве народного артиста СССР Георгия Степановича Жженова, опубликованные вслед за отрывком из его книги «От «Глухаря» до «Жар-птицы», пришли почти все — от читательниц. «Хорошо все же, — думали мы, разбирая увесистую папку с корреспонденцией, — что в нашем рациональном мире милая и лучшая его половина сохранила, как огонь в очаге, старомодное и наивное увлечение — любовь к актерам, волшебному миру кино, «другой» жизни, где обитают мужчины с сильными характерами, благородной душой и отважным сердцем. Такие, как герои, сыгранные Георгием Жженовым». Назовем некоторые из этих ролей, ведь о них было наше задание.

1. В кино Г. Жженову приходилось играть людей многих профессий. Это бригадир Пашка Ветров («Ошибка героя»), архитектор («Наследный принц республики»), строитель Коля Маврин («Комсомольск»), машинист Иван Череда («Водил поезда машинист»), космонавт Бобров («Планета бурь»), секретарь райкома Гнездилов («Тишина»), тренер («Хоккеисты»), золотодобытчик Аникин («О чем молчала тайга»), инженер Муромцев («Человек, которого я люблю»), инспектор ГАИ («Берегись автомобиля»), священник отец Леонид («Журавушка»), ученый-ракетостроитель («Иду искать»), разведчик Зароков-Тульев («Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Конец операции «Резидент»), контрразведчик Козырев («Тайна забытой переправы»), учитель Кварякин («Ищу свою судьбу»), помощник академика Курчатова Зубавин («Выбор цели»), директор завода Кунгурцев («Чужая»), инженер-монтажник Кузьмин («Однофамилец»), командир экипажа Тимченко («Экипаж»), коннозаводчик Шапошников («Крепыш»), председатель колхоза Воробьев («У себя дома»).

2. В фильмах, поставленных по произведениям Ю. Бондарева и В. Шукшина, актер играл: секретаря райкома нефтепромысла Гнездилова в фильме «Тишина» (Ю. Бондарев «Тишина»); генерала Бессонова в киноленте «Горячий снег» (Ю. Бондарев «Горячий снег»); Емельяна Любавина в картине «Конец Любавиных» (В. Шукшин «Любавины»).

3. Среди героев Жженова немало военных: красноармеец, ординарец Фурманова («Чапаев»), рядовой по прозвищу Рыжеусый («Весна на Одере»), сержант Желтых («Третья ракета»), лейтенант Раевский («Гибель эскадры»), майор Брайцов («Исправленному верить»), полковник Дубровин («Меченый атом»), полковник Сухохлебов («Доктор Вера»), полковник Лебеденко («Ворота в небо»), генерал Тимерин («Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после победы»), генерал Бессонов («Горячий снег»), батальонный комиссар («Человек не сдается»).

Признаться, среди нескольких отобранных **самых** правильных и **самых** полных ответов трудно было выбрать **самые** достойные. И мы выбрали путь, предложенный женской частью комиссии: книги с автографом любимого артиста вручаем тем, для кого он является **самым** любимым кинохудожником. Это ленинградка М. Г. Прошина и Н. Т. Глебова из Уссурийска Приморского края. Удостаиваются приза также супруги пенсионеры Фроловы из Ярославля: они просто сразили редакцию своей эрудицией, назвав даже самые маленькие и малоизвестные роли мастера.

А теперь о **конкурсе**, объявленном нами вместе с издательством «Книга». То ли вопросы показались трудными нашим читателям, то ли основные их творческие силы были отвлечены личностью Г. С. Жженова, только из всех присланных ответов лишь шесть признаны правильными. Приводим эти ответы:

1. Лев Разгон посвятил свою книгу Николаю Александровичу Рубакину, русскому книговеду, библиографу, писателю.

2. «Царица Прасковья» — лишь часть трилогии «Очерки и рассказы из русской истории XVIII в.», принадлежащей перу М. И. Семевского. Туда же входят исторические очерки: «Слово и дело! 1700—1725» и «Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692—1724».

3. Среди художественных произведений, в которых Валентин Распутин развивает тему экологии, наши читатели назвали повести «Прощание с Матерой», «Пожар», рассказ «Век живи — век люби».

Очень сожалеем, но одну из семи приготовленных книг пришлось отправить обратно в издательство. Призы получают: **Г. А. Воробьев** из Каменск-Уральского Свердловской области, **А. М. Гольдина из Риги, В. В. Козлов** из Ленинграда, **Е. А. Кузнецова** из Ярославля, **В. Т. Терлецкая** и **Г. Е. Аптукин** из Москвы.

Уважаемые призеры! Примите наши поздравления. Призы разосланы по адресам. Новые заманчивые издания ждут семерых победителей нашего следующего конкурса. Желаем удачи.

Литературно-художественный
журнал Госкомпечати СССР
и Госкомпечати РСФСР
Издается с сентября 1936 года
№ 12. Декабрь 1989.
Издательство «Книжная палата»,
журнал «СЛОВО»
(«В мире книги»), 1989

СЛОВО

№ 12 декабрь 1989

В НОМЕРЕ:

КУЛЬТУРА. Традиции. Духовность. Возрождение.

ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.

ДУХОВНИКИ. Жизнь. Мысли. Деяния.

ИСКУССТВО. Графика. Живопись. Скульптура.

ИСТОКИ. Легенды. Исследования. Находки.

ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Рассказ. Эссе.

ИСТОРИЯ. Воспоминания. Очерки. Письма.

ПЛАНЕТА. Путешествия. Книги. Кумиры.

Сдано в набор 28.09.89.
Подписано в печать 02.11.89.
Формат 84×108/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч. изд. 14,76+1,17.
Тираж 164 385.
Заказ 620.
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена
Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Калинин,
проспект Ленина, 5.

КНИГА В КАРТИНКАХ